К. К. СЛУЧЕВСКИЙ

Советский писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

К. К. СЛУЧЕВСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ
и
ПОЭМЫ

Подготовка текста,
вступительная статья и примечания
А. В. Федорова

МОСКВА – ЛЕНИНГРАД · 1962

Р1
С49

К. К. Случевский (1837—1904) — талантливый и своеобразный русский поэт, почти неизвестный широкому читателю. Собрание сочинений К. К. Случевского вышло в свет в 1898 году, последняя книжка — «Песни из Уголка» — в 1902 году, и с тех пор появился лишь один небольшой сборник избранных стихотворений поэта. Это художник с большим и ярким темпераментом, мастер пейзажной и психологической лирики, автор интересных стихотворений на исторические сюжеты. Художественное новаторство и оригинальность К. К. Случевского обеспечили ему заметное место в истории русской поэзии. В настоящей книге собрано все лучшее из обширного наследия поэта.



ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО К. К. СЛУЧЕВСКОГО

1

История русской поэзии начала XX века знает несколько случаев «воскрешения» забытых поэтов прошлого (Тютчев, Аполлон Григорьев, Каролина Павлова и другие). В начале 1900-х годов Случевский еще был жив, он только что выпустил собрание своих сочинений и новый том стихов, — в последние годы жизни он как поэт достиг более широкого признания, чем за всю свою предыдущую жизнь; но очень скоро после смерти, несмотря на отдельные хвалебные отзывы, исходившие главным образом из среды символистов, он фактически оказался забытым: его больше не издавали и вспоминали о нем редко. В отличие от стихов Фета, Тютчева, Майкова, даже лучшие стихи Случевского не стали хрестоматийными. В настоящее время творчество Случевского знакомо в полном объеме лишь специалистам-литературоведам. Между тем оно заслуживает, чтобы о нем знал более широкий круг читателей.

Случевский — поэт в высшей степени своеобразный; его творчество отмечено такими чертами, которые резко выделяют его среди других современных ему поэтов. Во многих отношениях литературная деятельность Случевского не вызывает нашего сочувствия и требует критического отношения, но лучшие его стихи представляют собою значительное явление в истории русской поэзии, поныне сохранив художественную ценность.

Время литературной деятельности К. К. Случевского — большой период, на протяжении которого сменялись и сосуществовали разнообразные и разноречивые литературные явления. Случевский — младший современник Фета, Майкова, Полонского, А. К. Толстого и старший современник Брюсова и Блока. Он прожил долгую жизнь

и связан был со многими литераторами; однако история его жизни в изложении авторов некрологов и тех немногих статей, в которых сообщались биографические сведения о поэте, больше всего напоминает послужной список, дополненный библиографической справкой.

Константин Константинович Случевский родился 26 июля 1837 года в Петербурге, в семье видного чиновника, сенатора Константина Афанасьевича Случевского, умершего в холерную эпидемию в 1848 году. В юности К. К. Случевского готовили для военной службы. Он учился в Петербурге, в 1-м кадетском корпусе, который окончил с отличием в 1855 году. Службу начал в гвардии, в Семеновском полку, затем переведен был в 1-й стрелковый батальон, а в 1859 году поступил в Академию Генерального штаба; но в сентябре 1860 года вышел в отставку и вскоре уехал за границу учиться. Он слушал лекции в Париже, Берлине, Лейпциге и Гейдельберге; в Гейдельбергском университете получил степень доктора философии. Вернувшись в 1866 году на родину, он поступил на гражданскую службу — в Главное управление по делам печати, откуда в 1874 году перешел в министерство государственных имуществ. Там он служил вплоть до 1891 года, постепенно поднимаясь по ступеням чиновно-иерархической лестницы. С 1891 по 1902 год Случевский был главным редактором «Правительственного вестника», официальной правительственной газеты. Последние годы жизни состоял членом Совета министра внутренних дел, членом Ученого комитета министерства народного просвещения и имел придворное звание гофмейстера. Умер Случевский 25 сентября 1904 года.

Отсутствие непосредственной связи между творчеством и практической деятельностью — чиновника, военного или помещика — характерно и для современников Случевского: Фета, Майкова, Голенищева-Кутузова — все они приверженцы «чистого искусства». Их биографии далеки от трагических судеб великих поэтов первой половины XIX века, в жизни которых творческое, личное и общественное сплеталось в нерасторжимое единство.

Литературная деятельность Случевского не богата яркими событиями. Он дебютировал двадцати лет: в «Общезанимательном вестнике» за 1857 год (№№ 3, 9 и 11) было напечатано несколько оригинальных его стихотворений и переводы из Байрона, Гюго и Барбье, подписанные: К. С. и К. С—чевский. В 1859 году Случевский много печатался в журнале «Иллюстрация». Стихотворения, появившиеся в 1860 году в «Современнике» и в «Отечественных записках», обратили на себя внимание читателей и критики.

В рассказе «Одна из встреч с Тургеневым» Случевский вспоминает: «В январской книжке «Современника» появилось в 1860 году

несколько моих стихотворений. Появиться в «Современнике» значило стать сразу знаменитостью. Для юноши двадцати лет от роду ничего не могло быть приятнее, как попасть в подобные счастливчики, и я попал в них! Стихотворения эти были доставлены Некрасову помимо меня следующим образом. Всеволод Крестовский, тогда еще студент, мой приятель, передал их Аполлону Григорьеву, знаменитому в те дни критику, горою стоявшему против того направления либерализма и реализма, которым отличался «Современник», руководимый Некрасовым, Чернышевским и Добролюбовым. Григорьеву стихотворения мои очень понравились. Он просил Крестовского привести меня к нему, что и было исполнено... Помню как теперь, что я прочел «Вечер на Лемане» и «Ходит ветер избочась». Григорьев пришел в неописуемый восторг, предрек мне «великую славу» и просил оставить эти стихотворения у себя. Несколько дней спустя, возвратившись с какого-то бала домой, я увидел, совершенно для меня неожиданно, на столе корректуру моих стихотворений со штемпелем на них «Современник», день и число. Как доставил их Григорьев Тургеневу и как передал их Тургенев Некрасову и почему дан был мне такой быстрый ход, я не знаю, но стихи мои были напечатаны». [1]

О своем дебюте в «Современнике» Случевский рассказывает почти как о дебюте дилетанта, ничем не связанного с направлением журнала. Связи и не было. Правда, наряду со статьями Чернышевского, Добролюбова, стихами Некрасова, «Современник» печатал в те годы стихи Фета и молодых поэтов, близких школе «чистого искусства».

Случевский начал приобретать популярность. Стихи, появившиеся в «Современнике» и в «Отечественных записках», были замечены читателем; в то же время они стали предметом преувеличенных похвал и яростных нападок со стороны критики.

Хвалебная оценка исходила от А. Григорьева. В своих «Беседах с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о многих других вызывающих на размышление предметах» он, пользуясь формой диалога с неким вымышленным своим приятелем, вложил в уста последнему следующее суждение о Случевском: «...Давно, давно неизведанное физическое чувство испытывал я, читая эти могучие, стальные стихи!.. Да! Стальные... блестящие, как сталь, гибкие, как сталь... Тут сразу является поэт, настоящий поэт, не похожий ни на кого поэт ... а коли уж на кого похожий — так на Лермонтова... Тут размах силы таков, что из него, вследствие случайных обстоятельств, или ровно ничего не будет, или уж, если бу-

---

[1] Альманах «Денница», СПб., 1900, стр. 200—201.

дет, то что-нибудь большое будет. Да-с! Это не просто высокодаровитый лирик, как Фет, Полонский, Майков, Мей, это даже не великий, но замкнутый в своем одиноком религиозном миросозерцании поэт, как Тютчев. . .»[1]

Резкое своеобразие стихов Случевского, местами почти вызывающее, воплощало некоторые крайности тогдашней поэзии. В соединении с гиперболичностью мало аргументированных похвал в статье А. Григорьева оно стало поводом для появления пародий в прогрессивном сатирическом журнале «Искра». Вокруг стихов Случевского и статьи А. Григорьева о нем завязалась полемика.

О напечатанных в январском номере «Современника» стихотворениях «На кладбище» (где есть строка о жуках, которые «летали, лбами стукаясь») и «Ходит ветер избочась. . .» В. Курочкин — под псевдонимом П. Знаменский — писал в «Искре»: «Обыкновенные читатели, вероятно, споткнутся на первых же стихах этих стихотворений. Им покажется очень странным обыкновение г-на Случевского отдыхать на кладбище; *ветер, стелющий снегом калачи кривобокой бабы,* покажется им просто бессмыслицей. . .»[2]

Этот упрек был вызван необычным, рискованным характером образов, которые, впрочем, и не были рассчитаны на строго логическую расшифровку их прямого значения; на общем фоне лирической поэзии конца 50-х годов они безусловно выделялись своей странностью.

В том же номере «Искры» в «Литературных вариациях» Н. Л. Гнута (Ломана) была помещена пародия на стихотворение Случевского «На кладбище», которая вышучивала и разговор с мертвецом, и олицетворение поэтом природы, и жуков, стукающихся лбами.

Почти каждое новое стихотворение Случевского вызывало сатирические замечания и пародии «Искры». Впрочем, в тех же «Литературных вариациях» Гнута была отмечена, правда иронически, и растущая популярность поэта: «Число безусловных поклонни-

---

[1] «Сын отечества», 1860, № 6, стр. 166—167. — Очень высокую оценку стихам молодого Случевского, по свидетельству мемуаристов, давал И. С. Тургенев, впоследствии изменивший, правда, свое мнение о поэте, но тогда восторгавшийся им, сравнивавший его с Лермонтовым, предрекавший ему большую будущность (см.: П. В. Анненков. Литературные воспоминания. СПб., 1909, стр. 482; А. Д. Галахов. Сороковые годы. — «Исторический вестник», 1892, № 1, стр. 138). Тургенев писал о Случевском, что в его стихах ему «чудятся зародыши великого таланта» (Письма И. С. Тургенева к графине Е. Е. Ламберт. М., 1915, стр. 78).

[2] «Критик, романтик и лирик». — «Искра», 1860, № 8, стр. 90.

ков г-на Случевского увеличивается неимоверно быстро; да я и не умею себе объяснить, как можно еще сомневаться в его гениальности». [1]

Самая злая и самая блестящая пародия на Случевского принадлежит Н. А. Добролюбову. Так же как и пародируемое стихотворение, она озаглавлена «Мои желания». Добролюбов гораздо тоньше, чем критики-пародисты «Искры», подметил и высмеял наиболее уязвимые особенности поэзии раннего Случевского, дав как бы сгусток их и опустив те промежуточные звенья, благодаря которым в пародируемых стихах контраст между сопоставляемыми образами не вызывает комического впечатления; он резко подчеркнул деловые и разговорные прозаизмы. Добролюбов снабдил свою пародию эпиграфом: «Дики желанья мои, и в стихах всю их дичь изложу я» — и начал прямо с изложения «желаний», без всякого вступления:

Прежде всего я хочу себе женщину с длинной косою.
Ум и краса мне не нужны: пусть только целуется чаще.
С этою женщиной вместе мне друга-философа надо...
...В этих условиях древней историей я бы занялся:
Нравятся мне пирамиды, развалины, сфинксы, колонны,
Море Евбейское с Желтой рекою и с Гангом священным,
В этом последнем омылся б я с женщиной вместе и с другом.
Вымывшись, я бы отер себя длинной косою подруги.
Всё, что от друга услышать успел посреди поцелуев,
Всё это тут бы я вспомнить хотел, чтобы книжечку тиснуть...

Комичен в пародии образ поэта, его лирическое «я», которое Добролюбов показывает как сочетание пассивности «чистого» лирика с претензиями на глубокомыслие и особую откровенность. [2]

Стихи, ранее опубликованные Случевским в «Иллюстрации», остались вне поля зрения критиков. Нет сомнения, что и они могли бы дать повод к таким же упрекам и насмешкам: в них та же необычность образа, то же сочетание прозаизмов с трагическими нотами («Я видел свое погребенье...») и с традиционными поэтизмами («Скажи мне, зачем ты так смотришь...»).

Случевский надолго перестал печатать свои стихи — несомненно под влиянием критики. Стихотворения «На кладбище», «Ходит ветер

---

[1] «Искра», 1860, № 25, стр. 270.

[2] Ср.: А. А. Морозов. Русская стихотворная пародия. В кн.: «Русская стихотворная пародия». «Библиотека поэта», Большая серия, Л., 1960, стр. 71—73.

избочась» и некоторые другие из числа ранних он не включил ни в одно из своих собраний, а критику «Искры» воспринял как травлю со стороны гонителей «чистого искусства». Опубликовать он успел, в сущности, очень немного. Тем не менее стихи его, равно как и полемика вокруг них, запомнились. Отголоски этой полемики слышались в «Искре» еще в конце 1861 года — в «Литературных вариациях» Гнута, посвященных поэтическим итогам года: «...Не подумайте, благосклонный читатель, что в нынешнем году наши поэтики не произвели уж ровно ничего оригинального. Правда, не было у нас «стукающихся лбами жуков» г. Случевского...»[1]

Но и положительное впечатление, произведенное ранними стихами Случевского, при всей их немногочисленности, было достаточно сильно. Так, С. Надсон в отрицательном отзыве о третьей книжке «Стихотворений» Случевского (1883) вспоминал: «Имя г. Случевского как поэта далеко не ново в нашей литературе и когда-то стояло под такими произведениями, под которыми, вероятно, не отказались бы подписаться... Майков и Полонский».[2] Критик В. В. Чуйко в 1885 году писал: «...Если не считать нескольких превосходных стихотворений, помещенных в «Современнике», г. Случевский является вполне поэтом наших дней».[3]

Неудача дебюта Случевского не была случайной личной неудачей поэта, это была неудача определенной литературной тенденции, доведенной до крайности. Нападки «Искры» не были простым зубоскальством, они имели принципиальный характер. Упомянутый выше В. В. Чуйко замечал впоследствии по поводу их: «Тогдашние сатирические журналы «Искра» и «Будильник» горячо нападали на нашего поэта, обвиняя его в служении искусству для искусства, в эстетическом квиетизме...»[4]

Дело, однако, не ограничивалось одним «искусством для искусства». На Случевского обрушились такие громы, какие не обрушивались на других сторонников и принципиальных защитников «чистого искусства». Осмеянию подверглись не только черты, характерные для целой группы поэтов, но главным образом — поразившие современников особенности поэзии Случевского, представляющие явное отклонение от принятых норм, от обычной «красивости» и смысловой гладкости массовой лирической продукции эпохи и, в част-

---

[1] «Искра», 1861, № 49, стр. 734.

[2] С. Я. Надсон. Литературные очерки. СПб., 1887, стр. 224.

[3] В. Чуйко. Современная русская литература в ее представителях. 1885, стр. 133.

[4] Там же, стр. 138. Упоминание о «Будильнике» — неточность: он начал выходить с 1865 года.

ности, стихов о природе. «Стукающиеся лбами» жуки или ветер, который «ходит избочась», не были результатом небрежности или неумелости. Эти и некоторые другие, подобные им образы свидетельствовали о попытке обновления выразительных средств, попытке необычной для того времени, в известной мере даже параллельной опытам французских «проклятых поэтов».

Нельзя сказать, чтобы в предыдущие десятилетия такие попытки не делались. Они предпринимались в гораздо больших масштабах уже в 1830-х годах Бенедиктовым, имевшим недолгий, но чрезвычайно шумный успех. При этом кричаще необычные образы, то экзотические, то сугубо домашние, связанные с жизнью и бытом петербургского чиновничества, привлекались поэтом как своего рода иносказания, в которых должен был раскрыться более глубокий смысл явлений природы или светской повседневности. Впоследствии, как известно, претензия Бенедиктова на «философичность» была подвергнута жестокой критике и осмеянию.

По-иному, в более традиционных и «высоких» формах к философскому осмыслению своих личных переживаний и впечатлений стремился в 1840-х годах Аполлон Григорьев, впоследствии обращавшийся и к форме цыганской песни, которая прежде находилась за пределами дозволенного в поэзии. Это тоже попытка обновления стилистических ресурсов лирики, без отказа от традиционной поэтической темы и от философского смысла творчества, которое таким путем приобретало бо́льшую интимность окраски. Лирика А. Григорьева не получила широкого признания. И если на А. Григорьева стихи молодого Случевского произвели столь сильное впечатление, так поразили его, то причину следует видеть не только в необыкновенной импульсивности поэта-критика, но и в некоторой общности их художественных поисков.

Ограничивать представление о раннем творчестве Случевского одною только областью чистой лирики, «искусства для искусства» было бы неверно. Мы мало знаем о литературных взглядах Случевского 1857—1860 годов; его суждений об искусстве и литературе тех лет не сохранилось, но сами его стихи дают в этом смысле интересный материал. Важны с этой точки зрения и его переводы. В 1857 году Случевский переводит Гюго, Барбье и Байрона, пишет стихотворение «На смерть Беранже».[1] Если в стихотворениях из Гюго и Байрона преобладают раздумья о личной судьбе, о смысле жизни и смерти, то Барбье остается и в его интерпретации прежде всего обличительным гражданским поэтом. Случевский с глубоким

[1] «Общезанимательный вестник», 1857, № 11, стр. 405.

сочувствием относится к Беранже, к которому он обращается: «Старик, закон и доблесть века...» и которого славит за то, что он «всегда любовь, свободу пел». При этом, однако, в глаза бросается нарочитая торжественность образа Беранже — не столько веселого и часто́ озорного песенника, любимца парижских улиц, сколько высокого «певца» в понимании Случевского. Стихотворение заканчивается мыслью, неожиданной для тогдашних поклонников французского поэта:

Грущу — но за тебя я рад:
Ты одряхлел — и оступиться
Легко ты мог — и что тогда?
Куда деваться от суда?

Пессимистический намек на идеологические опасности, подстерегавшие, по мнению Случевского, старость Беранже, вплетается в надгробное славословие поэту, который в конце 1850-х годов, благодаря переводам В. Курочкина, особенно живо воспринимался русским читателем.

Очень знаменательно для Случевского его понимание поэзии Гейне. Стихотворения «Памяти Гейне» [1] и, в особенности, «Из Гейне» (последнее — не перевод, а вполне оригинальная вещь) показывают, что к немецкому лирику Случевский подошел совсем иначе, чем многие из русских поэтов начала 60-х годов. С представлением о Гейне у Случевского связаны не любовные мотивы, а большая философская и моральная тема, то и дело снижаемая, завершаемая в своем развитии мрачно ироническим и неожиданным поворотом мысли.

О том, что молодой Случевский не был равнодушным и безучастным наблюдателем русской действительности, отчасти свидетельствует стихотворение «Странный город» с подзаголовком «Монолог из комедии», напечатанное в «Иллюстрации» 1859 года (№ 53):

Что́ город наш? Как прежде, вечно хмурен,
Бесхарактéрен в самых мелочах;
Больницы полны, тюрьмы также полны,
Есть новые дома, казармы, кабаки.
На улицах спешат, на кладбищах рыдают,
Толпятся в лавках, но не в книжных, целый день.

---

[1] См. «Ранние редакции и варианты», стр. 395.

Здесь умирают люди, там родятся,
Здесь день не спят, а там не спят ночей;
По департаментам, с потертыми локтями,
Но в бархатных зато воротниках,
Сидят чиновники угрюмо за столами,
Скребут бумагу, думают, молчат.
Объята думами о будущем отчизны,
До лбов завернута в бобровые меха,
Стоит полиция на перекрестках улиц
И точно так же мало говорит;
Сидят вороны на крестах церковных;
Сидят учителя в гимназиях и школах,
Десятки дней толкуя молодежи,
Что старших нужно крепко уважать...

Здесь отчетливо выступает неприятие бытового уклада чиновничье-полицейского государства, его косности, пошлости, лицемерия и вместе с тем — мысль о полной беспросветности, безвыходности положения.

Молодой Случевский откликается и на события современной политической жизни Западной Европы: в небольшом стихотворении «Риму» (1857) он говорит о судьбе древнего города, оккупированного войсками Луи Бонапарта, о позоре, переживаемом потомками античных героев. Если учесть, что французская интервенция 1849 года в Италии преследовала цель удушения итальянской республики, — стихотворение приобретает определенный, хотя и не подчеркнутый, политический смысл.

Известно письмо И. С. Тургенева (от 26 апреля 1862 года), являющееся ответом Случевскому на его отзыв об «Отцах и детях».[1] Отзыв не сохранился, но из ответа Тургенева можно предположить, что Случевский критиковал роман с точки зрения радикально настроенной русской молодежи, учившейся за границей (в Гейдельберге). Факт этот относится к тому времени, когда Случевский жил за границей, — по-видимому, тогда поэт не занимал еще позиции, враждебной прогрессивным течениям русской общественной жизни. Однако в политических взглядах молодого Случевского не было, видимо, ни цельности, ни устойчивости, что вскоре и подтвердилось.[2]

---

[1] См. «Щукинский сборник», вып. 7. М., 1907, стр. 319—321.

[2] Как в мемуарной литературе (А. Д. Галахов. Сороковые годы. — «Исторический вестник», 1892, № 1, стр. 141), так и в литературоведческих работах (А. Цейтлин. Тургеневские рукописи из

Вскоре после своего возвращения в Россию, в 1866—1867 годах, Случевский издал три резко полемические статьи-брошюры, объединенные общим заглавием «Явления русской жизни под критикою эстетики», — направленные против современной прогрессивной демократической критики. В нападках Случевского на «разрушителей» эстетики, носителей передовой общественной мысли, восстававшей против безыдейного «искусства для искусства», современники усмотрели проявление личной обиды, оскорбленного самолюбия, сведение счетов с противниками. И они были правы. Даже такие единомышленники Случевского, как Полонский и Майков, в своих письмах к нему высказали порицание тону и стилю этих брошюр.

В биографии Случевского они составляют крайне неприглядную страницу: в числе тех, на кого он яростно нападал, был Чернышевский, незадолго перед тем сосланный, был и умерший в 1861 году Добролюбов — деятели самого передового направления русской литературы, подвергшиеся жесточайшим преследованиям со стороны реакции. В стихах Случевского 1857—1860 годов не было программных высказываний, — теперь он подчеркивает свои позиции, проявляя при этом непримиримость и узость взглядов; полемизирует злобно, педантично, без блеска. Для творческой практики Случевского его брошюры оказались, к счастью, не характерными: отношение поэта к жизни, литературе, искусству стало с годами сложнее, шире и полноценнее, выходя за рамки «чистого искусства», отрешенного от действительности.

Брошюры были замечены и читателем и критикой, вызвали некоторый шум, но не ознаменовали возвращения поэта к литературной деятельности, скорее отдалили его, так как у большинства современников вызвали резко отрицательную оценку и сделали имя

парижского архива Виардо. — «Печать и революция», 1927, № 3, стр. 45—46; примечания Н. Лернера к публикации: Письма И. С. Тургенева к Н. Н. Рашет. — Сб. «Звенья», 3—4. М. — Л., Academia, 1934, стр. 697—698) существует мнение, что Случевский явился прототипом одного из персонажей романа Тургенева «Дым», Семена Ворошилова, наделенного весьма карикатурными чертами, — он изображен в числе других представителей русской радикальной молодежи за границей; Тургенев показал недалекого человека, нахватавшегося всякого рода поверхностных знаний, щеголяющего своей начитанностью, то и дело ссылающегося на имена современных западноевропейских ученых; в прошлом он — офицер, с отличием окончивший кадетский корпус. На поэтическую деятельность Случевского и на его литературные неудачи в романе, однако, намеков нет (ср. комментарий Ю. Г. Оксмана к 9-му тому Полного собрания сочинений И. С. Тургенева, 1930).

Случевского одиозным. Как поэт он до начала 70-х годов не выступает в печати, хотя писать стихи продолжает и все время думает о возможности их напечатать. Из писем к нему Тургенева 1861—1862 годов мы знаем, что тот предпринимал попытки поместить стихи Случевского (анонимно — видимо, по просьбе самого поэта) в «Русском вестнике», во «Времени» Достоевского и в «Северной пчеле», но попытки эти не удались.[1]

Стихи Случевского вновь появляются в печати лишь в 1871 году — в тонком журнале «Всемирная иллюстрация». Печатается он анонимно или скрываясь за буквами И. и Н., а также под псевдонимом П. Телепнев. В 1875 году, после выступления в сборнике «Складчина» под своим именем, он начинает подписывать стихи во «Всемирной иллюстрации» буквой С.

В 1872 году выходит отдельным изданием роман Случевского «От поцелуя к поцелую» под псевдонимом Серафим Неженатый. И заглавие и псевдоним представляют своего рода вызов по адресу русской литературы 1860—1870-х годов, занятой большими социальными проблемами, вызов тем более явный, что по содержанию роман отнюдь не относится к юмористическому жанру; автор ставит в нем вопросы личной и семейной морали, к которой подходит строго и с реакционных позиций.

Стихи Случевского начинают появляться в печати и за полной его подписью — сперва в благотворительных сборниках «Складчина» (1874) и «Братская помочь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины» (1876), затем — в «Русском вестнике» и в «Новом времени» (поэма «В снегах»). В 1877 году в издании Н. В. Гербеля «Немецкие поэты в биографиях и образцах в переводе русских писателей» публикуется несколько переводов Случевского. С 1880 по 1890 год выходят отдельным изданием «Стихотворения» К. Случевского (четыре книжки).

В течение 80—90-х годов появляется и ряд прозаических произведений писателя: повесть «Виртуозы» (1882), «Застрельщики» (1883), «Тридцать три рассказа» (1887), «Профессор бессмертия» (1892), «Исторические картинки и разные рассказы» (1894). Кроме беллетристических сочинений, печатаются его географо-этнографические труды, плод путешествий по России в 1884—1888 годах, совершенных в свите одного из великих князей: три тома — «По северу России» (1888), два тома — «По северо-западу России» (1897), переработанное издание предыдущей книги. Первоначально они публиковались частями в виде газетных корреспонденций. Это географические

---

[1] См. «Щукинский сборник», вып. 7, стр. 321, 322.

очерки, охватывающие большой район страны — от Риги до Вологды, от Мурмана до Невеля. Впечатления, вынесенные из путешествий по этим местам, оставили много следов и в поэтическом творчестве Случевского (стихи о севере, цикл «Мурманские отголоски»).

В 1898 году появляются его «Сочинения» в шести томах. Первые три тома включают стихи и поэмы, остальные три — прозу.

Наконец в 1902 году выходит последняя книга стихов «Песни из Уголка».

Стихи, опубликованные в последние годы жизни поэта в журналах «Русский вестник», «Книжки Недели», «Новый путь», в альманахе «Северные цветы», в книгу собраны не были.

2

Литературная деятельность Случевского была, как видим, довольно продуктивна. Но критики, писавшие о нем, касаясь его биографии, останавливались больше на его служебных успехах. Автор некролога в «Историческом вестнике», перечисляя их, писал: «Далеко не так успешно подвигалась литературная деятельность Случевского».[1] Книги стихов, изданные с 1880 по 1890 год, прошли не замеченные читателем и в критике вызвали сравнительно мало откликов. Да и эти отзывы большею частью были отрицательными. Критики отмечали самые уязвимые, наиболее спорные моменты в поэзии Случевского.

По поводу третьей книжки «Стихотворений» Случевского (1883) С. Я. Надсон писал, что поэт «и в отношении формы и в отношении содержания регрессировал с каждой написанной им строфой».[2] В сатирических и юмористических журналах 80-х годов нередки насмешливые нападки на поэта, пародии на его стихи.

Прозаическое творчество Случевского в целом наделено гораздо меньшей впечатляющей силой, чем его стихи, и еще больше, чем они, отличается неровностью идейного и художественного уровня. Среди его повестей, рассказов, очерков, сказок есть вещи бледные, традиционные, вялые и рассудочные, как например, повесть «Профессор бессмертия», посвященная неблагодарной задаче естественно-научного доказательства бессмертия человеческой души. Но есть среди них и такие, где внимание читателя привлекает — даже и сейчас —

---

[1] «Исторический вестник», 1904, № 11, стр. 757.
[2] С. Я. Надсон. Литературные очерки. СПб., 1887, стр. 224.

не только острота и необычность сюжетов и ситуаций, но и зоркая наблюдательность автора, а главное — та страстность, с какой он обличает развращенность нравов великосветского общества, преступные махинации дельцов, продажность чиновников («Око за око» и в особенности — «Виртуозы»). По своим тематическим и художественным особенностям интересны также короткие иронические рассказы-очерки, вскрывающие различные странности и несообразности быта, за которыми всякий раз стоит неблагополучие человеческих отношений («Ищут клоунов», «Как можно лгать», «Два Сидоровых», «Два тура вальса — две елки», «Слова на улице»); неожиданность положений в некоторых из них граничит с экспериментом.

Случевский-прозаик показал себя также тонким мастером стилизации чужой литературной манеры. Он оставил три небольших опыта «подражания» в прозе (нечто аналогичное вольным стихотворным «подражаниям» у поэтов первой половины XIX века): «Капитан Немо в России (Глава из Жюля Верна, никем и нигде не напечатанная)», «Недавно найденная глава Дон-Кихота» и «Сказка тысяча второй ночи». Писатель проявляет большую изобретательность, придумывая свой сюжет и новые ситуации в духе воссоздаваемого образца.

Проза Случевского была замечена читателем и приобрела некоторую популярность. Однако настоящего успеха он все же добился как поэт и лишь в самые последние годы жизни.

Этот успех был связан с изданием его сочинений в 1898 году. Три стихотворных тома этого собрания содержали мало нового сравнительно с четырьмя книжками «Стихотворений» 1880-х годов. Прибавился лишь цикл «Песни из Уголка», представляющий примерно треть состава будущей книги под тем же заглавием, изменено расположение по циклам отдельных стихотворений, и многие из них были переработаны.

На этот раз стихи Случевского обратили на себя внимание и публики и критики разнообразных направлений, вызвав целый ряд статей, в которых поэзия Случевского была признана значительным явлением русской литературы.

Иронизируя над стихами молодого Случевского, критик «Искры» в свое время подчеркивал их сходство с поэзией многих его современников. Он был и прав и неправ. Конечно, Случевского с творчеством современников соединяли те или иные общие особенности, но необычна и глубоко самостоятельна была вся система, в которую они у него складывались. С течением времени эта оригинальность обозначилась еще резче.

Конечно, отсутствие подражательности и подлинная самостоя-

тельность поэта отнюдь не противоречат факту многообразных соприкосновений его творчества с современной ему литературой. В первую очередь здесь вспоминаются имена Фета, Майкова, Тютчева, Ал. Толстого, Полонского. Спрашивается: в какой степени связано зрелое творчество Случевского с их поэзией? Некоторые, и довольно существенные, точки соприкосновения с ними есть: искания в области тех же жанров, относительно близкий круг тем и образов, родственность художественных симпатий. Но еще больше — отличия. Поэзия Случевского в целом очень мрачна и глубоко трагична. В сравнении с нею вéрхом жизнерадостности представляется поэзия и Фета, и Майкова, и Ал. Толстого, и даже Полонского. Пессимизм Случевского, — так сказать, всеобъемлющий. Пожалуй, ни у кого из русских поэтов второй половины XIX века пессимизм не сочетается с такой напряженной трагичностью всего творчества, как именно у него.

Преломление этого пессимизма у Случевского отнюдь не трафаретно: поэт не ограничивает себя кру́гом субъективных переживаний и размышлений о личной судьбе человека. Случевского, как художника, занимает окружающая его жизнь, людские взаимоотношения, факты общественного порядка, а не только строй мироздания. Всеобъемлющий пессимизм поэта, неприятие им мира и жизни распространяется также на явления социальные.

Пессимистическая настроенность многих, притом выдающихся поэтов, как дворянских, так и буржуазных, сама по себе исторически закономерна. Это — явление типическое для значительной части западноевропейской и русской поэзии XIX — начала XX века. В связи с этим уместно вспомнить вопросы, поставленные А. М. Горьким в статье «О „Библиотеке поэта“»: «Почему с начала XIX века буржуазия — класс-«победитель» — выдвинула из своей среды так много крупных поэтов-пессимистов? Почему они, люди разных стран, различных языков, как будто поставили перед собой одну цель — примирить победителей и побежденных на учении о бессмысленности бытия, о бессилии разума и воли людей разрешить «проклятые вопросы» жизни? Почему буржуазия — «победитель» — не создала поэзии мужественного, героического характера? Потому ли, что она строила жизнь свою на порабощении трудового народа, а это давалось ей механически легко?.. Потому ли, что общественный строй, весь смысл его, сводился и сводится к бесчеловечному, грязному делу наживы, к безумному процессу накопления денег, а XIX век особенно поражающе ярко обнаружил этот свой смысл перед наиболее талантливыми и честными детьми той же буржуазии, и отсюда у детей развилось отрицание смысла жизни, презре-

ние к ней, склонность к «мировой скорби», к пессимизму и мизантропии?»[1]

Такое объяснение причин, предопределивших широкое распространение пессимизма в поэзии, применимо и к Случевскому. Ущербные настроения, свойственные, как мы видели, уже ранней его лирике и объективно связанные, очевидно, с тем состоянием упадка, которое становилось неизбежным уделом русского дворянства, в дальнейшем все более усиливалось под влиянием впечатлений от неприглядной картины развития отечественного капитализма, русского буржуазного общества.

Пессимизм Случевского отчасти питался и из философского источника. Поэт учился в университетах Германии, когда в академической науке там задавали тон и были в моде эпигоны немецкого идеализма, метафизики, враждебные идеям исторического прогресса, пессимистически смотревшие как на перспективы развития человечества, так и на возможности объективного познания мира, готовые поставить на место науки религию. Суровую и справедливую оценку дал состоянию немецкой философской науки середины века Фридрих Энгельс: «Вместе с гегельянством выбросили за борт и диалектику — как раз в тот самый момент, когда диалектический характер процессов природы стал непреодолимо навязываться мысли и когда, следовательно, только диалектика могла помочь естествознанию выбраться из теоретических трудностей. В результате этого снова оказались беспомощными жертвами старой метафизики. Среди публики получили с тех пор широкое распространение, с одной стороны, приноровленные к духовному уровню филистера плоские размышления Шопенгауэра, впоследствии даже Гартмана, а с другой — вульгарный, в стиле странствующих проповедников, материализм разных Фогтов и Бюхнеров. В университетах конкурировали между собой различнейшие сорта эклектизма, у которых общим было только то, что они были состряпаны из одних лишь отбросов старых философских систем и были все одинаково метафизичны. Из остатков классической философии сохранилось только известного рода неокантианство, последним словом которого была вечно непознаваемая вещь в себе, т. е. та часть кантовского учения, которая меньше всего заслуживала сохранения»».[2]

Этот эпигонский и эклектический идеализм в своей наиболее пессимистической разновидности (в лице Шопенгауэра) имел на

---

[1] М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 26, М., 1953, стр. 176.

[2] Ф. Энгельс. Диалектика природы. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, М., 1961, стр. 368.

Случевского, как и на некоторых его современников в России (например, на Фета), определенное влияние, которое невозможно отрицать, но не следует и преувеличивать. Что касается Случевского, то он — наряду с философией — изучал в Германии и Париже также естественные науки, в которых — по формулировке Энгельса — «диалектический характер процессов природы стал непреодолимо навязываться мысли». Случевский слушал лекции крупных западноевропейских ученых, занимался в их лабораториях и знакомился с достижениями современной естественно-научной мысли у ее первоисточника.

И вот у него, поэта и последователя того самого философского идеализма середины века, который считал внешний мир иллюзорным — признавал его плодом некой неразумной «воли» и единственную реальность видел в представлениях о нем, в переживаниях человека, — возникает стремление рационалистически осмыслить иррациональное, уловить «неуловимое», логически доказать право на фантазию. Валерий Брюсов в статье-некрологе о Случевском писал по этому поводу: «Против его воли и, может быть, несознательно для него, душа его была уязвлена, ранена мучительной двойственностью — его научных убеждений и его стремлений как художника. Значительную долю творческих сил Случевский отдавал неблагодарному делу: защитить и оправдать мечту, доказать права фантазии, — установить реальность ирреального. Он произносил эти защитительные речи с убежденным видом победителя, но, кажется, так до конца и не мог убедить самого себя». [1]

Творчество Случевского в целом — от ранних стихов до конца его деятельности — отразило сознание двойственности внутреннего мира поэта, обостренное чувство глубоких противоречий, заложенных в нем, — противоречий между идеальным и материальным, верой и безверием, нравственной нормой и живым человеческим «я», мечтой и реальной жизнью, миром «незримого» и «грубой» действительностью. Эти противоречия проходят через всю его поэзию и с особенной четкостью запечатлеваются в стихах зрелых и поздних лет. Программным для него можно признать стихотворение «Нас двое», основной мотив которого — раздвоенность человека (этот мотив двойника был впоследствии подхвачен и Блоком и целым рядом его поэтических единомышленников):

Никогда, нигде один я не хожу,
Двое нас живут между людей:

[1] «Весы», 1904, № 10, стр. 2.

Первый — это я, каким я стал на вид,
А другой — то я мечты моей.
И один из нас вполне законный сын;
Без отца, без матери другой...

А когда в позднем стихотворении «Я видел Рим, Париж и Лондон...» (в «Песнях из Уголка») он говорит:

Я резал трупы с анатóмом,
В науках много знал светил,
Я испытал в морях крушенье,
Я дни в вертепах проводил...
Я говорил порой с царями,
Глубоко падал и вставал,
Я богу пламенно молился,
Я бога страстно отрицал... —

это отнюдь не мелодраматическая тирада, не декламация, а вполне реальное, хоть и патетическое по форме подведение итогов жизненного опыта, выражение тех переживаний, которые составляют содержание его поэзии.

Случевский много и настойчиво писал — особенно в последние годы жизни — о том особом значении, которое имеет для него внутренний мир, служащий ему источником глубоких наслаждений, заменяющий ему мир внешний. А между тем его поэзия на всем своем протяжении проникнута острым, тревожно пристальным вниманием к внешнему миру, не только к миру природы, но и к миру общественных отношений.

Один из позднейших критиков-апологетов Случевского Пл. Краснов в статье с характерным заглавием «Вне житейского волненья» так объяснял причины долгой непризнанности поэта: «...Не понимавшие его современники имеют свое оправдание. Никогда К. К. Случевский не пел о том, чем интересовалось и жило общество в данную эпоху. Его поэзия — узко индивидуальная. Это поэзия вне жизни, живущая особым миром...»[1] Объяснение совершенно неправильное, не отвечающее содержанию поэзии Случевского, но нисколько не случайное. Оно характерно как одна из попыток представить Случевского служителем «чистого искусства», поэтом, далеким от действительности, от современности. Показательно, что, давая характеристику поэтического творчества Случевского и очень пространно

[1] «Книжки Недели», 1898, сентябрь, стр. 133.

цитируя малотипичные для него стихи, часто сбивающиеся на «общие места» русской лирики конца века, критики-апологеты совершенно не упоминали о таких стихотворениях, как «На Раздельной», «На рауте», «Из Каира и Ментоны» и другие, в которых вполне отчетливо сказывается отношение поэта к событиям современности и к положению дел в стране, к ее быту. Занимая в политических и других вопросах охранительные позиции, Случевский не уходит от действительности в мир «чистого искусства»; напротив — он постоянно откликается на нее, делая свое отношение к ней темой целого ряда стихотворений (цикл «Из дневника одностороннего человека»). Недоволен он не современностью вообще (хотя иногда и противопоставляет ей положительный пример прошлого), а русской действительностью своего времени, пустотой того общества, к которому сам он принадлежит, его паразитарностью, ложью и лицемерием, царящими в нем, его беспочвенностью, кастовой оторванностью верхов от народа. В этом смысле особенно характерны стихотворения «Из Каира и Ментоны» и «Висбаден».

Целый ряд стихотворений Случевского показывает, что он далек был от мирного и благодушного приятия действительности, болезненно ощущал неблагополучие существующих социальных отношений и, придерживаясь консервативной идеологии и консервативной политической ориентации, все же обладал развитым сознанием противоречий русской жизни второй половины XIX века. Будучи сторонником монархического режима в России, заботясь о его упрочении, он вместе с тем болезненно ощущал всю гнилость его устоев — видел вырождение аристократии, продажность и бездарность чиновничества, отсутствие сколько-нибудь твердых нравственных принципов. В интересах существующего государственного строя он и вскрывал эти язвы, но противопоставить им что-либо реальное, кроме образца патриархальных нравов «доброго» старого времени, не мог.

3

У писателя, творчество которого построено на идеалистической основе и чуждо революционности, противоречия окружающей действительности вызывают противоречие и в самом его сознании — противоречие между отрицанием этой действительности, с одной стороны, и невозможностью побороть ее, найти реальный выход, стремлением к поискам метафизических ценностей, с другой.

Мы знаем, что из современных русских писателей Случевский выше всех ставил Достоевского и находился под несомненным влия-

нием его идей. На смерть Достоевского он отозвался стихотворением «После похорон Ф. М. Достоевского», выражающим безоговорочное признание особой и исключительной, в понимании Случевского, роли этого писателя. О том же говорит и его брошюра «Достоевский» (1889), содержащая, правда, отдельные интересные замечания о творчестве автора «Карамазовых», но в целом написанная с позиций официальной народности, прославляющая Достоевского главным образом за то, что вызывало сочувственные оценки в реакционной русской печати. В статье немало злопыхательских выпадов против демократической и даже умеренно либеральной критики, а там, где автор говорит о гуманизме Достоевского, он то и дело впадает в елейно-слащавый тон.

Среди соображений Случевского о художественных достоинствах произведений Достоевского выделяется по своей оригинальности следующее: «Нет сомнения в том, что из произведений покойного можно бы было выбрать огромное количество превосходнейших поэтических мыслей, образов, дум, настроений чувств и страсти, вполне пригодных для целого цикла своеобразнейших стихотворений; эти места, так сказать, почти готовые стихотворения в прозе, вставленные отдельными яркими цветными камешками на широких плоскостях мозаик его длинных, часто слишком длинных работ...» [1] Случевский не пояснил, какие места он имеет в виду, и мнение его представляет интерес не столько для характеристики Достоевского, сколько для понимания его собственного отношения как поэта к наследию знаменитого романиста. Некоторые стихотворения Случевского, думается, отражают попытку творчески откликнуться на поразившие его места в сочинениях Достоевского. Примечательно, что Случевский-художник в своем отношении к Достоевскому, если судить по этим предположительным, но весьма вероятным откликам, не только неизмеримо шире, но и прогрессивнее, чем Случевский-публицист, идеолог. Говоря об этих поэтических откликах, не надо, конечно, забывать и о том, что творчество Достоевского явление несравненно более значительное по художественной силе, широте тематики, по глубине поставленных вопросов и по роли его в развитии русского общества, чем поэзия Случевского в целом.

Одно из самых сильных стихотворений Случевского «После казни в Женеве» проникнуто пафосом неприятия уродливой, жестокой и несправедливой жизни, характерным для передовой русской литературы последних десятилетий прошлого и начала нового века.

---

[1] К. Случевский. Достоевский (Очерк жизни и деятельности). СПб., 1889, стр. 35—36.

В этом стихотворении Случевский перекликается с Достоевским, вернее — с тем его героем, которого романист сделал носителем мятежного начала, идеи отрицания, наделив его огромной силой убеждения. Иван Карамазов в своем разговоре с Алешей рассказывает: «Есть у меня одна прелестная брошюрка, перевод с французского, о том, как в Женеве очень недавно, всего лет пять тому, казнили одного злодея и убийцу, Ришара, двадцатитрехлетнего, кажется, малого, раскаявшегося и обратившегося к христианской вере перед самым эшафотом. . .» Негодование Ивана Карамазова вызвано тем, что раскаяние и обращение Ришара — вынужденное, что оно достигнуто под давлением всей «благотворительной и благочестивой Женевы»: «. . .И вот наступает последний день. Расслабленный Ришар плачет и только и делает, что повторяет ежеминутно: «Это лучший из дней моих, я иду к господу!» — «Да, — кричат пасторы, судьи и благотворительные дамы, — это счастливейший день твой, ибо ты идешь к господу!» Все это двигается к эшафоту вслед за позорною колесницей, в которой везут Ришара, в экипажах, пешком. Вот достигли эшафота. «Умри, брат наш, — кричат Ришару, — умри во господе, ибо и на тебя сошла благодать!» И вот покрытого поцелуями братьев брата Ришара втащили на эшафот, положили на гильотину и оттяпали-таки ему голову за то, что и на него сошла благодать» («Братья Карамазовы», ч. 2, кн. 5, гл. 4 — «Бунт»).

Это сопоставление двух «казней в Женеве» не означает, что Случевский заимствовал идею и образы из «Братьев Карамазовых», появившихся в «Русском вестнике» в 1879—1880 годах, за год до выхода в свет 2-й книжки его «Стихотворений», где стихотворение было опубликовано в первой редакции. Случевский, много бывавший за границей, мог и сам присутствовать — в Женеве ли, в другом ли городе — при зрелище, подобном описанному у Достоевского, мог и читать о таком же случае, и речь может и должна идти не о факте заимствования, а о дальнейшем, не менее остром развитии определенных мыслей и образов, о проявлении идейной и художественной связи.[1] Совпадает контраст между мотивом казни — крайнего выражения дисгармонии человеческого бытия — и восхвалением благодати или бога, независимо от того, в чьи уста оно вкладывается — женевских ли пасторов и дам-благотворительниц или «схимницы больной и исхудалой». Благодаря измененной концовке

---

[1] Небезынтересно отметить, что первые две строфы у Случевского представляют частичное совпадение и с другой аналогичной картиной — с описанием казни, виденной в Лионе князем Мышкиным (см. «Идиот», ч. 1, гл. 2 и 5).

вторая редакция «После казни в Женеве», опубликованная в 1898 году, приобретает более отчетливый философский смысл; поэт, отвергнув эротико-садистский оттенок первого варианта, где монахиня пела: «В крови горит огонь желанья. . .», еще более приблизился к негодующему пафосу Ивана Карамазова.

Есть лишь одно различие между рассказом Ивана Карамазова и стихотворением Случевского: в рассказе никакого «кошмара» нет, всё — наяву; но сама по себе эта картина настолько гротескно кошмарна, что содержание бредового сна в последних строфах Случевского по смыслу и по эмоциональному содержанию представляет ей прямую аналогию.

Сюжет более позднего стихотворения «Меня в загробном мире знают. . .» вызывает в памяти того же Ивана Карамазова, — один из его «разговоров с Чертом», «анекдот» про атеиста, сперва не пожелавшего блаженств будущей жизни и отказавшегося отбыть назначенное ему наказание, а потом все-таки покорившегося и пропевшего «осанну» в восторге от увиденного им в «том мире». У Случевского «загробный мир» более жесток: населяющие его умершие, хоть «все живут сердцами», откажутся принять неверующего гордеца, которому негде «взять» сердце, который «слишком дерзок и умен», не хочет быть смешным в загробном мире, так как он отрицал и высмеивал его при жизни. Поэт говорит о «безбожнике» с полным сознанием своего «превосходства», без сожаления и вместе с тем рисует его портрет, так сказать, в полный рост: этот гордый человек не пропоет осанну, не раскается.

Случаи таких отдельных идейных, сюжетных, образных аналогий не единичны. Совпадение ситуаций и образов нигде не является формально полным как и при всякой подлинно глубокой связи между двумя творческими индивидуальностями. Наиболее ярким свидетельством связи между Случевским и Достоевским в области философской проблематики представляется поэма «Элоа» (особенно в первой редакции [1]) в ее отношении к «Братьям Карамазовым». Споры Ивана Карамазова с Алешей находят продолжение в диалогах Сатаны с ангелом Элоа и херувимами. У Случевского поставлен — и поставлен, можно сказать, ребром — старый философский вопрос о первопричине зла, об изначальной вине. Вопрос этот, ставший поэтической темой, имеет в литературе свою историю, восходя не только к Достоевскому, но и ранее — к Лермонтову и Байрону. Если Демон и Азраил у Лермонтова говорили в приподнятом тоне, пользуясь высоким

[1] См. в «Ранних редакциях» первоначальный вариант 5-й сцены, стр. 400.

стилем и поэтизмами своего времени, то сомневающиеся и отрицающие герои Достоевского — и прежде всего Иван Карамазов — соединяют в своей речи «высокое» с «низким», торжественное с грубым, философский пафос с бытовой простотой и непринужденностью речи, как и Сатана у Случевского, в этом смысле не похожий ни на Демона, ни на Байронова Каина. Добро и зло противопоставлены Случевским почти без всякого морализирования, в монологах Сатаны отчетливо выражена мысль: за зло ответственно добро — одна из мыслей, являющихся лейтмотивом монологов Ивана Карамазова (см. в особенности в «Братьях Карамазовых», ч. 2, кн. 5, гл. 4). Независимо от того, как Достоевский для себя решал подобные вопросы, он давал своим персонажам высказать до конца все доводы в пользу их положений, позволяя им ничего не сглаживать. У Случевского тема добра и зла приобретает форму нарочито резкую, несколько огрубленную и даже упрощенную, но тем самым еще более неприемлемую с точки зрения христианской догматики. Когда херувимы — души умерших грудных детей — пропели богу славу за то, что он взял их на небо, спас из земной юдоли, где у матерей для них не хватало молока, где их мучили болезни, Сатана в первой редакции поэмы спрашивает:

Ну, а зачем он дал веленье,
Чтоб вам рождаться не в зачет?
Зачем в грудях на прокормленье
Вдруг молока недостает?!

И оказывается, что возразить на это нечего. Своего героя Случевский наделил такой логикой, что перед подобными доводами бледнеют все попытки ангела Элоа переубедить его. Элоа молится за него, надеется на его раскаяние в будущем, но он остается самим собой; моральная победа — за ним. Носитель зла, дух отрицания обрисован, во всяком случае, гораздо более сильным, чем добродетельный и любвеобильный ангел. Те же черты в развитии идеи и образа выступают у Случевского при обрисовке Мефистофеля в одноименном цикле, посвященном той же теме противоречий между злом и добром.

Для Случевского, художника и мыслителя, Достоевский имел значение не только как проповедник православных идеалов всепрощения, но и как писатель, воплотивший в своих персонажах острейшие противоречия мира действительности и философской мысли.

В критической литературе о Случевском эта сторона его связи с Достоевским — существенная черта его собственного поэтического

мировоззрения — не отмечена. Напротив, многие критики-апологеты из числа консервативных литераторов подчеркивали его религиозность, гармоничность его философских взглядов. Не стоит оспаривать тот факт, что как человек Случевский был религиозен, но в истории русской литературы, он, как поэт мысли, сыграл скорее роль Мефистофеля, дав волю нотам скепсиса, сомнения, отрицания, которые отнюдь не гармонировали ни с религиозными идеалами, ни с тенденциями «искусства для искусства», которые столь сильны в творчестве многих его современников и политических единомышленников, таких как Фет, Майков, А. К. Толстой и другие.

Та критика окружающей действительности, которую мы встречаем в стихах Случевского, является, конечно, «критикой сверху». Она не мешала поэту писать так же, как это делали Майков и Фет, стихи «на случай» в монархическом духе, по разным торжественным поводам, вроде коронаций, юбилеев, — стихи, лишенные поэтической ценности. Зато в тех случаях, когда поэт давал волю своему общественному негодованию, обличительной иронии, как в «Дневнике одностороннего человека», он достигал такой степени резкости, какой мы не найдем ни у кого из названных выше поэтов. Социальный облик Случевского, сперва офицера, начинавшего блестящую военную карьеру, потом крупного чиновника, — нисколько не противоречит возможности подобных литературных выступлений. История литературы знает такие примеры (сатирические стихи А. К. Толстого, все творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина).

С критическим и глубоко пессимистическим взглядом Случевского на окружающую действительность связано большинство его поэтических мотивов, в частности та роль, какую в его творчестве играет тема иллюзорности внешнего мира, мотивы смерти, похорон, кладбища. В стихах Случевского, посвященных такого рода темам, обычно нет ни страха смерти, ни тоски по жизни. Причина тому не только в религиозности, но и в отношении поэта к социальной действительности его времени, которая и побуждает его не жалеть о жизни. Одно из стихотворений в «Песнях из Уголка» («Вы побелели, кладбища граниты...») заканчивается строками:

Уж не признать ли теплыми могилы
В сравненьи с жизнью в холоде и мгле?

Из отрицательного отношения к действительности возникает насмешливое признание превосходства смерти. Всего ярче оно сказалось в стихотворении «Камаринская» — в словах, которыми обмениваются только что покинувшие жизнь больные и сумасшедшие («Не вернуться ли нам жить?» — «Ой, не хочу! Из покойничков

в живые нам не лезть. Знаем, видим — лучше смерть, как ни на есть!»). Несмотря на то что речь здесь идет о бессмертных «душах», стихотворение чуждо какой бы то ни было религиозности. Само заглавие «Камаринская» носит вызывающий характер. Стихотворение это, как и «После казни в Женеве», сравнительно раннее, и оба они, бесспорно, принадлежат к числу самых сильных произведений русской философской лирики пессимистического характера.

При этом пессимизм Случевского отнюдь не производит впечатления нарочитой позы, литературной условности. Впечатляющая сила его, как и поэзии Случевского в целом, связана с очень своеобразным лирическим тоном, с конкретностью человеческого облика, который проступает в стихах. Это не образ обличителя общественных зол, но и не отвлеченный образ поэта-«певца». Образ поэта у Случевского, особенно в поздней его лирике (в «Песнях из Уголка») — это образ русского интеллигента, привыкшего размышлять, много видевшего в жизни, усталого человека, живущего в очень определенной среде и в конкретной обстановке. Заглавие последнего его сборника «Песни из Уголка» прямо связано с названием его дачи-усадьбы в Усть-Нарве (Гунгербурге). Пейзаж Случевского — это конкретный пейзаж, окружающий дом поэта.

При всей значительности места, какое в поэзии Случевского занимают трагические переживания, ими, однако, не исчерпывается психологическое содержание образа поэта. В его лирике отразился человек больших страстей, которому ничто человеческое не чуждо; его поэтический темперамент богат: он допускает резкие, подчас неожиданные переходы от одной эмоции к другой. В рамках одного отдела или цикла рядом со стихотворениями, говорящими о состоянии тяжелой подавленности, глубокого отчаяния, о мрачных раздумьях, — другие стихи, полные душевного подъема, жажды жизни и любви, светлой радости общения с природой («О, в моей ли любви не глубоко...», «Я ласкаю тебя, как ласкается бор...», «Дай мне минувших годов увлечения...», «О не брани за то, что я бесцельно жил...» и многие другие). На закате жизни Случевский написал стихотворение «Перед большим успокоеньем», где смирение перед судьбой, ожидание вечного покоя внезапно сменяется темой любви, которая, как опасается поэт, еще может вернуть его «назад».

Персонажи стихов Случевского разнообразны: его Мефистофель, герои его поэм (особенно Сатана в мистерии «Элоа», продолжающий образ демона в русской поэзии), авторское «я» в лирике и, наконец, безыменные персонажи, о которых в стихотворениях речь идет во втором или третьем лице, — все они характеризуются богатством и противоречивостью душевных переживаний.

Случевский был поэтом теневых, трагических сторон жизни. В изображении человеческих страданий, в образном воплощении мыслей об ужасе жизни он достигал большой силы. И в этом отношении особенно интересны те его стихи, в которых трагическое показывается как обыденное, без громких слов.

Даже образ Сатаны у Случевского замечателен тем, что в нем отсутствует традиционная оперная «красивость», что словарь его (особенно в первой редакции) груб, резок, сочетает в себе прозаически разговорные черты с моментами большого патетического подъема. Трактовка этого образа в некоторой степени перекликается с воплощением его у Бодлера, полным таких же контрастов; а в пределах русской поэзии — с его разработкой у Ал. Толстого в «Дон-Жуане», где широко используются современные прозаизмы.

Критики, особенно те, что хвалили поэта, нередко ставили ему в упрек прозаичность стихотворной речи. Один из них, К. П. Медведский, писал: «Единственное, в чем можно упрекнуть автора, это в снисходительном отношении к так называемым «прозаическим оборотам». Случевский, разумеется, легко отнял бы прозаические обороты, если бы придавал им серьезное отрицательное значение».[1] С точки зрения любителей «гладкого» и «красивого» стиха, который, согласно с трафаретными представлениями, составляет неизбежную принадлежность «чистой поэзии», — прозаические обороты казались существенным недостатком. У Случевского они, однако, не случайны: они обусловлены всей его поэтической системой. Они свидетельствуют о связи с Гейне и с его русскими переводчиками и подражателями, — в частности, с теми из них, которые в начале 60-х годов отчетливо выделяли в поэзии Гейне шутливые и разговорно-прозаические элементы. Но вместе с тем они говорят о том, что Случевский ближе, чем эти «гейневцы», подошел к верному пониманию основ стиля Гейне, строящегося не на одностороннем использовании одних только шутливо-прозаических или, напротив, эмоционально-лирических черт, а на сочетании этих противоположностей, на умении выразить трагическую эмоцию с помощью простых, обыденно разговорных средств речи, на умении придать прозаизму лирическую значительность или осмеять традиционный поэтизм.

У Случевского прозаизм, а порою и канцеляризм, проявляющийся в выборе слов, но иногда распространяющийся и на целые обороты, играют исключительно важную роль. Если Фету и Майкову

---

[1] К. П. Медведский. Современные литературные деятели. К. Случевский. — «Исторический вестник», 1894, № 9, стр. 756.

прозаизмы чужды, если нет их и у Ал. Толстого в его лирике; если у Некрасова прозаизм как разговорного, так и книжного происхождения встречается, главным образом, в качестве одного из способов речевой характеристики персонажей (например, в «Современниках») или средства, с помощью которого поэт придает своему рассказу подчеркнуто разговорный, бытовой тон, — то Случевский пользуется прозаизмами независимо от темы; с их помощью он сообщает своим стихам окраску то повседневно-разговорной, то официально-деловой речи. Так, в стихотворении на философско-эстетическую тему «Формы и профили» он пишет:

А сказки снов людских? А грезы *всяких свойств?*..
...Да, бесконечности одной *не по нутру*
Скоплять всё мертвое и сохранять живое.

Он достигает в стихах разговорной простоты и непринужденности, не избегая оборотов, напоминающих деловую речь:

Но если к этому прибавить то, что было,
Мечты счастливые и грезы прежних лет,
Как друг за дружкою то шло, то проходило,
Такая-то жила, *такой-то* не был сед...

*(«Где только есть земля,
в которой нас зароют...»)*

Случаи обращения к прозаизмам у Случевского очень часты: в этих случаях поэт явно не ставит себе целью создание комического эффекта, и в его намерения ирония не входит. Тема, трактуемая в прозаически фамильярных тонах, не «снижается», а лишь, так сказать, «опрощается»; поэт словно подчеркивает, что о высоких вопросах жизни он рассуждает не как философ и не как певец, а как обыкновенный человек, хотя в некоторых стихотворениях с помощью прозаизма он действительно создает эффект нарочито философской речи человека, рассуждающего о своей теме языком специалиста.

Его мастерство — в умении соединить прозаический оборот, обыденный образ с «высоким» и отвлеченным мотивом. В цикле «Черноземная полоса» одно восьмистишие начинается строками:

Устал в полях, засну солидно,
Попав в деревню на харчи.

Перед нами возникает образ грузного столичного чиновника, приехавшего погостить в имении, — может быть, фигура профессора Серебрякова из чеховского «Дяди Вани». Но вот, после следующих четырех строк, посвященных безмятежному ночному пейзажу, который внушает любовь к «божьему миру», — заключение:

...Но крикнул петел!
Иль я отрекся от себя?

Представление читателя о «герое» стихотворения после такого финала сразу меняется — возникает образ мятущегося человека, стремящегося сохранить свое «я», не ждущего успокоения.

Впечатление тяжеловесности и шероховатости, какое стихи Случевского производили на современную критику, в сильнейшей степени было обусловлено постоянным, порою весьма неожиданным применением прозаизмов, а также канцеляризмов и выражений из области деловой речи. В стихотворении «Я видел Рим, Париж и Лондон...» («Песни из Уголка») поэт в очень торжественной форме, в романтически приподнятом тоне перечисляет виденное и испытанное в жизни. С общим строем стихотворения контрастируют лишь два стиха, из которых второй словно взят из учебника географии, механики или физики:

Я слышал много водопадов
Различных сил и вышины...

По поводу этих и им подобных стихов, внезапно нарушающих окраску целого, у читателя может зародиться сомнение: не хотел ли поэт с помощью прозаизма внести элемент самопародии, легкую ноту иронии, расхолаживающую поправку в высокий пафос стихотворения, чтобы мы не принимали его слишком всерьез?

Однако такое решение вопроса было бы ошибочным. Своеобразие Случевского как стилиста именно в том, что словесная пестрота дается им порой, так сказать, без всяких объяснений. Эту особенность его стиля прекрасно определил Валерий Брюсов: «В самых увлекательных местах своих стихотворений он вдруг сбивался на прозу, неуместно вставленным словцом разбивал все очарование и, может быть, именно этим достигал совершенно особого, ему одному свойственного впечатления. Стихи Случевского часто безобразны, но это то же безобразие, как у искривленных кактусов или у чудовищных рыб-телескопов. Это — безобразие, в котором нет

ничего пошлого, ничего низкого, скорее своеобразие, хотя и чуждое красивости».[1]

Если лирика любви и природы у Случевского отличается большой задушевностью и действует на читателя искренностью и простотой человеческого голоса, то и это в известной мере тоже обусловлено использованием более простого, «прозаического» словаря в непосредственном соседстве с «высокими» словами и традиционно поэтическими выражениями. Он пишет:

По крутым по бокам вороного
Месяц блещет, вовсю озарил.

(«Черноземная полоса»)

И фамильярно обыденное «вовсю» мирно уживается здесь с поэтическим глаголом «озарил». В поэзии Случевского разговорные и прозаические черты отлично сочетаются с лиризмом, пафосом и философичностью.

Случевский пользуется всем многообразием «прозаической» речи: разговорно-бытовой, книжно-канцелярской, специально-научной, применяя ее то для создания фамильярно-шутливой окраски стиха, то как средство, подчеркивающее его простоту и непринужденность, то как способ характеристики обстановки или социального облика персонажа, то как средство, переключающее речь поэта в отвлеченно научный план. Порою он на протяжении всего стихотворения ориентируется на прозаическую речь, но чаще прибегает к ней для контрастов, противопоставляя ее речи лирической. Постоянные контрасты, широта словарного и фразеологического диапазона составляют отличительную черту поэтического стиля Случевского, придавая ему большое разнообразие поэтических оттенков.

Синтаксис Случевского не менее, чем его словарь, многообразен по формам и их функциям — от нарочито тяжеловесных фраз, напоминающих медленный и затрудненный деловой разговор, отвлеченное рассуждение или научно-книжный текст, до эмоционально приподнятых, эмфатических периодов. Если, с одной стороны, некоторыми элементами своего творчества, всего отчетливее сказавшимися в таких циклах, как «Женщина и дети», «Лирические», Случевский соприкасается с «красивостями», с поэтическими банальностями второстепенной русской лирики последней четверти века, которые у него, правда, начинают играть несколько иную роль, — то с дру-

---

[1] Валерий Брюсов. Поэт противоречий К. К. Случевский. — «Весы», 1904, № 10, стр. 1—2.

гой стороны, по своеобразию поэтической речи он явно отталкивается от них, как бы осуществляя принципы «эстетики безобразного». Недаром В. Брюсов в посвященной ему статье говорит о «красоте безобразия». Использование прозаически сниженного слова в стихах философски медитативного или эмоционально-трагического характера у Случевского напоминает то, что делали в своих стихах некоторые из французских «проклятых поэтов», любившие сочетать тематические, образные и языковые крайности, — этим путем они боролись с эстетической рутиной и косвенно протестовали против рутины буржуазного быта. И не случайно то недоумение, а чаще непонимание, которое вызывала поэзия Случевского у стольких литературных деятелей 80—90-х годов; не случайна спорность его положения в литературе — поэта, слишком отклоняющегося от привычного представления о поэтическом, писателя, совмещающего консервативность идейно-философских взглядов с резкими выпадами против своего же общества.

В отличие от французских «проклятых поэтов», первых русских символистов, а впоследствии футуристов, Случевский отнюдь не задавался целью кого бы то ни было «эпатировать» (за исключением, может быть, песни о козе, которую «тени» поют в начале первой редакции «Элоа»). Ни в одном из его стихотворений мы не чувствуем нарочитого желания удивить. Соединение резко противоположных элементов, совмещение крайностей, стилистическая дисгармония — все это для него органично как способ раскрытия трагизма и внутренней дисгармонии — в сознании и в переживаниях; переходы от одной крайности речи к другой параллельны резким переходам в самом течении мысли, в критической работе сознания.

То противоречие между «мечтой», фантазией и попытками рационалистически доказать ее реальность, о котором говорит В. Брюсов, может быть, не менее ярко, чем на тематике Случевского, отразилось и на его стиле, проявилось в противоречии между зыбким многозначным образом, улавливаемым импрессионистически, и прозаической стихией его речи.

4

Тематический кругозор Случевского широк. Поэзия медитативно-философская (типа «Дум»), психологическая (лирика любви), исторические воспоминания сочетаются у него с поэзией природы, которая в его творчестве играет значительную роль.

Лирика природы имеет в русской литературе большую и давнюю традицию. Природа, и русская и западноевропейская, о кото-

рой говорят стихи Случевского, — в общем та же самая, что отразилась и в стихах Фета, Майкова, Полонского. Разница лишь в том, что географический кругозор у Случевского как поэта природы — шире, чем у его современников: он писал и о Мурмане, и о Заонежье — о местах, тогда еще не упоминавшихся в поэзии и малодоступных для путешественника. Путешествовал он много: объездил всю Европейскую Россию, побывал в большинстве стран Западной Европы. Но, разумеется, не географическая приуроченность того или иного стихотворения определяет специфику стихов Случевского о природе.

Для Случевского характерно, что пейзаж его — не безлюдный, как например — у Фета. Не ограничен он и ролью декорации, на фоне которой раскрывалось бы психологическое состояние поэта. Пейзаж у Случевского выдвигается на передний план, а душевные переживания поэта лишь подразумеваются; но в состав пейзажа у него включены и образы людей из народа, занятых трудом тяжелым и опасным, лишенных жизненных благ. Таковы в «Черноземной полосе» картины крестьянского труда, который порой, правда, показывается и в несколько приукрашенном виде; в «Мурманских отголосках» — образы рыбаков, то же — в «Волжской ватаге». Мир Случевского лишен социальной гармонии, и об этом напоминает даже пейзаж. Картина летнего дня и жатвы («Полдневный час, Жара гнетет дыханье. . .») завершается сентенцией:

Кто испытал огонь такого неба,
Тот без труда раз навсегда поймет,
Зачем игру и шутку с крошкой хлеба
За тяжкий грех считает наш народ!

На фоне картин полярного моря в «Мурманских отголосках» проходят фигуры рыбаков, которые постоянно становятся жертвами этого моря. Поэт далек от каких бы то ни было радикальных выводов из своих наблюдений, он ограничивается только их образным отражением, но существенен сам предмет, на который направлены его наблюдения.

Словесные краски Случевского как пейзажиста ярки и новы, образы наглядны, формулировки и сентенции, которыми он иногда заканчивает свой пейзаж, чрезвычайно четки. Ряд стихотворений о природе («Рассвет в деревне», «Вечер на Лемане» и другие) ограничивается у Случевского только описанием, — правда, всегда эмоционально насыщенным и рельефным; но чаще пейзаж его аллегоричен или символичен. Жизнь природы он любит сопоставлять с жизнью человека — в порядке параллелизма или контраста. Кар-

тины осени и зимы приводят его, как и других поэтов, к мысли о смене умирания и обновления не только в природе, но и в жизни человека. В некоторых случаях он делает лишь намек на такое сопоставление или противопоставление, не доводя его до конца. И сила Случевского как лирика природы именно в том, что он не настаивает на этих сопоставлениях, которые, будь они логически сформулированы, ничем не выделялись бы, казались бы почти банальными, — он всегда оставляет читателю некоторую свободу осмысления. Эта черта роднит его в известной мере и с Фетом, и с Тютчевым.

Стихам Случевского о природе в большинстве случаев присущ философский оттенок. Поэту важны не только те чувства личного порядка, те переживания, какие могут быть вызваны окружающей его обстановкой, но и те размышления, на которые она наталкивает, — пусть даже иногда эти размышления несколько однообразны: они варьируют излюбленную тему непостоянства, превратности человеческой судьбы, то противопоставляемой неизменности природы, то приравниваемой к переменам в ней.

Язык стихотворений Случевского о природе отмечен той же простотою, почти фамильярностью тона, что и в других жанрах его поэзии. Поэт и здесь пользуется чисто разговорными оборотами, благодаря которым конкретизируется, становится более непосредственным, так сказать, очеловечивается образ самого автора, живого созерцателя природы. Нередко богатая и сложная метафора, которая в ином сочетании могла бы стать принадлежностью торжественного, приподнятого стиля, здесь, благодаря соседству простых разговорных слов, не нарушает общего тона и даже приобретает своеобразно реалистический оттенок. Традиции философской лирики, поэзии природы, идущие от Баратынского и Тютчева, обогащенные примером Фета и Полонского, сочетаются у Случевского в области языка с некрасовскими чертами (бытовой словарь, разговорные обороты).

В творчестве Случевского большое место занимают, составляя целый цикл в сборнике его стихов, полуописательные, полуэпические стихотворения под общим названием: «Баллады. Фантазии. Сказы». Исторические мотивы вплетаются и в цикл «В пути», посвященный дорожным впечатлениям («Ханские жены», «Страсбургский собор», «Monte Pincio»), выступают в цикле «На разные случаи и смесь».

Историю, равно как и материал из легендарных источников, поэт нисколько не идеализирует. Единственный исторический герой, безусловно пользующийся его симпатией, — Петр I. Случевский все-

цело на его стороне, рассказывает ли он о борьбе Петра с собственным сыном, о суровой, но неизбежной расправе над царевичем («О царевиче Алексее»), о войнах Петровского времени («О первом солдате») или о проделке воров-подрядчиков, попытавшихся обмануть императора на строительстве каналов и пойманных на месте преступления («Петр I на каналах»). Исторический фон передан при этом реалистически правдиво и убедительно, а повествование ведется в тонах взволнованного «сказа», с налетом разговорно-бытовой окраски.

В русской истории Случевского привлекают героические и переломные моменты: время деятельности Петра, эпоха укрепления Московского государства. Но независимо от симпатии поэта к герою и от значения событий, о которых идет речь, его сюжеты, как исторические, так и легендарные, окрашены преимущественно в мрачные тона; в большинстве своем они трагичны. Трагизм усиливает реалистическая точность деталей, задушевно непринужденная, почти будничная простота рассказа. О падении Новгорода, о гибели новгородской свободы и о печальной судьбе вечевого колокола поэт говорит эпически бесстрастно, сдерживая скорбное чувство; лишь в заключительной строфе, дав волю своему лиризму, он связывает образ валдайского колокольчика, отлитого из осколков древнего колокола, с мотивом глухой дорожной тоски («Новгородское предание»). Сказ о традиционном герое былин, о древнерусском витязе, звучит у него приглушенно иронической аллегорией, в которой подразумевается неспособность современников поэта к великим деяниям («Витязь»).

В стихотворениях на мотивы русской истории и русского фольклора Случевский широко пользуется фамильярно прозаическими оборотами, с их помощью придавая образам и тону повествования более житейский, изредка юмористический или гротескный характер, приглушая лиризм, оттеняя трагизм положений. В преобладании темных красок, в отсутствии внешней декоративности, в невеселой иронии, в общей приглушенности тона — существенное отличие исторических и фольклорных стихов Случевского от эпического творчества А. К. Толстого, с его яркими красками и мажорными тонами.

Случевского, особенно в более ранний период творчества, занимали мотивы и картины античного мира («Весталка»), Древнего Египта («Мемфисский жрец»), древняя мифология («Мертвые боги»). Некоторые из стихотворений, посвященных подобной тематике, драматичны по ситуациям («Весталка», «Мемфисский жрец»), эффектны по образам («На раскопках»).

В отличие от своего современника А. Н. Майкова и поэтов начала XIX столетия, Случевский не ищет в древности (за исключением идиллии «Ифимедия») ни гармонии, ни спокойствия, ни забвения современности. Если в ранних стихотворениях «Весталка» и «Мемфисский жрец» его привлекают прежде всего трагические образы людей далекого прошлого, то в других вещах легендарные и мифологические мотивы вызывают на сравнение с современностью («На раскопках»), на иронические раздумья («Мертвые боги»).

Критическая литература о Случевском вообще не обширна, а вопросом о связи его творчества с западноевропейской поэзией никто из критиков не занимался. Лишь П. Н. Краснов вскользь указал на «дух парнасской поэзии Леконта де Лиля» в балладах «Статуя», «Весталка», «Мемфисский жрец».[1] Основание для подобного сопоставления могут дать именно эпические вещи Случевского, стихи на исторические темы, главным образом из числа тех, которые были написаны позднее. У обоих поэтов неприятие современности связано с широким интересом к истории, к разнообразным ее эпохам, с эстетическим любованием образами прошлого; обоим история представляется роковой цепью жестокостей и несправедливостей. Один из частых мотивов Леконта де Лиля, проходящий у поэта-парнасца через целый ряд стихотворений, — мотив первобытного покоя девственных лесов — разработан Случевским в стихотворении «Последний завет»: речь идет о девственном лесе и развалинах, сохранившихся там; стихотворение содержит ряд образов и формулировок, действительно напоминающих французского поэта; оно целиком выдержано в «высоких тонах» и построено на материале, близком Леконту де Лилю.

О близости, впрочем, можно говорить лишь в плане мировоззрения и жизнеощущения, в плане общей концепции истории да об отдельных совпадениях, обусловленных параллелизмом в развитии русской и французской поэзии XIX века, но никак не о стилистическом подражании или заимствовании тем и образов.[2] Трагизм и фатализм исторической концепции Случевского, как правило, чужд всякой торжественности и патетики. К тому же у Случевского и в стихах исторического жанра дают себя знать прозаические черты, разговорно-бытовые элементы языка, в результате чего историче-

---

[1] Пл. Краснов. Вне житейского волненья. Сочинения К. К. Случевского. Т. 1—3. — «Книжки Недели», 1898, № 9, стр. 132.

[2] Леконт де Лиль, выступивший с первым сборником своих стихов лишь в 1850-х годах, до конца XIX века был мало известен в России, и трудно сказать, в какой степени и с какого времени Случевский мог знать его.

ский или мифологический мотив нередко приобретает у него сниженный оттенок, между тем как у французских парнасцев история всегда патетична. Так, в стихотворении Случевского «Коллежские асессоры», помещенном, правда, не среди «Баллад и сказов», а в отделе «На разные случаи и смесь», сопоставлены грузинские древности, Прометей, Ноев ковчег, с одной стороны, и могилы русских коллежских асессоров на кутаисском кладбище — с другой. Грань между героическим прошлым, с его мифами, с его памятниками, и современной поэту жизнью — стерта. Легендарное прошлое с его знаменитыми преданиями и проза современности оказываются в одном ряду:

Одинаковы в доле безвременья,
Равноправны, вступивши в покой:
Прометей, и указ, и Колхида,
И коллежский асессор, и Ной...

5

Около половины поэтического наследия Случевского составляют его поэмы и драматические сцены в стихах. Последние (за исключением «Элоа») большого интереса не представляют. Поэмы же существенно важны для представления о творческом облике поэта. Именно в поэмах особенно резко сказалось стремление писателя к «прозаизации» лирического героя и всей образной системы стиха, общая его тенденция к своеобразному поэтическому реализму (в речи, в деталях обстановки, в показе событий), к широкому включению обыденного жизненного материала со всеми его острыми углами в рамки стихотворного повествования.

Герои поэм Случевского не традиционны; положения, в которые он их ставит, необычны, часто исключительны; многое в них публицистично. Все это, вместе взятое, наряду с нарочитой прозаичностью повествования, выделяет поэмы Случевского среди современных им произведений этого жанра. Некоторые из них напоминают своего рода очерк, даже фельетон в стихах («Тоже нравственность»), иные снабжены подзаголовком «рассказ» («Три женщины», «Поп Елисей») или «неоконченная хроника» («Бывший князь»), как если бы это были произведения повествовательной прозы.

Большинство поэм Случевского написаны на темы из современной русской жизни; поэт изображает разные стороны действительности, показывает людей из различных общественных кругов — от

старинной родовой аристократии до крестьянства. Поэт прекрасно знает и бытовую среду и географическую обстановку, в которой действуют его персонажи, будь то Урал, или Донецкая степь, или деревня средней полосы, или Петербургская сторона в столице. Герои поэм Случевского очерчены всегда точно и конкретно, в них нет — как бы наперекор литературной традиции — ничего романтического или хотя бы внешне исключительного. Это люди обыкновенные, подчас неприметные и даже заурядные. Тем необычнее и исключительнее то, что случается с ними. Вот старый мордвин Андрей в поэме «В снегах»: в его сторожку, затерявшуюся среди безлюдных просторов Урала, приходит в темную морозную ночь смертельно больная старуха богомолка, сбившаяся с пути по дороге в монастырь, куда она шла замаливать грех молодости; по ее настоянию, — когда она умрет, — этот грех за нее пойдет замаливать ее гостеприимный хозяин-мордвин.

Как ни важны поэту обстановка, окружающая его героев, пейзаж степной или городской, как ни остры бывают ситуации, в которые поэт их ставит, — главным для него является другое: нравственный вопрос, который решается не всегда бесповоротно. Старая Прасковья из поэмы «В снегах» не сомневается, что она великая грешница, соблазнившая на преступную любовь родного брата, который не знал, что она ему сестра (оба они незаконные дети помещика); Андрей без колебаний решает идти в монастырь исповедоваться за нее; а собака Лайка — третий персонаж стихотворной повести — с ироническим недоумением комментирует случившееся, не одобряя богобоязненную старуху и поддавшегося ее влиянию хозяина. Поэт раскрывает чувства, мысли, сомнения своих героев и дает понять, что он им сострадает, но не осуждает.

Моральная проблема находит зато четкое и однозначное решение в поэме «Без имени». Это проблема «падшей женщины» и «свободной» любви. Некий князь, не названный по имени потомок древнего и знатного рода, без памяти влюбляется в куртизанку, бывшую крепостную его семьи, — красавицу, женщину недюжинного ума и высокой души. Она тоже любит его, ради него изменяет свою жизнь; он порывает со светским обществом, они счастливы, но она, щадя его честь и помня о своем прошлом, долго отказывается от законного брака и соглашается на него только перед смертью — в чахотке, — незадолго до рождения ребенка. Поэт всецело на стороне необычной четы, смело пренебрегшей «законами света» и выше всего поставившей истинную любовь.

В короткой сатирической поэме «Тоже нравственность» Случевский недвусмысленно выразил свой взгляд на лицемерие «выс-

шего света», в данном случае — английского аристократического общества, которое с негодованием отвернулось от герцогини, вышедшей замуж за итальянского оперного певца и скомпрометировавшей себя этим мезальянсом; те же аристократы прощали ей многолетнюю связь с ним, пока всё держалось в тайне, хотя все об этом знали. Трагедии, впрочем, не случилось: новобрачные переехали жить из Лондона в Париж, огражденные фантастическим богатством герцогини от каких-либо серьезных неприятностей. Автор не проявляет симпатии к английской аристократке, не делает из нее героини; он только зло высмеивает принятое в «свете» понятие о нравственности.

Морально-этические вопросы Случевский ставит и в других поэмах. Об «Элоа» — «апокрифическом предании» в драматической форме — уже говорилось выше, когда шла речь о связи творчества поэта с кругом идей, тем и образов Достоевского. Содержание «Элоа» — это напряженный спор о высокой философской проблеме добра и зла, о первопричине и сущности зла в мире.

Во многих поэмах, как включенных в настоящее собрание, так и оставшихся за его пределами, поэт обращается к положениям и конфликтам, заставляющим задуматься о характере человеческого чувства, о взаимоотношениях между людьми, о месте человека в жизни.

Поп Елисей, герой одноименной поэмы, мучается «грешной» любовью к бедной деревенской красавице солдатке, от которой он должен таить свою страсть. История кончается трагически: об этой затаенной любви догадываются крестьяне, и во время разразившейся в деревнях эпидемии оспы, которой заболел и Елисей, кучка пьяниц, раззадоренная слухами о неподобающем поведении священника, идет к его дому, чтобы расправиться с ним. Но поп уже при смерти.

В поэме «Ларчик» отставной петербургский чиновник Зубков узнает из сохранившихся писем, что его жена, умершая несколько лет назад, изменяла ему и что от незаконной связи остался мальчик, отданный в воспитательный дом, а металлический номерок, выданный там, был положен в ларчик, который, по завещанию, похоронили вместе с ней. Зубков, на старости совершенно одинокий, не чувствует ни злобы, ни ревности; он загорается желанием найти мальчика, взять его к себе.

Смело становясь на сторону своих героев, какая бы греховная страсть ими ни овладела, какие бы странные, неожиданные или дерзкие решения они ни принимали, порывая с семьей, со своим кругом или с обычаем, — поэт сам не порывает с заветами патриар-

хальной старины и, в особенности, с православной верой. В поэмах Случевского, еще более, чем в его стихотворениях, сказывается влияние Достоевского, но, в отличие от лирики и от «апокрифического предания» «Элоа», здесь господствует не дерзновенная мысль Ивана Карамазова, а христианский идеал всепрощения. Сочувствие поэта людям, так или иначе преступившим нормы общепринятой морали, находит опору лишь в его религиозных убеждениях. Тем самым идейное содержание большинства поэм Случевского представляет картину чрезвычайно противоречивую.

В несомненной зависимости от противоречий идейного характера находится и художественная неровность поэм: отклоняясь от жизненной правды, поэт неизбежно нарушает и правду эстетическую. Так испорчен конец «Попа Елисея»: когда раззадоренные пьяницы вваливаются в дом умирающего священника, готовые избить его, они застают в сенях своих ребят, поющих церковные каноны, которые с ними разучивал в школе Елисей; пьяные отцы тут же рядом со своими детьми опускаются на колени. Намерение поэта внести в печальную повесть ноту примирения привело к фальши, и она особенно остро ощущается на фоне неприкрашенного изображения суровой деревенской действительности того времени, которое Случевский сам же и дал в предыдущих главах. В поэме «В снегах» наряду с живым, реалистически убедительным отражением подлинных черт народного характера выступает и традиционная, в славянофильском духе, идеализация «меньшого брата» с подчеркиванием в его облике прирожденной религиозности.

Неровности и противоречия свойственны и языку этой поэмы. Случевскому, несомненно, удались в ней и картины природы Урала, написанные проникновенно, и многое в разговорах персонажей, и в самом рассказе о них. Но если автор в целом ряде мест воссоздает действительно народный характер речи, то в других случаях чувство меры и стилистического такта ему изменяет, он впадает в слащавость, в ложную народность, которая сказывается и в слишком частом применении уменьшительной формы существительных и собственных имен и в мнимо фольклорных прикрасах.

Поэмы Случевского — любопытная и яркая страница в истории русской поэзии, но вместе с тем очевидна и противоречивость их идейного содержания, и отсутствие художественного равновесия. Не лишенные историко-литературного, а в значительной части и поэтического интереса, они в еще большей степени, чем лирика Случевского, требуют от читателя исторического и строго критического подхода.

6

В поэтическом творчестве Случевского представлены многие жанры. Свои стихотворения при подготовке обоих изданий он располагал по тематическим и жанровым циклам. В сборниках 1880-х и 1890-х годов бросалась, однако, в глаза случайность расположения материала, неопределенность и зыбкость классификации. Для второго издания (1898) Случевский, сохраняя в основном те же названия отделов-циклов, перераспределил весь материал, переместив многие стихотворения из одних отделов в другие. В результате перегруппировки была достигнута гораздо большая систематичность. И только последний отдел лирической части собрания, непосредственно предшествующий драмам и поэмам и озаглавленный «На разные случаи и смесь», выделяется пестротой и неровностью как в художественном, так и в тематическом отношении. Здесь, наряду с сильным стихотворением «После казни в Женеве», можно встретить и лишенные художественной ценности стихи в официально-патриотическом духе по поводу коронаций, восстановления 1-го кадетского корпуса и другие, не включенные в настоящее издание.

Разделению стихов на тематические и жанровые циклы поэт явно придавал принципиальное значение. Отказываясь и в первом и во втором издании от хронологического порядка, Случевский, видимо, хотел представить свою поэзию как нечто хронологически единое, и это ему удалось. Окончательное расположение материала таково, что эволюция незаметна. Стихотворения, фактически относящиеся к различным периодам, но помещенные рядом, не производят впечатления разнобоя. Последнее, конечно, обусловлено тем, что поэтическое творчество Случевского на всем его протяжении отличается большой цельностью художественной манеры. Этому не противоречит и тот факт, что отдельные свои стихотворения поэт значительно перерабатывал, что некоторые из них существуют в двух-трех печатных редакциях.

Примечательно, что стихи Случевского 1860—1870-х годов подчас оказывались ближе к поэзии символизма и даже футуризма (например, раннее стихотворение «Ходит ветер избочась»), чем стихи более поздние, тогда как некоторые стихотворения, печатавшиеся в символистском альманахе «Северные цветы», в журнале «Новый путь», больше напоминают массовую лирику 80—90-х годов, чем произведения других участников этих же изданий. Однако в целом поздняя лирика Случевского в лучшей своей части («Песни из Уголка») показывает несомненное движение вперед — в русле общего течения русской поэзии.

В последние годы жизни Случевский отдал, правда, щедрую дань религиозно-мистическим мотивам, которыми пронизаны циклы «Загробные песни» и «В том мире», печатавшиеся в «Русском вестнике» в 1902—1903 годах. Большая часть вошедших в эти циклы стихотворений представляет собою вялые рассуждения на богословские темы, иллюстрируемые рассказами о встречах в потустороннем мире (от лица умершего героя этих циклов) и о впечатлениях «загробной жизни». Только несколько стихотворений, открывающих первый цикл (мысли и переживания умирающего — своего рода «прощание души с телом»), говорят о еще не утраченной силе поэтического голоса, о зоркости художественного взгляда.[1] Герой этих мрачных, но впечатляющих своей глубокой искренностью и темпераментом монологов — еще живой человек, в котором не угасли земные страсти, не тот бесплотный дух, который потом в десятках стихотворений будет скучно и многословно морализировать о преимуществах «посмертного бытия», припоминая поучительные случаи из собственного прошлого. Образы, которые проходили перед взором героя, пока он еще принадлежал земному миру, — ярки и смелы. Некоторыми чертами — в частности контрастом грандиозных фантастических картин, являвшихся ему в бреду, и «комнатных» деталей — они предвосхищают аналогичные мотивы зрелой лирики Блока, подобно тому как стихотворение «Богиня тоски» находит себе отзвук в стихотворении Иннокентия Анненского «Моя тоска».

Однако в тех немногих случаях, когда Случевский пытался овладеть стилистической манерой своих младших современников и, видимо, намеренно им подражал, — результаты бывали безусловно неудачны. Так, в модернистском журнале «Новый путь» (1903, № 1) он опубликовал стихотворение «Песнь гидальго», сочетающее в себе бальмонтовское любование собой, нарочитый эгоцентризм, театральность позы — черты, отнюдь не свойственные самому Случевскому, — с худшими штампами стихотворной речи 80—90-х годов. Некоторые строки прямо напоминают пародию на декадентские стихи:

Я — художник мгновений,
Я — певец вдохновений,
Плавность лебедя, ласточки крылья!
. . .Мне — и жены и девы. . .
Не по мне перепевы. . .
Я один в целом божьем созданьи!
Разум мне не по нраву. . .

[1] См. «Русский вестник», 1902, № 10, стр. 490—495.

Хотя эти строки и свидетельствуют о непрекращавшихся поисках новых путей, но говорят они также и о неуверенности этих поисков, представлявших, в сущности, отклонения от подлинного пути поэта и не давших художественных результатов.

Оригинальность поэзии Случевского именно в ее лучших достижениях обеспечила ей видное место в русской литературе на рубеже двух веков и обусловила ее успех у представителей новых поэтических течений. Что же касается литературно-бытового окружения Случевского на склоне его лет, то оно отличалось большой пестротой. На его «пятницы» (литературные вечера, которые Случевский устраивал у себя, следуя обычаю, заведенному Полонским) собирались гости, принадлежавшие к разным писательским поколениям, сторонники весьма различных литературных взглядов. Из символистов здесь бывали Брюсов, Сологуб, Бальмонт.

Случевский с интересом относился к русскому модернизму. Так, для юбилейного пушкинского сборника «Денница» он взял у Брюсова стихотворение «Демоны пыли», но вынужден был вернуть его автору (как будто бы слишком смелое по ритму), видимо, под давлением соредакторов по сборнику (П. Гнедича и И. Ясинского).

Интерес же символистов (в частности Брюсова) к Случевскому определялся смысловыми принципами его поэзии — смелостью и многоплановостью образов, умением в частном показывать общее и соединять далекие стилистические пласты искусством намеков и внезапных смысловых переходов. Стихотворная техника Случевского, его версификация едва ли могла дать русским модернистам что-либо, так как его своеобразие в этой области, противоположное их формальным поискам, было мало заметно для них и могло показаться неумелостью; Случевский не заботился о той подчеркнутой изысканности звуковой стороны стиха, к какой стремились они, и не был в этом отношении новатором. У него была бедная рифма; размеры, которыми он пользовался, почти не выходили за пределы традиционной силлабо-тонической метрики; строфические формы были просты, не отличаясь ни богатством, ни разнообразием. Символисты шлифовали и оттачивали стих, возвышая стиль и тон своей речи, а Случевский создавал впечатление «небрежности» — и не только подбором слов и оборотов: неслучайны у него шестистопные ямбы без цезуры, вклинивающиеся в цезурованные строки в ранних редакциях его стихотворений и несомненно затрудняющие, утяжеляющие стих, но в то же время приближающие его к разговорной речи. Иногда — намеренно ли, нечаянно ли — он оставляет в стихе сочетание слов одного корня, имеющее характер тавтологии, как например:

Бродил вдоль щелей и провалов
По *льдам* швейцарских *ледников.*

(«Я видел Рим, Париж и Лондон...»)

Или:

Приближаться б им скорее
Ближе к дому, *ближе* к дому...

(«О царевиче Алексее»)

При переиздании он эти шероховатости не устранял, хотя в других отношениях сильно перерабатывал свои стихи.

От некоторых характерных особенностей своей ранней поэтики, в частности от нарочитой «бесформенности» стиха, связанной с отсутствием цезуры в шестистопном ямбе, от «грубых» эпитетов, резких прозаизмов, Случевский в издании 1898 года отказался. При этом он не только сглаживал шероховатости и острые углы, снимая некоторые черты своеобразия, но и сокращал длинноты, придавал стиху большую энергию; образы кричаще броские заменял более спокойными и сдержанными. На смену одному своеобразию приходило другое. Многие тексты в книжках «Стихотворений» 1880—1890-х годов и ранние журнальные редакции, с одной стороны, и стихи в издании 1898 года, с другой, представляют как бы две разные поэтические манеры, с историко-литературной точки зрения равноправные. Вот почему останавливаясь в настоящем собрании на последних прижизненных публикациях, выражающих творческую волю автора, мы в приложении приводим ранние редакции стихотворений в тех случаях, когда они коренным образом отличаются от позднейших вариантов.

Кроме количественно значительных различий, которые позволяют говорить о первоначальной и последующих редакциях стихотворения, ранние тексты Случевского содержат также отдельные, иногда количественно малые отличия от позднейших вариантов, но и эти отличия бывают очень важны. Так, в 4-й сцене «Элоа» на реплику умершего священника, кончающуюся словом: «Сгинь!», — Сатана в редакции 1883 года отвечал: «Намазанный елеем! Ты-то, именно, ты — мой» (вместо: «Помазанный елеем», как в окончательном тексте). Разница только в приставке, а в результате — полное различие стилистической окраски: вместо традиционно церковного, возвышенного выражения «помазанный елеем» — грубо конкретный образ, отчетливо выражающий презрение говорящего, его отвращение к собеседнику.

Очень часто эти два-три слова, которыми первоначальная редакция стихотворения отличается от окончательной, сообщают тексту более бытовой, разговорный, иногда просторечный характер. В стихотворении «Камаринская» 8-я строка читалась раньше: «Право слово, лучше смерть как ни на есть». (Впоследствии «право слово» было изменено на более нейтральное «Знаем, видим».) В стихотворении «Нас двое» 3-я строка была: «Первый — это я, как в метрике стоит». Позднейший вариант: «Первый — это я, каким я стал на вид».

Или первоначальные варианты отдельных строк стихотворения «Коллежские асессоры»: 10-я строка — «С куполов облысевших и плит», вместо позднейшего — «С куполов и замшившихся плит»; 20-я строка — «Тем же общим классическим сном», вместо «Нерушимым во времени сном»; 27—28-я строки — «Отлагая в ущельях Кавказа На образчик слои да слои», вместо «Отлагало их в недрах Кавказа, Отлагало слои на слои». Последнее стихотворение «Песен из Уголка» в журнальной редакции начиналось строкой: «Это будто бы писал совсем не я», — вместо окончательного варианта: «Что здесь писано, писал совсем не я».

В первоначальной редакции стихотворение «В костюме светлом Коломбины» заканчивалось стихом:

Теперь он в первый раз не врет.

В окончательном варианте последнее слово смягчено, заменено другим, не имеющим грубовато-фамильярного оттенка — «не лжет».

Заменяя отдельное резко оценочное слово более нейтральным, поэт вместе с тем иногда упраздняет и слово иностранное, как приобретающее, очевидно, более бытовой, не поэтический колорит: в стихотворении «Во всей красе на утре лет» — стихи 10—11:

Под этикеткой новизны
Ты мчишься глупым комом света...

были переделаны так:

Смущая блеском новизны,
Ты мчишься мертвым комом света...

В стихотворении «О царевиче Алексее» стихи 26—27:

К экс-царице Евдокии
Ходят в келью ночью тайно...

поэт переправил:

В ночь к царице Евдокии
Ходят в келью скрытно, тайно...

Иностранная приставка «экс» была устранена, очевидно, потому, что контрастировала с общим стилем сказового повествования, выдержанного в более или менее традиционных тонах.

В стихотворении «Молодежи» конец 3-й строфы был изменен таким образом, что исчез контраст между типичным поэтизмом «лобзанья» и по-современному непринужденными определениями к нему, а заодно и слишком конкретный образ, следующий за ним:

На всевозможные лобзанья
Свои бескостные тела.

В окончательном тексте читаем:

На ваши ранние лобзанья
Свои покорные тела.

В некоторых случаях переработка идет в двух направлениях: одно место смягчается, другое же, напротив, заостряется, конкретизируется. Так, в средних (5—9) строках стихотворения «Сколько хороших мечтаний...» было:

Каждый ведет свою драму
Целою жизнью своей!
Ставятся в общую раму
Повести дней и ночей...
Я дотащился! Я — дома!

После изменения стихотворение приобрело следующий вид:

В жизни комедии, драмы,
Оперы, фарс и балет
Ставятся в общую раму
Повести множества лет.
Я доигрался! Я — дома!

О подобных заменах трудно сказать, улучшают ли они в целом текст или же лишают его каких-то ярко специфических черт.

Думается, что речь здесь должна идти именно о разных манерах, из которых вторая, позднейшая, в общем более соответствовала тенденциям стиля, господствовавшим в «высокой» поэзии конца XIX — начала XX века.

В «Дневниках» Валерия Брюсова есть ряд любопытных мест, отражающих отношение поэтов-модернистов и его собственное к Случевскому. Так, по поводу стихотворения Метерлинка, которое Брюсов в своем переводе прочитал на одной из «пятниц», хозяин дома, как передает Брюсов, сказал: «Я бы сделал из этого великолепное стихотворение». Автор «Дневников» добавляет: «И он прав. Он бы сделал. Ибо он „многое может"». А несколькими строками ниже — следующая запись: «У Бальмонта есть собрание стихотворений Случевского, там есть вещи удивительные и дерзновенные — напр., «Элоа». На другой день на его вечере Бальмонт, выпив больше трех рюмок, подсел к нему и стал его восхвалять: «У вас есть великие вещи, вы сами не подозреваете, что вы создали. Вот мы читали «Элоа», и Брюсов сказал: «Да! Это не Лермонтов!» Случевский покраснел, заволновался, потерялся, не зная, что говорить. Я уже должен был вмешаться и объяснять, что действительно всё это так замечательно. «Просто демон нынешних дней умнее», — сказал Случевский, и он прав» (запись от 17—22 марта 1899 года).[1]

Творчество Случевского, несомненно новаторское по отношению к традициям лирики конца XIX века, во многом предвосхищало общие принципы и направление движения русской поэзии на рубеже столетий. Для поэтов-модернистов оно играло роль авторитетного примера, на который они могли опереться. Критик А. А. Измайлов в некрологе поэта сказал, что «первенцем русского декадентства был Случевский, как Фет — его прообразом и о нем пророчеством»,[2] — утверждение объективно справедливое.

Впрочем, личные литературные связи Случевского не ограничивались кругом модернистов и близких к ним по вкусам и взглядам поэтов или же консервативной средой мнимых ревнителей классической традиции русской лирики, приверженцев «искусства для искусства». К концу жизни Случевский пользовался широкой известностью в разнообразных литературных кругах, что привлекало к нему пишущих; страстно любя поэзию, он с подлинным интересом и участием относился к поэтическим дарованиям, в какой бы среде они ни возникали. Вот пример, имеющий, правда, частный характер и не позволяющий делать более ответственные обобщения, но, во

---

[1] В. Брюсов. Дневники 1891—1910. М., 1927, стр. 64.
[2] «Биржевые ведомости», 1904, № 493.

всяком случае, подтверждающий многогранность человеческого и писательского облика Случевского. Писатель из крестьян И. М. Касаткин, старый (с 1902 года) коммунист, сообщил в своей автобиографии, как он в 1900 году дебютировал стихами, и отметил: «По части стихотворчества некоторое время наставлял меня К. К. Случевский».[1] А как произошла встреча крестьянского паренька и маститого поэта-сановника, об этом рассказывает стихотворение М. А. Зенкевича «Прием поэта», написанное на основе устного рассказа И. М. Касаткина.[2]

Юноша крестьянин решился показать свои стихи поэту, о котором ему только приходилось слышать, и вот в подъезде петербургского дома он встречается с ним, когда тот собирается куда-то уезжать. Швейцар останавливает юношу, а Случевский, услышав, что тот принес стихи, возвращается в дом, проходит с гостем в кабинет и, «как ровня», слушает его чтение. Ради этого он отложил все дела, по которым собирался ехать:

Там в министерстве ждут его... Неважно!
Не он бывает там — его двойник,
Чиновный, черствый формалист бумажный,
Поэт же — здесь среди стихов и книг.
Всё в сторону — «Правительственный вестник»,
Комиссии, Ученый комитет,
Когда зеленые приносит песни
Поэту старому юнец поэт!

Реальный эпизод, запечатленный в стихотворении М. Зенкевича, рисует Случевского живым человеком, страстно влюбленным в свое искусство, которое для него всего важнее.

К последним годам жизни поэта относится его стихотворение «Быть ли песне?», дающее основание думать, что свою новаторскую роль в русской поэзии он сам навряд ли сознавал.

Конечно, пушкинской весною
Вторично внукам, нам, не жить, —

---

[1] Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков под ред. Вл. Лидина. М., 1926, стр. 137.

[2] Стихотворение М. А. Зенкевича еще не опубликовано. Пользуюсь случаем высказать благодарность поэту, предоставившему мне текст стихотворения; незадолго перед тем он читал его на своем творческом вечере в Москве.

говорит он. Но тут же, представляя себе испытания, которые ждут русскую поэзию, — некие иносказательные, но в его понимании, по-видимому, не революционные «бури», — он предрекает:

Их завыванья, их мученья
Взломают вглубь красивый стих...

А ведь сам он не раз делал именно это — ломал «красивый», гладкий и привычный, традиционный стих; ему не раз ставили это в упрек, а Брюсов именно в этом видел его достижение.

Испытания, подстерегающие поэзию, представляются ему неизбежными, он говорит о них спокойно, помня, что будущее принесет и нечто новое, свое:

То будет время наших внуков,
Иной властитель дум придет...
Отселе слышу новых звуков
Еще не явленный полет.

Случевский умер в самом начале русско-японской войны, накануне первой русской революции. В отличие от молодых поэтов, современников его старости, он об историческом будущем — о том, что предстояло стране в ближайшие годы и десятилетия, — не задумывался и, по-видимому, не ждал ни скорого конца монархии в России, ни крушения класса, к которому принадлежал. Творчество его всецело носит печать того исторического периода, с которым целиком совпадает время его деятельности (от падения крепостного права до возникновения революционной ситуации в начале XX века); этот период завершился в год его смерти.

Но поэзия его принадлежит не только прошлому. Роль, которую она сыграла в развитии литературы второй половины XIX века, была, как мы видели, значительной: Случевский смело вводил в лирику и в поэму острые психологические мотивы, расширял тематический и сюжетный диапазон поэзии, не боялся стилистических новшеств — разговорных и прозаических выражений в сочетании с «высокими» словами и трагическими интонациями.

Глубокое своеобразие определило роль поэзии Случевского для новых литературных поколений и их интерес к нему. Так, например, для Брюсова Случевский был важен как поэт, работавший над созданием особой культуры философского стиха, вводивший научный прозаизм в ткань лирической речи. Поэзия Случевского несомненно подготовила почву и для лирики Иннокентия Анненского —

с ее интимной простотой тона, с ее сочетанием прозаического и песенного, с ее мастерством в изображении трагически обыденного.

Но что было особенно важно с точки зрения запросов и требований русской поэзии начала XX века — это противоречивая сложность душевного мира поэта, психологическая и интеллектуальная насыщенность поэтического творчества Случевского во всех его жанрах, глубоко человеческий, а не «жреческий» и не «певческий» тон. Именно этими особенностями, а отнюдь не традиционной «поэтичностью», тем более не религиозно-идеалистическими и реакционно-политическими мотивами определяется для нас историко-литературная роль Случевского.

В своих стихах Случевский часто обращался к теме поэзии, песни, творчества; иной раз жаловался он в своей лирике и на то, что самые близкие ему люди не понимают стихов. В «Песнях из Уголка» есть замечательное стихотворение «Ты не гонись за рифмой своенравной. . .», где поэзия сравнивается с героиней «Слова о полку Игореве» — Ярославной, чей образ благодаря могуществу слова остается живым и сейчас, спустя многие столетия:

Ведь умер князь, и стен не существует;
Да и княгини нет уже давным давно;
А всё как будто, бедная, тоскует,
И от нее не всё, не всё схоронено. . .

Поэзия, поэтическое создание продолжает жить в веках — наперекор нечуткости и враждебности многих, кто в песне, в стихах, в рифмах не находит пользы, но чувствует в них некое непонятное, тревожащее и смущающее начало:

Смерть песне, смерть! Пускай не существует!. .
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!. .
А Ярославна все-таки тоскует
В урочный час на каменной стене. . .

Так кончается стихотворение, иносказательный смысл которого легко применить и к судьбе поэтического наследия Случевского. Давно рухнуло, навсегда ушло в прошлое то, чему он добросовестно и убежденно служил как государственный чиновник, что он отстаивал и нередко идеализировал как публицист; никого не интересуют больше его служебные успехи, его высокие звания и чины. Сгорел в Усть-Нарве дом, где были написаны «Песни из Уголка», и запустел вокруг него сад. . . А лучшие, подлинно художе-

ственные создания Случевского живы и сейчас; во второй половине XX века они еще звучат и волнуют, потому что в них по-прежнему бьется пульс неуспокоенной, мятущейся мысли, в них воплощены поэтически острые и мучительные противоречия жизни и ощущается страстная сила, с которой их переживал поэт. Именно поэтому, и прежде всего поэтому, его голос долетает до нас.

В поэзию наших дней его наследие входит опосредствованно, отраженно, сквозь опыт нескольких литературных поколений. Творчество Случевского как целое предстает перед нами сейчас в глубокой исторической перспективе. И если оно имело значение для современников, а теперь вызывает с нашей стороны не только исторический, но и художественный интерес, то это обусловлено смелой оригинальностью его стихов, своеобразием его поэтического голоса.

Андрей Федоров

СТИХОТВОРЕНИЯ

I

НАС ДВОЕ

Никогда, нигде один я не хожу,
Двое нас живут между людей:
Первый — это я, каким я стал на вид,
А другой — то я мечты моей.

И один из нас вполне законный сын;
Без отца, без матери другой;
Вечный спор у них и ссоры без конца;
Сон придет — во сне всё тот же бой.

Потому-то вот, что двое нас, — нельзя,
Мы не можем хорошо прожить:
Чуть один из нас устроится — другой
Рад в чем может только б досадить!

* * *

Когда бы как-нибудь для нас возможным стало
Вдруг сблизить то, что в жизни возникало
На расстояньях многих-многих лет —
При дикой красоте негаданных сближений
Для многих чувств хотелось бы прощений...
Прощенья нет, но и забвенья нет.

Вот отчего всегда, везде необходимо
Прощать других... Для них проходит мимо

То, что для нас давным-давно прошло,
Что было куплено большим, большим страданьем,
Что стало ложью, бывши упованьем,
Явилось светлым, темным отошло...

* * *

Да, я устал, устал, и сердце стеснено!
О, если б кончить как-нибудь скорее!
Актер, актер... Как глупо, как смешно!
И что ни день, то хуже и смешнее!
И так меня мучительно гнетут
И мыслей чад, и жажда снов прошедших,
И одиночество... Спроси у сумасшедших,
Спроси у них — они меня поймут!

* * *

За то, что вы всегда от колыбели лгали,
А может быть, и не могли не лгать;
За то, что, торопясь, от бедной жизни брали
Скорей и более, чем жизнь могла вам дать;

За то, что с детских лет в вас жажда идеала
Не в меру чувственной и грубою была,
За то, что вас печаль порой не освежала,
Путем раздумия и часу не вела;

Что вы не плакали, что вы не сомневались,
Что святостью труда и бодростью его
На новые труды идти не подвизались, —
Обманутая жизнь не даст вам ничего!

В ЛАБОРАТОРИИ

Из темноты углов ее молчащих
И из приборов, всюду видных в ней,
Из книг ученых, по шкапам стоящих,
Не вызвать в жизнь ни духов, ни теней!

Сквозь ряд машин, вдоль проволок привода
Духовный мир являться не дерзнет,
И светлый сильф в объятьях кислорода
В соединеньи новом пропадет...
О, сколько правды в мертвенности этой!
Но главный вывод безответно скрыт!
Воображение — бред мысли подогретой,
Зачем молчишь ты и душа молчит?
Лги, лги, мечта, под видом убежденья —
Не всё в природе цифры и паи,
Мир чувств не раб законов тяготенья,
И у мечты законы есть свои;
Им власть дана, чтоб им вослед пробились
Иных начал живучие струи,
Чтоб живы стали и зашевелились
Все эти цифры, меры и паи...

ФОРМЫ И ПРОФИЛИ

Как много очерков в природе? Сколько их?
От темных недр земли до края небосклона,
От дней гранитов и осадков меловых
До мысли Дарвина и до его закона!

Как много профилей проходит в облаках,
В живой игре теней и всяких освещений;
Каких нет очерков в моллюсках и цветах,
В обличиях людей, народов, поколений?

А сказки снов людских? А грезы всяких свойств
Болезней и смертей? А бред галлюцината?
Виденья мрачные психических расстройств, —
Всё братья младшие в груди большого брата!

А в творчестве людском? О нет! Не оглянуть
Всех типов созданных и тех, что народятся;
Людское творчество — как в небе Млечный Путь:
В нем новые миры без устали родятся!

Миры особые в одном большом миру!
А всё прошедшее, всё, что ушло в былое...

Да, бесконечности одной не по нутру
Скоплять всё мертвое и сохранять живое.

Ей, бесконечности, одной не совладать
С великой дробностью такого содержанья,
Когда бы в помощь ей бессмертья не придать
И неустанного, тупого ожиданья.

Но что мудренее всего, так это — то,
Что ни в одной из форм нет столько хлебосольства,
Чтоб в ней сказалися свобода, мир, довольство!..
И счастья полного не обретал никто!

В БОЛЬНИЦЕ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ

Еще один усталый ум погас...
Бедняк играет глупыми словами...
Смеется!.. Это он осмеивает нас,
Как в дни былые был осмеян нами.

Слеза мирская в людях велика!
Велик и смех... Безумные плодятся...
О, берегитесь вы, кому так жизнь легка,
Чтобы с безумцем вам не побрататься!

Чтоб тот же мрак не опустился в вас;
Он ближе к нам, чем кажется порою...
Да кто ж, поистине, скажите, кто из нас
За долгий срок не потемнел душою?

LUX AETERNA[1]

Когда свет месяца бесстрастно озаряет
Заснувший ночью мир и всё, что в нем живет,
Порою кажется, что свет тот проникает
К нам, в отошедший мир, как под могильный свод.

И мнится при луне, что мир наш — мир загробный,
Что где-то, до того, когда-то жили мы,

[1] Вечный свет (лат.). — *Ред.*

Что мы — не мы, послед других существ, подобный
Жильцам безвыходной, таинственной тюрьмы.

И мы снуем по ней какими-то тенями,
Чужды грядущему и прошлое забыв,
В дремоте тягостной, охваченные снами,
Не жизнь, но право жить как будто сохранив...

ЗАРЯ ВО ВСЮ НОЧЬ

Да, ночью летнею; когда заря с зарею
Соприкасаются, сойдясь одна с другою,
С особой ясностью на памяти моей
Встает прошедшее давно прожитых дней...
Обычный ход от детства в возмужалость;
Ненужный груз другим и ничего себе;
Жизнь силы и надежд, сведенная на шалость
В самодовольной и тупой борьбе;
Громадность замыслов какой-то новой славы, —
Игра лучей в граненых хрусталях;
Успехов ранних острые отравы,
И смелость бурная, и непонятный страх...

Бой с призраками кончен. Жизнь полна.
В ней было всё: ошибки и паденья,
И чад страстей, и обаянье сна,
И слезы горькие больного вдохновенья,
И жертвы, жертвы... На могилах их
Смириться разве? Но смириться больно,
И жалко мне себя, и жалко сил былых...
Не бросить ли всё, всё, сказав всему: довольно!
И, успокоившись, по торному пути,
Склонивши голову, почтительно пройти?

А там? — А там смотреть с уменьем знатока,
Смотреть художником на верность исполненья,
Как истязаются, как гибнут поколенья,
Как жить им хочется, как бедным смерть тяжка,
И поощрять детей в возможности успеха
Тяжелой хрипотой надтреснутого смеха!..

В КИЕВЕ НОЧЬЮ

Спит пращур городов! А я с горы высокой
Смотрю на очерки блестящих куполов,
Стремящихся к звездам над уровнем домов,
Под сенью темною, лазурной и стоокой.
И Днепр уносится... Его не слышу я, —
За далью не шумит блестящая струя.

О нет! Не месяц здесь живой красе причина!
Когда бы волю дать серебряным лучам
Скользить в безбрежности по темным небесам,
Ты не явилась бы, чудесная картина,
И разбежались бы безмолвные лучи,
Чтоб сгинуть, потонуть в неведомой ночи.

Но там, где им в пути на землю пасть случилось,
Чтобы светить на то, что в тягостной борьбе,
Так или иначе, наперекор судьбе,
Бог ведает зачем, составилось, сложилось, —
Иное тем лучам значение иметь:
В них мысль затеплилась! Ей пламенем гореть!

Суть в созданном людьми, их тяжкими трудами,
В каменьях, не в лучах, играющих на них,
Суть в исчезаньи сил, когда-то столь живых,
Сил, возникающих и гибнущих волнами, —
А кроткий месяц тут, конечно, ни при чем
С его бессмысленным серебряным лучом.

* * *

Да, нет сомненья в том, что жизнь идет вперед,
И то, что сделано, то сделать было нужно.
Шумит, работает, надеется народ;
Их мелочь радует, им помнить недосужно...

А всё же холодно и пусто так кругом,
И жизнь свершается каким-то смутным сном,
И чуется сквозь шум великого движенья
Какой-то мертвый гнет большого запустенья;

Пугает вечный шум безумной толчеи
Успехов гибнущих, ненужных начинаний
Людей, ошибшихся в избрании призваний,
Существ, исчезнувших, как на реке струи...

Но не обманчиво ль то чувство запустенья?
Быть может, устают, как люди, поколенья,
И жизнь молчит тогда в каком-то забытьи.
Она, родильница, встречает боль слезами
И ловит бледными, холодными губами
Живого воздуха ленивые струи,
Чтобы, заслышав крик рожденного созданья,
Вздохнуть и позабыть все, все свои страданья!

* * *

Я задумался и — одинок остался;
Полюбил и — жизнь великой степью стала;
Дружбу я узнал и — пламя степь спалило;
Плакал я и — василиски нарождались.

Стал молиться я — пошли по степи тени;
Стал надеяться и — свет небес погаснул;
Проклял я — застыло сердце в страхе;
Я заснул — но не нашел во сне покоя...

Усомнился я — заря зажглась на небе,
Звучный ключ пробился где-то животворный,
И по степи, неподвижной и алкавшей,
Поросль новая в цветах зазеленела...

БУДУЩИМ МОГИКАНАМ

Да, мы, смирясь, молчим... в конце концов —
бесспорно!..
Юродствующий век проходит над землей;
Он развивает ум старательно, упорно,
И надсмехается над чувством и душой.

Ну, что ж? Положим так, что вовсе не позорно
Молчать сознательно, но заодно с толпой;
В веселье чувственности сытой и шальной
Засмеивать печаль и шествовать покорно!

Толпа — всегда толпа! В толпе себя не видно;
В могилу заодно сойти с ней не обидно;
Но каково-то тем, кому судьба — стареть,

И ждать, как подрастут иные поколенья
И окружат собой их, ждущих отпущенья,
Последних могикан, забывших умереть!

* * *

Где только крик какой раздастся иль стенанье —
Не всё ли то равно: родной или чужой —
Туда влечет меня неясное призванье
Быть утешителем, товарищем, слугой!

Там ищут помощи, там нужно утешенье,
На пиршестве тоски, на ша́баше скорбей,
Там страждет человек, один во всем твореньe,
Крушась сознательно в волнении зыбей!

Он делает круги в струях водоворота,
Бессильный выбраться из бездны роковой,
Без права на столбняк, на глупость идиота,
И без виновности своей или чужой!

Ему дан ум на то, чтоб понимать крушенье,
Чтоб обобщать умом печали всех людей
И чтоб иметь свое, особенное мненье
При виде гибели, чужой или своей!

* * *

Скажите дереву: ты перестань расти,
Не оживай к весне листами молодыми,
Алмазами росы на солнце не блести
И птиц не осеняй с их песнями живыми;

Ты не пускай в земле питательных корней,
Их нежной белизне не спорить с вечной тьмою...
Взгляни на кладбище кругом гниющих пней,
На сушь валежника с умершею листвою.

Всё это, были дни, взрастало, как и ты,
Стремилось в пышный цвет и зрелый плод давало,
Ютило песни птиц, глядело на цветы,
И было счастливо, и счастья ожидало.

Умри! Не стоит жить! Подумай и завянь!
Но дерево растет, призванье совершая;
Зачем же людям, нам, дано нарушить грань
И жизнь свою прервать, цветенья не желая?

* * *

Где только есть земля, в которой нас зароют,
Где в небе облака свои узоры ткут,
В свой час цветет весна, зимою вьюги воют,
И отдых сладостный сменяет тяжкий труд.

Там есть картины, мысль, мечтанье, наслажденье,
И если жизни строй и злобен и суров,
То всё же можно жить, исполнить назначенье;
А где же нет земли, весны и облаков?

Но если к этому прибавить то, что было,
Мечты счастливые и встречи прежних лет,
Как друг за дружкою то шло, то проходило,
Такая-то жила, такой-то не был сед;

Как с однолетками мы время коротали,
Как жизни смысл и цель казалися ясней, —
Вы вновь слагаетесь, разбитые скрижали
Полузабывшихся, но не пропавших дней.

В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

За стеклами шкапов виднеются костюмы;
Пращи и палицы и стрелы дикарей,
Ряд масок с перьями, с хвостами льва и пумы,
С клыками, с ка́мнями в отверстиях очей!

Большие чучела в смешных вооруженьях,
Ежи какие-то от головы до пят,
Рассчитаны на то, чтобы пугать в сраженьях, —
Совсем стесняющий и пресмешной наряд.

Что ж? Разница не то, чтобы совсем большая:
Такое пугало в колючках и ножах —
И страны целые от кра́я и до края,
Одетые в металл, все в пушках и штыках.

Там — человек один; здесь — целые народы,
Себе и всем другим мешающие жить...
Но что же за шкапы им нужно, что за своды,
Чтобы со временем в музеи разместить?

НА СУДОГОВОРЕНЬЕ

Там круглый год, почти всегда,
В угрюмом здании суда,
Когда вершить приходит суд,
Картины грустные встают;
Встают одна вослед другой,
С неудержимой быстротой,
Из мыслей, слов и дел людских,
В чертах, до ужаса живых...

И не один уж ряд имен
В синодик скорбный занесен,
И не с преступников одних
Спадают вдруг личины их:
Простой свидетель иногда
Важней судимых и суда;



Важней обоих их порой
Мы сами — в общем, всей толпой!

Но в грудах всяких, всяких дел:
Подлогов, взломов, мертвых тел,
Бессильной воли, злых умов,
Уродства чувств и фальши слов
И бесконечных верениц
Холодных душ и нервных лиц, —
Заметна общая черта:
Незрелой мысли пустота!

В КОСТЕЛЕ

Толпа в костеле молча разместилась.
Гудел орган, шла мощная кантата,
Трубили трубы, с канцеля светилось
Седое темя толстого прелата;
Стуча о плиты тяжкой булавою,
Ходил швейцар в галунном красном платье;
Над алтарем, высоко над стеною,
В тени виднелось Рубенса «Распятье»...

Картина ценная лишь по частям видна:
Христос, с черневшей раной прободенья,
Едва виднелся в облаке куренья;
Ясней всего блистали с полотна
Бока коня со всадником усатым,
Ярлык над старцем бородатым
И полногрудая жена....

НА РАУТЕ

Людишки чахлые, — почти любой с изъяном!
Одно им нужно: жить и не тужить!
Тут мальчик-с-пальчик был бы великаном,
Когда б их по уму и силе чувств сравнить.
А между тем всё то, что тешит взоры,
Всё это держится усильями подпор:

Не дом стоит — стоят его подпоры;
Его прошедшее — насмешка и позор!
И может это всё в одно мгновенье сгинуть,
Упорно держится бог ведает на чем!
Не молотом хватить, — на биржу вексель
кинуть —
И он развалится, блестящий старый дом...

В ТЕАТРЕ

Они тень Гáмлета из гроба вызывают,
Маркиза Позы речь на музыку кладут,
Христа Спасителя для сцены сочиняют,
И будет петь Христос так, как и те поют.

Уродов буффонад с хвостатыми телами,
Одетых в бабочек и в овощи земли,
Кривых подагриков с наростами, с горбами
Они на божий свет, состряпав, извлекли.

Больной фантазии больные порожденья,
Одно других пошлей, одно других срамней,
Явились в мир искусств плодами истощенья
Когда-то здравых сил пролгавшихся людей.

Толпа валит смотреть. Причиною понятной
Все эти пошлости нетрудно объяснить:
Толпа в нелепости, как море необъятной,
Нелепость жизни жаждет позабыть.

* * *

Да, трудно избежать для множества людей
Влиянья творчеством отмеченных идей,
Влиянья Рудиных, Раскольниковых, Чацких,
Обломовых! Гнетут!.. Не тот же ль гнет цепей,
Но только умственных, совсем не тяжких,
братских...
Художник выкроил из жизни силуэт;
Он, собственно, ничто, его в природе нет!

Но слабый человек, без долгих размышлений,
Берет готовыми итоги чуждых мнений,
А мнениям своим нет места прорасти, —
Как паутиною все затканы пути
Простых, не ломаных, здоровых заключений,
И над умом его — что день, то гуще тьма
Созданий мощного, не своего ума...

* * *

Словно как лебеди белые
Дремлют и очи сомкнули,
Тихо качаясь над озером, —
Так ее чувства уснули...

Словно как лотосы нежные,
Лики сокрыв восковые,
Спят над глубокой пучиною, —
Грезы ее молодые.

Вы просыпайтеся, лебеди,
Троньте струю голубую!
Вы раскрывайте же, лотосы,
Вашу красу восковую!

В небе заря, утро красное...
Здесь я... и жду пробужденья,
Светом любви озаряемый
В тихой мольбе песнопенья.

ПЕСНЯ ЛУННОГО ЛУЧА

Светлой искоркой в окошко
Месяц к девушке глядит...
«Отвори окно немножко», —
Месяц тихо говорит.

«Дай прилечь вдоль белых складок
Гостю, лунному лучу,
Верь мне, всё придет в порядок,
Чуть над сердцем посвечу!

Успокою все сомненья,
Всю печаль заговорю,
Все мечты, все помышленья,
Даже сны посеребрю!

Что увижу, что замечу,
Я и звездам не шепну,
И вернусь к заре навстречу,
Побледневши, на луну...»

* * *

Будто месяц с шатра голубого,
Ты мне в душу глядишь, как в ручей...
Он струится, журча бестолково
В чистом золоте горних лучей.

Искры блещут, что риза живая...
Как был темен и мрачен родник —
Как зажегся ручей, отражая
Твой живой, твой трепещущий лик!..

* * *

О, если б мне хоть только отраженье,
Хоть слабый свет твоих чудесных снов,
Мне засветило б в сердце вдохновенье,
Взошла заря над теменью годов!

В струях отзвучий ярких песнопений,
В живой любви с тобой объединен,
Как мысль, как дух, как бестелесный гений,
От жизни взят — я перешел бы в сон!

* * *

Погас заката золотистый трепет...
Звезда вечерняя глядит из облаков...
Лесной ручей усилил робкий лепет
И шепот слышится от темных берегов!

Недолго ждать, и станет ночь темнее,
Зажжется длинный ряд всех, всех ее лампад,
И мир заснет... Предстань тогда скорее!
Пусть мы безумные... Пускай лобзанья — яд!

* * *

Ты нежней голубки белокрылой,
Ты — рубин блестящий, огневой!
Бедный дух мой, столько лет унылый,
Краской жизни рдеет пред тобой.

В тихом свете кроткого сиянья,
Давних дней в прозрачной глубине
Возникают снова очертанья
Прежних чувств, роившихся во мне.

Можно ль верить — верить ум не смеет! —
Будто этот наших чувств расцвет —
Будет день — пройдет и побледнеет,
Погрузившись в мертвый холод лет...

* * *

Когда, приветливо и весело ласкаясь,
Глазами, полными небесного огня,
Ты, милая моя, головкой наклоняясь,
Глядишь на дремлющего в забытьи меня;

Струи младенческого, свежего дыханья
Лицо горячее мне нежно холодят,
И сквозь виденья сна и в шепоте молчанья
Сердца в обоих нас так медленно стучат, —

О, заслони, закрой головкою твоею
Весь мир, прошедшее, смысл завтрашнего дня,
Мечту и мысль... О, заслони ты ею
Меня, мой друг, от самого меня...

* * *

Я люблю тебя, люблю неудержимо,
Я стремлюсь к тебе всей, всей моей душой!
Сердцу кажется, что мир проходит мимо,
Нет, не он идет — проходим мы с тобой.

Жизнь, сближая этих, этих разлучая,
Шутит с юностью нередко невпопад!
Если искреннее обниму тебя я —
Может быть, что нас тогда не разлучат...

* * *

Мне ее подарили во сне;
Я проснулся — и нет ее! Взяли!..
Слышу: ходят часы на стене, —
Встал и я, потому что все встали.

И брожу я весь день, как шальной,
И где вижу, что люди смеются, —
Мнится мне: это смех надо мной,
Потому что нельзя мне проснуться!

НЕВЕСТА

В пышном гробе меня разукрасили, —
А уж я ли красой не цвела?
Восковыми свечами обставили, —
Я и так бесконечно светла!

Медью темной глаза придавили мне, —
Чтобы глянуть они не могли;
Чтобы сердце во мне не забилося,
Образочком его нагнели!

Чтоб случайно чего не сказала я,
Краткий срок положили — три дня!
И цветами могилу засыпали,
И цветы придушили меня...

* * *

Я ласкаю тебя, как ласкается бор
Шумной бурею, в темень одетой!
Налетает она, покидая простор,
На устах своих с песней запетой.

Песня бури сильна! Чуть в листву залетит —
Жизнь лесную до недр потрясает,
Рвет умершую ветвь, блеклый лист не щадит,
Всё отжившее наземь кидает...

И ты бурю за песню ее не кори,
Нет в ней злобы, любви к разрушенью:
Очищает прогалины краскам зари
И простор соловьиному пенью...

РАЗЛУКА

Ты понимаешь ли последнее прости?
Мир целый рушится и новый возникает...
Найдутся ль в новом светлые пути?
Весь в неизвестности лежит он и пугает.
Жизнь будет ли сильна настолько, чтоб опять
Дохнуть живым теплом мне в душу ледяную?
Иль, может быть, начав как прежде обожать,
Я обманусь, принявши грезу злую
За правду и начав вновь верить, вновь мечтать

О чудной красоте своих же измышлений,
Почту огнем молитвенных стремлений
Ряд пестрых вымыслов, нисколько не святых,
И этим вызову насмешку уст твоих?

* * *

Не погасай хоть ты, — ты, пламя золотое,
Любви негаданной последний огонек!
Ночь жизни так темна, покрыла всё земное,
Всё пусто, всё мертво, и ты горишь не в срок!
Но чем темнее ночь, сильней любви сиянье;
Я на огонь иду, и я идти хочу...
Иду... Мне всё равно: свои ли я желанья,
Чужие ль горести в пути ногой топчу,
Родные ль под ногой могилы попираю,
Назад ли я иду, иду ли я вперед,
Неправ я или прав, — не ведаю, не знаю
И знать я не хочу! Меня судьба ведет...
В движеньи этом жизнь так ясно ощутима.
Что даже мысль о том, что и любовь — мечта,
Как тысячи других, мелькает мимо, мимо,
И легче кажутся и мрак, и пустота...

* * *

Весла спустив, мы катились, мечтая,
Сонной рекою по воле челна;
Наши подвижные тени, качая,
Спать собираясь, дробила волна.

Тени росли, удлиняясь к востоку,
Вышли на берег, на пашни, на лес —
И затерялись, незримые оку,
Где-то, должно быть, за краем небес...

Тени! Спасибо за то, что пропали!
Много бы вас разглядело людей;
Слишком бы много они увидали
В трепетных очерках этих теней...

* * *

Возьмите всё — не пожалею!
Но одного не дам я взять —
Того, как счастлив был я с нею,
Начав любить, начав страдать!

Любви роскошные страницы —
Их дважды в жизни не прочесть,
Как стае странствующей птицы
На то же взморье не присесть.

Другие волны, нарождаясь,
Дадут отлив других теней,
И будет солнце, опускаясь,
На целый длинный год старей.

А птицам в сроки перелетов
Придется убыль понести,
Убавить путников со счетов
И растерять их по пути...

В БУРЮ

Я приехал к тебе по Леману;
И сердит, и взволнован Леман!
И оделись Савойские Альпы
В темно-серый, свинцовый туман.

В небесах разыгралася буря,
Из ущелий гудят голоса;
Опалил мне лицо мое ветер,
Растрепал он мои волоса...

И гуляли могучие волны,
Я над ними веселый скользил,
И с вершин их по пенистым скатам
Глубоко, глубоко уходил.

Буря шла и в тревожном величьи
Раздавить собиралась меня;

Только смерть от меня сторонилась —
Был я весел и полон огня.

И я верил, что мне не погибнуть,
Что я кончу назначенный путь,
Что я должен предстать пред тобою,
И нельзя мне, нельзя утонуть!

ИЗ ЧУЖОГО ПИСЬМА

Я пишу тебе, мой добрый, славный, милый,
Мой хороший, ненаглядный мой!
Скоро ль глянет час свиданья легкокрылый,
Возвратятся счастье и покой!

Иногда, когда кругом меня всё ясно,
Светлый вечер безмятежно тих,
Как бы я тебя к себе прижала страстно,
Ты, любимец светлых снов моих!

Мне хотелось бы, чтоб всё, что сознаю я,
Став звездой, с вечернею зарей
Понеслось к тебе, зажгло для поцелуя,
Так, как я зажглась теперь тобой!

Напиши ты мне, бывает ли с тобою,
Как со мной, не знаю отчего,
Я стремлюсь к тебе всей, всей моей душою,
Обнимаю я тебя всего...

Напиши скорее: я тебе нужна ли
Так, как ты мне? Но смотри не лги!
Рвешь ли письма, чтоб другие не читали?
Рви их мельче и скорее жги.

И теперь... Но нет, мой зов совсем напрасен;
Сердце бьется, а в глазах темно...
Вижу, почерк мой становится неясен...
Завтра утром допишу письмо...

ПРИДИ!

Дети спят. Замолкнул город шумный,
И лежит кругом по саду мгла!
О, теперь я счастлив, как безумный,
Тело бодро и душа светла.

Торопись, голубка! Ты теряешь
Час за часом! Звезд не сосчитать!
Демон сам с Тамарою, ты знаешь,
В ночь такую думал добрым стать...

Спит залив, каким-то духом скован,
Ветра нет, в траве роса лежит;
Полный месяц, словно очарован,
Высоко и радостно дрожит.

В хрустале полуночного света
Сводом темным дремлет сад густой;
Мысль легка, и сердце ждет ответа!
Ты молчишь? Скажи мне, что с тобой?

Мы прочтем с тобой о Паризине,
Песней Гейне очаруем слух...
Верь, клянусь, я твой навек отныне;
Клятву дал я, и не дать мне двух.

Не бледней! Послушай, ты теряешь
Час за часом! Звезд не сосчитать!
Демон сам с Тамарою, ты знаешь,
В ночь такую думал добрым стать...

* * *

В костюме светлом Коломбины
Лежала мертвая она,
Прикрыта вскользь, до половины,
Тяжелой завесью окна.
И маска на сторону сбилась;

Полуоткрыт поблекший рот...
Чего тем ртом не говорилось?
Теперь он в первый раз не лжет!

* * *

Во всей красе, на утре лет
Толпе ты кажешься виденьем!
Молчанье первым впечатленьем
Всегда идет тебе вослед!

Тебе дано в молчаньи этом
И в удивлении людей
Ходить, как блещущим кометам
В недвижных сферах из лучей.

И, как и всякая комета,
Смущая блеском новизны,
Ты мчишься мертвым комом света
Путем, лишенным прямизны!

* * *

В красоте своей долго старея,
Ты чаруешь людей до сих пор!
Хороши твои плечи и шея,
Увлекателен, быстр разговор.

Бездна вкуса в богатой одежде;
В обращеньи изящно-вольна!
Чем же быть ты должна была прежде,
Если ты и теперь так пышна?

В силу хроник, давно уж открытых,
Ты ходячий живой мавзолей
Ряда целого слуг именитых,
Разорившихся в службе твоей!

И гляжу на тебя с уваженьем:
Ты финансовой силой была,
Капиталы снабдила движеньем
И, как воск, на огне извела!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСЕНКА

Ты засни, засни, моя милая,
Дай подушечку покачаю я,
Я головушку поддержу твою
И тебя, дитя, убаюкаю.

Тихий детский сон, ты прийди, сойди,
Наклонися к ней, не давя груди,
Не целуй до слез, не пугай дитя, —
Учи ласкою, вразумляй шутя.

Жизнь учить начнет, против воли гнет,
Вразумит тогда, как всего сомнет,
Зацелует в смерть, заласкает в бред
И, позвав цвести, не допустит в цвет...

Ночь темна, молчит, смотрит букою?!
Хорошо ли так я баюкаю?
Сон спасительный, сон, голубчик мой,
Поскорей отца от дитяти скрой!..

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

О, неужели он, он — этот скарб и хлам
Надежд, по счастью для людей, отживших,
Больных страстей, так страшно говоривших,
Сил, устремлявшихся к позорнейшим делам, —
Вот этот человек, — таким же был когда-то,
Как этот сын его, прелестное дитя,
В котором, грезами неведенья объято,
Сознанье теплится, играя и блестя!

В котором поступь, взгляд, малейшие движенья
Полны такой простой, изящной красоты!
В уме которого все мысли, все мечты —
Одни лишь светлые, счастливые виденья,
А чувства — отпрыски тепла и тишины
Какой-то внутренней, чудеснейшей весны! —
Дитя, что молится так искренно, так свято
И говорит с людьми от третьего лица...
О, чтоб отец таким же был когда-то!
Ищите вы ему не этого отца...

* * *

Дай мне минувших годов увлечения,
Дай мне надежд зоревые огни,
Дай моей юности светлого гения,
Дай мне былые мятежные дни.

Дай мне опять ошибаться дорогами,
Видеть их страхи вдали пред собой,
Дай мне надежд невозможных чертогами
Скрашивать жизни обыденный строй;

Дай мне восторгов любви с их обманами,
Дай мне безумья желаний живых,
Дай мне погаснувших снов с их туманами,
Дум животворных и грез золотых;

Дай — и возьми всю уверенность знания;
Всю эту ношу убитых страстей,
Эту обдуманность слов и деяния
В мерном теченьи и в знаньи людей.

Всё ты возьми, в чем не знаю сомнения,
В правде моей — разуверь, обмани, —
Дай мне минувших годов увлечения,
Дай мне былые мятежные дни!..

* * *

О, не брани за то, что я бесцельно жил,
Ошибки юности не все за мною числи,
За то, что сердцем я мешать уму любил,
А сердцу жить мешал суровой правдой мысли.

За то, что сам я, сам нередко разрушал
Те очаги любви, что в холод согревали,
Что сфинксов правды я, безумец, вопрошал,
Считал ответами, когда они молчали.

За то, что я блуждал по храмам всех богов
И сам осмеивал былые поклоненья,
Что, думав облегчить тяжелый гнет оков,
Я часто новые приковывал к ним звенья.

О, не брани за то, что поздно сознаю
Всю правду лживости былых очарований
И что на склоне дней спокойный я стою
На тихом кладбище надежд и начинаний.

И всё-таки я прав, тысячекратно прав!
Природа — за меня, она — мое прощенье;
Я лгал, как лжет она, и жизнь и смерть признав,
Бессильна примирить любовь и озлобленье.

Да, я глубоко прав, — так, как права волна,
И камень и себя о камень разрушая:
Все — подневольные, все — в грезах полусна,
Судеб неведомых веленья совершая.

НА ЧУЖБИНЕ

Ночь, блеска полная... Заснувшие пруды
В листах кувшинчиков и в зелени осоки
Лежат, как зеркала́, безмолвствуя цветут
И пахнут сыростью, и кажутся глубоки.

И тот же ярких звезд рисунок в небесах,
Что мне на родине являлся в дни былые;
Уснули табуны на скошенных лугах,
И блещут здесь и там огни сторожевые.

Ударил где-то час. Полночный этот бой,
Протяжный, медленный, — он, как двойник, походит
На тот знакомый мне приветный бой часов,
Что с церкви и теперь в деревню нашу сходит.

Привет вам, милые картины прежних лет!
Добро пожаловать! Вас жизнь не изменила;
Вы те же и теперь, что и на утре дней,
Когда мне родина вас в душу заронила

И будто думала: когда-нибудь в свой срок
Тебя, мой сын, судьба надолго в даль потянет,
Тогда они тебя любовно посетят,
И рад ты будешь им, как скорбный час настанет.

Да, родина моя! Ты мне не солгала!
О, отчего всегда так в жизни правды много,
Когда сама судьба является вершить,
А воля личная — становится убога!

Привет вам, милые картины прежних лет!
Как много, много в вас великого значенья!
Во всем — печаль, разлад, насилье и тоска,
И только в вас одних — покой и единенье...

Покоя ищет мысль, покоя жаждет грудь,
Вселенная сама найти покой готова!
Но где же есть покой? Там, где закончен путь:
В законченном былом и в памяти былого.

БАНДУРИСТ

На Украйне жил когда-то,
Телом бодр и сердцем чист,
Жил старик, слепец маститый,
Седовласый бандурист.

В черной шапке, в серой свитке
И с бандурой на ремне,
Много лет ходил он в людях
По родимой стороне.

Жемчуг-слово, чудо-песни
Сыпал вещий с языка.
Ныли струны на бандуре
Под рукою старика.

Много он улыбок ясных,
Много вызвать слез умел,
И, что птица божья, песни,
Где приселось, — там и пел.

Он за песню душу отдал,
Песней тело прокормил;
Родился он безымянным,
Безымянным опочил...

Мертв казак! Но песни живы;
Все их знают, все поют!
Их знакомые созвучья
Сами так вот к сердцу льнут!

К темной ночке, засыпая,
Дети, будущий народ,
Слышат, как он издалека,
В песне матери поет...

РАЗБИТАЯ ШКУНА

Так далеко от колыбели
И от родимых берегов
Лежит она, как на постели,
В скала́х, пугая рыбаков.

Чужие вихри обвевают,
Чужие волны песнь поют,
В морскую зелень одевают
И в грудь надломленную льют.

И на корме ее размытой,
Как глаз открытый, неживой,
Глядит с доски полуразбитой
Каких-то букв неполный строй...

Да, если ты, людей творенье,
Подобно людям прожила, —
Тебя на жертву, на крушенье,
На злую смерть любовь вела.

Твой кормчий сам, своей рукою
Тебя на гибель вел вперед:
Один, безмолвный, над кормою
Всю ночь сидел он напролет...

Забыв о румбах и компа́се,
Руля не слыша под рукой,
Он о далеком думал часе,
Когда судьба вернет домой!

Вперив глаза на звезды ночи,
За шумом дум не слыша струй,
Он на любовь держал, на очи,
На милый лик, на поцелуй...

* * *

Наш ум порой, что поле после боя,
Когда раздастся ясный звук отбоя:
Уходят сомкнутые убылью ряды,
Повсюду видятся кровавые следы,
В траве помятой лезвия мелькают,
Здесь груды мертвых, эти умирают,
Идет, прислушиваясь к звукам, санитар,
Дает священник людям отпущенья —
Слоится дым последнего кажденья...
А птичка божия, являя ценный дар,
Чудесный дар живого песнопенья,
Присев на острый штык, омоченный в крови,
Поет, счастливая, о мире и любви...

* * *

В немолчном говоре природы,
Среди лугов, полей, лесов
Есть звуки рабства и свободы
В великом хоре голосов...

Коронки всех иван-да-марий,
Верóник, кашек и гвоздик
Идут в стога, в большой гербарий,
Утратив каждая свой лик!

Нередко видны на покосах,
Вблизи усталых косарей —
Сидят на граблях и на косах
Певцы воздушные полей.

Поют о чудных грезах мая,
О счастье, о любви живой,
Поют, совсем не замечая
Орудий смерти под собой!

* * *

Вдоль бесконечного луга —
Два-три роскошных цветка;
Выросли выше всех братьев,
Смотрят на луг свысока.

Солнце палит их сильнее,
Ветер упорнее гнет,
Падать придется им глубже,
Если коса подсечет...

В сердце людском чувств немало...
Два или три между них
Издавна крепко внедрились,
Стали ветвистей других!

Легче всего их обидеть,
Их не задеть — мудрено!
Если их вздумают вырвать —
Вырвут и жизнь заодно...

КАРИАТИДЫ

Между окон высокого дома,
С выраженьем тоски и обиды,
Стерегут парчевы́е хоромы
Ожерельем кругом карьятиды.
Напряглись их могучие руки,
К ним на плечи оперлись колонны;
В лицах их — выражение муки,
В грудях их — поглощенные стоны.
Но не гнутся те крепкие груди,
Карьятиды позор свой выносят;
И — людьми сотворенные люди —
Никого ни о чем не попросят...
Идут годы — тяжелые годы,
Та же тяжесть им давит на плечи;
Но не шлют они дерзкие речи
И не вторят речам непогоды.
Пропечет ли жар солнца их кости,
Проберет ли их осень ветрами,
Иль мороз назовется к ним в гости
И посыплет их плечи снегами, —
Одинаково твердо и смело
Карьятиды позор свой выносят
И — вступиться за правое дело
Никого никогда не попросят...

20 октября 1856

НА МОТИВ МИКЕЛАНДЖЕЛО

О ночь! Закрой меня, когда — совсем усталый —
Кончаю я свой день. Кругом совсем темно;
И этой темнотой как будто сняты стены:
Тюрьма и мир сливаются в одно.

И я могу уйти! Но не хочу свободы:
Я знаю цену ей, я счастья не хочу!
Боюсь пугать себя знакомым звуком цепи, —
Припав к углу, я, как и цепь, молчу...

Возьми меня, о ночь! Чтоб ничего ни видеть,
Ни чувствовать, ни знать, ни слышать я не мог,
Чтоб зарожденья чувств и проблеска сознанья
Я как-нибудь в себе не подстерег...

МИФ

И летит, и клубится холодный туман,
Проскользая меж сосен и скал;
И встревоженный лес, как великий орган,
На скрипящих корнях заиграл...

Отвечает гора голосам облаков,
Каждый камень становится жив...
Неподвижен один только — старец веков —
В той горе схоронившийся Миф.

Он в кольчуге сидит, волосами оброс,
Он от солнца в ту гору бежал —
И желает, и ждет, чтобы прежний хаóс
На земле, как бывало, настал...

НА ПЛОТИНЕ

Как сочится вода сквозь прогнивший постав,
У плотины бока размывает,
Так из сердца людей, тишины не сыскав,
Убывает душа, убывает...

Надвигается вкруг от сырых берегов
Поросль вязкая моха и тины!
Не певать соловьям, где тут ждать соловьев
На туманах плывучей трясины!

Бор погнил... Он не будет себя отражать,
Жить вдвойне... А зима наступает!
И промерзнет вода, не успев убежать,
Вся, насквозь... и уже замерзает!..

* * *

Мне грезились сны золотые!
Проснулся — и жизнь увидал....
И мрачным мне мир показался,
Как будто он траурным стал.

Мне виделся сон нехороший!
Проснулся... на мир поглядел:
Задумчив и в траур окутан,
Мир больше, чем прежде, темнел.

И думалось мне: отчего бы —
В нас, в людях, рассудок силен —
На сны не взглянуть, как на правду,
На жизнь не взглянуть, как на сон!

КАРФАГЕН

Не в праздничные дни в честь славного былого,
Не в честь творца небес или кого другого
Сияет роскошью, вконец разубрана́,
В великом торжестве прибрежная страна.
От раннего утра, проснувшись с петухами,
Весь город на ногах. Он всеми алтарями,
Зажженными с зарей, клубится и дымит,
И в переливах струн, и в трелях флейт звучит.
От храмов, с их колонн, обвешанных цветами,
Струится свежестью; над всеми площадями,
В венках, блистающих лавровою листвой,
Ряд бронзовых фигур темнеет над толпой.
По главному пути, где высятся гробницы,
Одни вослед другим грохочут колесницы;
С них шкуры львиные блистают желтизной
И поднимают пыль, влачась по мостовой.

Цвет жизни, молодость собою воплощая,
Проходят девушки, листами пальм махая;
Все в пурпуре, ряды старейшин вдоль трибун
Сидят в дыму огней и в рокотаньи струн;
В безмолвной гавани товаров не таскают;
Нет свадьб по городу; суды не заседают;
Не жгут покойников... Все, все молчат дела,
Вся жизнь на торжество великое пошла...

Честь победителю! Исполнено призванье!
Ему весь этот блеск и жизни замиранье,
И пламя алтарей, и мягкий звук струны,
Терпенье мертвого, венчанье старины
И ликования всех бедных и богатых...
Ему триумфы дня, ему разврат ночной,
Где яркий пурпур тог, смешавшись с белизной
Одежд девических, разорванных, помятых,
Спадет с широких лож на мягкие ковры...
Ему струи вина, ему азарт игры...

И только два лица в народе том молчали,
Во имя истинной и сознанной печали:
И были эти два — философ и поэт...
Они одни из всех молчали! Сотни лет
Прошли с тех давних пор. И нынче там
в огромных
Развалинах — шакал гнездится в щелях темных,
И правдою веков, великой степи в тон,
Наложен царственно несокрушимый сон...

На сторону тех двух, которые молчали,
Всё перешло молчать! И из безмолвной дали
Степей явилась смерть с песками заодно —
Случилось то, что им казалось — быть должно!

* * *

В душе шел светлый пир. В одеждах золотых
Виднелись на пиру: желанья, грезы, ласки;
Струился разговор, слагался звучный стих,
И пенился бокал, и сочинялись сказки.

Когда спускалась ночь, на пир являлся сон,
Туманились огни, виденья налетали,
И сладкий шепот шел, и несся тихий звон
Из очень светлых стран, и из далекой дали...

Теперь совсем не то. Под складками одежд,
Не двигая ничуть своих погасших ликов,
Виднеются в душе лишь остовы надежд!
Нет песен, смеха нет и нет заздравных кликов.

А дремлющий чертог по всем частям сквозит,
И только кое-где, под тяжким слоем пыли,
Светильник тлеющий дымится и коптит,
Прося, чтоб и его скорее погасили...

МОЛОДЕЖИ

И что ж?! Давно ль мы в жизнь вступали
И безупречны, и честны;
Трудились, ждали, создавали,
А повстречали — только сны.

Мы отошли, — и вслед за нами
Вы тоже рветесь в жизнь вступить,
Чтоб нами брошенными снами
Свой жар и чувства утолить.

И эти сны, в часы мечтанья,
Дадут, пока в вас кровь тепла,
На ваши ранние лобзанья
Свои покорные тела...

Обманут вас! Мы их простили
И верим повести волхвов:
Волхвы давно оповестили,
Что мир составился из снов!

* * *

Шли путем неведомым...
Шли тропинкой скрытою,
Бог весть кем проложенной
И почти забытою!..

В сердце человеческом
Есть обетованные
Тропочки закрытые,
Вовсе безымянные!

Под ветвями темными
Издавна проложены,
Без пути протоптаны,
Без толку размножены...

И по ним-то крадутся,
По глубокой темени,
Чувства непонятные
Бе́з роду, без племени...

Чувства безымянные,
Сироты бездомные,
Робкие, пугливые,
Иногда нескромные...

* * *

По небу быстро поднимаясь,
Навстречу мчась одна к другой,
Две тучи, медленно свиваясь,
Готовы ринуться на бой!

Темны, как участь близкой брани,
Небесных ратников полки,
Подъяты по́ ветру их длани
И режут воздух шишаки!

Сквозят их мрачные забрала
От блеска пламенных очей...
Как будто в небе места мало
И разойтись в нем нет путей?

ПОДЛЕ СЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

Свевая пыль с цветов раскрытых,
Семья полуночных ветро́в
Несет в пылинках, тьмой повитых,
Рассаду будущих цветов!

В работе робкой и безмолвной,
Людскому глазу не видна,
Жизнь сыплет всюду горстью полной
Свои живые семена!

Теряясь в каменных наростах
Гробниц, дряхлеющих в гербах,
Они плодятся на погостах
И у крестов, и на крестах.

Кругом цветы!.. Цветам нет счета!
И, мнится, сквозь движенья их
Стремятся к свету из-под гнета
Былые силы душ людских.

Они идут свои печали
На вешнем солнце осветить,
Мечтать, о чем не домечтали,
Любить, как думали любить...

КАМАРИНСКАЯ

Из домов умалишенных, из больниц
Выходили души опочивших лиц;
Были веселы, покончивши страдать,
Шли, как будто бы готовились плясать.

«Ручку в ручку дай, а плечико к плечу...
Не вернуться ли нам жить?» — «Ой, не хочу!
Из покойничков в живые нам не лезть, —
Знаем, видим — лучше смерть, как ни на есть!»

Ах! Одно же сердце у людей, одно!
Истомилося, измаялось оно;
Столько горя, нýжды, столько лжи кругом,
Что гуляет зло по свету ходенем.

Дай копеечку, кто может, беднякам,
Дай копеечку и нищим духом нам!
Торопитесь! Будет поздно торопить.
Сами станете копеечки просить...

Из домов умалишенных, из больниц
Выходили души опочивших лиц;
Были веселы, покончивши страдать,
Шли, как будто бы готовились плясать...

СПЕТАЯ ПЕСНЯ

Пой о ней, голубушка певунья,
Пойте, струны, ей в ответ звеня!
Улетай, родившаяся песня,
Вслед за светом гаснущего дня!

Ты лети созданьем темной ночи,
В полутьме, предшествующей ей,
За последним проблеском заката,
Впереди стремящихся теней...

Может быть, что между днем и ночью,
Не во сне, но у пределов сна,
По путям молитв, идущих к богу,
Скорбь земли за далью не слышна!

Может быть, что там, далеко, где-то,
В мирный час, когда бессонный спит,
Гаснет память, не влекут желанья,
Спит любовь и ненависть молчит, —

Ты найдешь покой неизъяснимый,
Жизни, смерти и себе чужда!..
И земля к своей поблекшей груди
Не сманит беглянки никогда!..

ПРО СТАРЫЕ ГОДЫ

Не смейся над песнею старой
С напевом ее немудреным,
Служившей заветною чарой
Отцам нашим, нежно влюбленным!

Не смейся стихам мадригалов,
Топорщенью фижм и манжетов,
Вихрам боевых генералов,
Качавшимся в лад менуэтов!

Над смыслом альбомов старинных,
С пучками волос неизвестных,
С собранием шалостей чинных,
Забавных, но, в сущности, честных.

Не смейся! Те вещи служили,
Томили людей, подстрекали:
Отцы наши жили, любили,
И матери нас воспитали!

* * *

Где нам взять веселых звуков,
Как с веселой песней быть?
Грусти дедов с грустью внуков
Нам пока не разобщить...

Не буди ж в груди желанья
И о счастье не мечтай, —
В вечной повести страданья
Новой песни не рождай.

Тех спроси, а их не мало,
Кто покончил сам с собой, —
В жизни места недостало,
Поискали под землей...

Будем верить: день тот глянет,
Ложь великая пройдет,
Горю в мире тесно станет,
И оно себя убьет!

* * *

Ох! Ответил бы на мечту твою,
Да не срок теперь, не пора!
Загубила жизнь добрых сил семью,
И измает ночь до утра.

Дай мне ту мечту, мысль счастливую,
Засветившую мне в пути,
В усыпальницу молчаливую
Сердца бедного отнести.

В нем под схимами, власяницами
Спят все лучшие прежних сил,
Те, что глянули в жизнь зарницами
И что мрак земли погасил...

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

1

Спокоен ум... в груди волненье...
О, если б только не оно —
Нашла бы жизнь успокоенье,
Свершивши то, что быть должно...

Но нет! Строй духа безнадежный,
Еще храня остатки струн,

Дает на голос отклик нежный,
И дико мечется бурун

Живых надежд и ожиданий
В ущелья темных берегов,
Несовершившихся желаний
И неисполнившихся снов...

И мнится: кто-то призывает
Вернуться вновь в число живых,
Тревожит, греет, обещает...
Но голос тот зовет других!

Обманет их... Обнимет степью
И ночью, так же как меня,
Назло, в упрек великолепью
Едва замеченного дня!

2

И вернулся я к ним после долгих годов,
И они все так рады мне были!
И о чем уж, о чем за вечерним столом
Мы не вспомнили? Как не шутили?

Наши шумные споры о том и другом,
Что лет двадцать назад оборвались,
Зазвучали опять на былые лады,
Точно будто совсем не кончались.

И преемственность юных, счастливейших дней,
Та, что прежде влекла, вдохновляла,
Будто витязя труп под живою водой,
В той беседе для нас — оживала...

3

О, где то время, что, бывало,
В нас вдохновение играло
И воскурялся фимиам
Теперь поверженным богам?

Чертогов огненных палаты
Горели — ярки и богаты;
Был чист и светел кругозор!
Душа стремилась на простор,

Неслась могуществом порыва
Назло непрочному уму,
На звук какого-то призыва,
Бог весть зачем, бог весть к чему!

Теперь всё мертвенно, всё бледно...
То праздник жизни проходил,
Сиял торжественно, победно,
Сиял... и цвет свой обронил.

4

В глухом безвременье печали
И в одиночестве немом
Не мы одни свой век кончали,
Объяты странным полусном.

На сердце — желчь, в уме — забота,
Почти во всем вразумлены;
Холодной осени дремота
Сменила веянья весны.

Кто нас любил — ушли в забвенье,
А люди чуждые растут,
И два соседних поколенья
Одно другого не поймут.

Мы ждем, молчим, но не тоскуем,
Мы знаем: нет для нас мечты...
Мы у прошедшего воруем
Его завядшие цветы.

Сплетаем их в венцы, в короны,
Порой смеемся на пирах...
Совсем, совсем Анакреоны,
Но только не в живых цветах.

* * *

Когда обширная семья
Мужает и растет,
Как грустно мне, что знаю я
То, что их, бедных, ждет.
Соблазна много, путь далек!
И, если час придет,
Судьба их родственный кружок
Опять здесь соберет!
То будет ломаный народ
Борцов-полукалек,
Тех, что собой завалят вход
В двадцатый, в лучший век...
Сквозь гробы их из вечной тьмы
Потянутся на свет
Иные, лучшие, чем мы,
Борцы грядущих лет.
И первым добрым делом их,
Когда они придут,
То будет, что отцов своих
Они не проклянут.

* * *

Нет, жалко бросить мне на сцену
Творенья чувств и дум моих,
Чтобы заимствовать им цену
От сил случайных и чужих,
Чтобы умению актера
Их воплощенье поручать,
Чтоб в лжи кулис, в обмане взора
Им в маске правды проступать;
Чтоб, с завершеньем представленья,
Их трепет тайный, их стремленья —
Как только опустеет зал,
Мрак непроглядный обуял.

И не в столбцах повествованья
Больших романов, повестей

Желал бы я существованья
Птенцам фантазии моей;
Я не хочу, чтоб благосклонный
Читатель в длинном ряде строк
С трудом лишь насладиться мог,
И чтобы в веренице темной
Страниц бессчетных лишь порой
Ронял он с глаз слезу живую,
Нерукотворную, святую,
Над скрытой где-нибудь строкой,
И чтоб ему, при новом чтеньи,
Строки заветной не сыскать...
Нет обаянья в повтореньи,
И слез нельзя перечитать!

Но я желал бы всей душою
В стихе таинственно-живом
Жить заодно с моей страною
Сердечной песни бытием!
Песнь — ткань чудесная мгновенья —
Всегда ответит на призыв;
Она — сердечного движенья
Увековеченный порыв;
Она не лжет! Для милых песен
Великий божий мир не тесен;
Им книг не надо, чтобы жить;
Возникшей песни не убить;
Ей сроков нет, ей нет предела,
И если песнь прошла в народ
И песню молодость запела, —
Такая песня не умрет!

СТАРЫЙ БОЖОК

Освещаясь гаснущей зарей,
Проступая в пламени зарницы,
На холме темнеет под сосной
Остов каменный языческой божницы.

Сам божок валяется при ней;
Он без ног, а всё ему живется!

Старый баловень неведомых людей
Лег в траву и из травы смеется.

И к нему, в забытый уголок,
Ходят женщины на нежные свиданья...
Там языческий покинутый божок
Совершает тайные венчанья...

Всем обычаям наперекор чудит,
Ограничений не ведая в свободе,
Бог свалившийся тем силен, что забыт,
Тем, что служит матушке-природе...

ИСКУССТВЕННАЯ РАЗВАЛИНА

Вздумал шутник, — шутников не исправить, —
Вздумал развалину строить и древность поставить!
Глупо, должно быть, развалина прежде глядела...
К счастью, что время вмешалось по-своему в дело:
Что было можно — обрушило и обломало;
Тут оно арку снесло, там камней натаскало;
Тут не по правилам косо направило фриз;
Лишним карниз показался — снесло и карниз!
Дождик, шумливый работник, ему помогая,
Стукал, долбил, потихоньку углы закругляя;
Вихорь-свистун налетал, ветерочки юлили,
Камни сверлили, чтоб камни податливей были,
Зори, румяные сестры, покровы им ткали,
Светом и тенью кроили, плющом ушивали!
Розовых пуговок вкруг расплодила восковка;
Терний пролез, растолкал, проворчав: «Так мне
ловко!»
Ива сказала: «Я ветви к земле опущу,
Ну, докажите, кто может, что я не грущу!?»
Совушка-вдовушка в трещине гнездышко свила:
«Я ли покойничка мужа в ночи не любила?
Мальчики камнем подшибли его на заборе,
Тело его в огороде висит на позоре;
Я ли по муже очей своих не проглядела,
Я пучеглазою стала, когда овдовела».

Стала в развалине совушка вещей душою,
С вечера плачется, а замолкает с зарею!..
Ну и красивой же вышла развалина, право!..
Вот и строитель в углу притаился лукаво —
Статуя в землю ушла! Из-под плотной листвы
Бронзовый очерк заметен плеч, ног, головы;
Только лица не видать, будто бедному стыдно!
Но человеческий облик из зелени видно...

КУКЛА

Куклу бросил ребенок. Кукла быстро свалилась,
Стукнулась глухо о землю и навзничь упала...
Бедная кукла! Ты так неподвижно лежала
Скорбной фигуркой своей, так покорно сломилась,
Руки раскинула, ясные очи закрыла...
На человека ты, кукла, вполне походила!

* * *

Где бы ни упало подле ручейка
Семя незабудки, синего цветка, —
Всюду, чуть с весною загудит гроза,
Взглянут незабудок синие глаза!

В каждом чувстве сердца, в помысле моем
Ты живешь незримым, тайным бытием...
И лежит повсюду на делах моих
Свет твоих советов, просьб и ласк твоих!

* * *

Каждою весною, в тот же самый час,
Солнце к нам в окошко смотрит в первый раз.

Будет, будет время: солнце вновь придет, —
Нас здесь не увидит, а других найдет...

И с терпеньем ровным будет им светить,
Помогая чахнуть и ничем не быть...

* * *

Последние из грез, и те теперь разбились!
Чему судьба, тому, конечно, быть...
Они так долго, бережно хранились,
И им, бедняжкам, так хотелось жить...
Но карточный игрок — когда его затравят, —
По воле собственной сжигая корабли,
Спокойней прежнего, почти веселый, ставит
Свои последние, заветные рубли!

ЗЕРНЫШКО

Зернышко овсяное искренно обрадовалось, —
Счастье-то нежданное! Корешком прокрадывалось
Смело и уверенно по земле питательной,
В блеске солнца вешнего — ласки обаятельной...

Лживою тревогою зернышко смутилося:
Над большой дорогою прорастать пустилося!
Мнут и топчут бедное... Солнце жжет лучом...
Умерло, объятое высохшим пластом!

* * *

Рано, рано! Глаза свои снова закрой
        И вернись к неоконченным снам!
Ночь, пришлец-великан, разлеглась над землей;
        В поле темень и мрак по лесам.

Но когда — ждать недолго — час утра придет,
Обозначит и холм, и межу,
Засверкают леса, — великан пропадет, —
Я тебя разбужу, разбужу...

* * *

Отдохните, глаза, закрываясь в ночи́,
Вслед за тем, что вы днем увидали!
Отчего-то вы, бедные, так горячи,
Отчего так глубоко устали?

Иль нельзя успокоить вас, очи, ничем,
Охладить даже полночи тьмою! —
Спишь глубоко, а видишь во сне между тем:
Те же люди идут пред тобою...

* * *

Градины выпали! Счета им нет...
Подле них вишен обившийся цвет...
В царственном шествии ранней весны,
В чаяньи смерти смертельно бледны,
Бедные жертвы и их палачи
Гибнут, белея, в безлунной ночи́...

* * *

Он охранял твой сон, когда ребенком малым,
Бывало, перед ним ты сладко засыпал,
И солнца теплый луч своим сияньем алым
На щечках бархатных заманчи́во играл.

Он сторожит твой сон теперь, когда, разбитый,
Больной, уставший жить, тревожно дремлешь ты,
И тот же луч зари на впалые ланиты
Бросает, как тогда, роскошные цветы...

* * *

Из твоего глубокого паденья
Порой, живым могуществом мечты,
Ты вдруг уносишься в то царство вдохновенья,
Где дома был в былые дни и ты!

Горит тогда, горит неопалимо
Твоя мечта — как в полночи звезда!..
Как ты красив под краскою стыда!
Но светлый миг проходит мимо, мимо...

ЧЕРНОЗЕМНАЯ ПОЛОСА

Посвящается А. А. Коринфскому

* * *

Полдневный час. Жара гнетет дыханье;
Глядишь прищурясь, — блеск глаза слезит,
И над землею воздух в колебанье,
Мигает быстро, будто бы кипит.

И тени нет. Повсюду искры, блестки;
Трава слегла, до корня прожжена.
В ушах шумит, как будто слышны всплески,
Как будто где-то подле бьет волна...

Ужасный час! Везде оцепененье:
Жмет лист к ветвям нагретая верба́,
Укрылся зверь, затем что жжет движенье,
По щелям спят, приткнувшись, ястреба.

А в поле труд... Обычной чередою
Идет косьба: хлеба́ не будут ждать!
Но это время названо страдою, —
Другого слова нет его назвать...

Кто испытал огонь такого неба,
Тот без труда раз навсегда поймет,
Зачем игру и шутку с крошкой хлеба
За тяжкий грех считает наш народ!

* * *

Горячий день. Мой конь проворно
Идет над мягкой пахото́й;
Белеют брошенные зерна,
Еще не скрытые землей.

Прилежной кинуты рукою,
Как блестки в пахотной пыли,
Где в одиночку, где семьею,
Они узором полегли...

Я возвращаюсь ночью бором;
Вверху знакомый взору вид:
Что зерна звезды! Их узором
Вся глубь небесная горит...

* * *

Как красных маков раскидало
По золотому полю жниц;
Небес лазурных покрывало
Пестрит роями черных птиц;

Стада овец ползут на скаты
Вдоль зеленеющей бакчи, —
Как бы подвижные заплаты
На ярком золоте парчи...

* * *

В отливах нежно-бирюзовых,
Всем краскам неба дав приют,
В дуплистой раме кущ вербовых
Лежит наш тихий, тихий пруд.

Заря дымится, пламенея!
Вон, обронен вчерашним днем,
Плывет гусиный пух, алея,
Семьей корабликов по нем.

Уж не русалок ли бедовых
Народ, как месяц, тут блистал,
Себе из перышек пуховых
Наткать задумал покрывал?

Но петухи в свой срок пропели,
Проворно спряталась луна,
Пропали те, что ткать хотели,
Осталась плавать ткань одна!

И, эту правду подтверждая,
В огнях зари летит с полей
Гусей гогочущая стая,
Блистая рядом длинных шей.

* * *

В поле борозды, что строфы,
А рифмует их межа,
И по ним гуляют дрофы,
Чутко слух насторожа.

Уж не оборотни ль это
Поднялись? И вдоль полей
Из курганов выполз к свету
Некий сонм богатырей!

Если так, то очень ловко
Можно дело разрешить!
Ну-ка ты, моя винтовка,
Не плошать и метко бить!

* * *

Утихают, обмирают
Сердца язвины, истома
Здесь, где мало так мечтают,
Где над мраком чернозема,

В блеске солнца золотого
Над волнами ярового
Мысли ясны и спокойны,
Не сердца, но лица знойны;

Где царит одна природа:
В ней вся ласка, вся невзгода!
Где порядком затверженным
В полдня час, порою жаркой,

По дорожкам, золоченным
Блеском падалицы яркой
И потоптанной соломы,
Возят копны, точно домы!

Вот по селам, за плетнями
Встали скирды! Остриями
Шапок смотрят вниз на хаты.
Так красивы, так богаты,

Уж куда, куда как выше
Самой рослой в хатах крыши!
Ночь! Виднеются во мгле
Скирды, что село в селе!

* * *

Стоит народ за молотьбою;
Гудит высокое гумно;
Как бы молочною струею
Из молотилки бьет зерно.

Как ярок день, как солнце жгуче!
А пыль работы так грузна,
Что люди ходят, будто в туче,
Среди дрожащего гумна.

* * *

Чернеет полночь. Пять пожаров!
Столбами зарева стоят!
Кругом зажиточные села
Со всеми скирдами горят!

Иль это дьявол сам пролетом
Земли коснулся пятерней,
И жгучий след прикосновенья
Пылает в темени ночной!

И далеко пойдут по краю,
И будут в свете дня видны
В печальных лицах погорельцев
Благословенья сатаны...

* * *

Есть, есть гармония живая
В нытье полуночного лая
Сторожевых в селе собак;
Никем не хóлены, не мыты,
Избиты, изредка лишь сыты,
Все в клочьях от обычных драк,
Они за что-то, кто их знает,
Наш сон усердно сторожат:
Пес хочет есть, избит, измят,
А всё не спит и громко лает!

* * *

По крутым по бокам вороного
Месяц блещет, вовсю озарил!
Конь! Поведай мне доброе слово!
В сказках конь с седоком говорил!

Ох, и лес-то велик и спокоен!
Ох, и ночь-то глубоко синя́!
Да и я безмятежно настроен...
Конь, голубчик! Побáлуй меня!

Ты скажи, что за де́вицей едем;
Что она, прикрываясь фатой,
Ждет... глаза проглядит... Нет! Мы бредим,
И никто-то не ждет нас с тобой!

Конь не молвит мне доброго слова!
Это сказка, чтоб конь говорил!
Но зачем же бока вороного
Месяц блеском таким озарил?

* * *

Малость стемнело, девица поет,
Машет платочком, ведет хоровод;
Ходят над грудью и ленты и бусы.
Парни опешили! Экие трусы!
Будто впервые признали они
Этих очей зоревые огни,
Будто глядят на девицу впервые!
Спевшийся хор! Голоса золотые!
Песню, должно быть, и в небе слыхать —
Значит, и звездам, чуть глянут, плясать...

* * *

Ароси́лось. Месяц ходит.
Над левадою покой;
Вдоль по грядкам колобродят
Сфинксы с мертвой головой.

Вышла Груня на леваду...
Под вербо́ю парень ждал...
Ионийскую цикаду
Им кузнечик заменял.

Балалайку парень кинул,
За плетень перемахнул
И в подсолнечниках сгинул,
В конопельке потонул...

Заросилось. Месяц ходит.
Над левадою покой...
Вдоль по грядкам колобродят
Сфинксы с мертвой головой.

* * *

Устал в полях, засну солидно,
Попав в деревню на харчи.
В окно открытое мне видно
И сад наш, и кусок парчи
Чудесной ночи... Воздух светел...
Как тишь тиха! Засну, любя
Весь божий мир... Но крикнул петел!
Иль я отрекся от себя?

* * *

По завалинкам у хат
Люди в сумерках сидят;
Подле кони и волы
Чуть виднеются из мглы.

Сны ночные тоже тут,
Собираются, снуют
В огородах, вдоль кустов,
На крылах сычей и сов.

Вот зеленый свет луны
Тихо канул с вышины...
Что, как если с тем лучом
Сыч вдруг станет молодцом,

Глянет девушкой сова,
Скажет милые слова,
Да и хата, наконец,
Обратится во дворец?

* * *

Прекрасен вид бакчи нагорной!
Плетень, сторожка из ветвей;
Арбуз, пустивший лист узорный,
Окутал землю сетью змей.

Ползут, сплелись! Назад с неделю,
Я помню, вечер наступал, —
По склону, вторя коростелю,
Местами перепел стучал.

Бакча сквозь сумрак зеленела,
Сквозили за́вязи цветов;
Теперь откуда что приспело?
Повсюду в кружевах листов

Глядят плоды... Еще так малы,
Но всюду, всюду залегли,
Как бледно-желтые опалы,
На мягких сумерках земли!

* * *

Так вот оно где наводненье было!
Избу разрушило, плотину разнесло,
Большие льдины всюду разложило —
И успокоилось, и тихо отошло...

В одежде искр и красок бесподобных
Идет весна, вся в почках и цветах;
В соседстве льдин, как подле плит надгробных,
Играют дети в солнечных лучах.

Улыбка есть на всех следах погрома!
Загладить прошлое весна взяла почин,
И ластится она, вся нега, вся истома,
И жмется зеленью к лазурным стенкам льдин.

* * *

Летят по небу журавли,
Свои меняя корабли,
Летят над талою землею,
Блистая крыльев белизною;

То строят длинные черты,
То мчатся острыми углами...
За ними следуя очами,
В весну не веришь ли и ты?

* * *

Как будто снегом опушила
Весна цветами ветви слив;
Заря, полнеба охватив,
В цветах румянец пробудила.

Придет пора, нальется плод,
А тяжесть ветви к долу клонит,
Сломает... Цветень смерть несет,
Пора любви страданья гонит.

Но жизнь щадит: закон таков,
Что умеряется излишек
Обжорством галок и скворцов
И смелой жадностью мальчишек.

* * *

Белеет утренник, сверкая,
По скатам блекнущих холмов;
Великим заревом пылая,
Выходит солнце из паров.

Ему обидно и досадно
Гореть так низко над землей,
Горит и слизывает жадно
Снежок над мерзлою травой.

И словно длинной бахромою
Одет холма высокий бок:
Где рощи нет — горит росою,
Где тень от рощи — там снежок.

* * *

В одежде выцветшей и бурой,
В каемках яркой желтизны,
Объят ты, лес, погодой хмурой,
И блекнут все твои сыны.

На их печальные обличья,
Пятном блестящим с высоты,
Льет солнце острый блеск величья
И греет мертвые листы.

Но в безнадежности природы,
Как изумруды зелены,
Заметны озимые всходы
И зелень ели и сосны.

МУРМАНСКИЕ ОТГОЛОСКИ

С. С. Трубачеву

---

* * *

Будто в люльке нас качает.
Ветер свеж. Ни дать ни взять
Море песню сочиняет —
Слов не может подобрать.

Не помочь ли? Жалко стало!
Сколько чудных голосов!
Дискантóв немножко мало,
Но зато не счесть басов.

Но какое содержанье,
Смысл какой словам придать?
Море — странное созданье,
Может слов и не признать.

Диких волн седые орды
Тонкой мысли не поймут,
Хватят вдруг во все аккорды
И над смыслом верх возьмут.

* * *

Цветом стальным отливают холодные,
Грузные волны полярных зыбей,
Солнца полуночи тени лиловые
Видны на палубе подле снастей:

С этим наплывом теней фиолетовых
Только лишь пушки своей желтизной
Спорят как будто; склонились, насупились,
Стынут, облитые крупной росой.

Красная искра порою взвивается
В черном дыму; оживая на миг,
Ярко блестит! Перед нею туманится
Вечного солнца полуночный лик...

* * *

Перед бурей в непогоду
Разыгралися киты.
Сколько их! Кругом мелькают
Будто темные щиты
Неких витязей подводных.
Бой незрим, но слышен гром.
Над пучиною кипящей
Ходят волны ходенем,
Проступают остриями...
Нет сомненья: под водой,
Под великими волнами,
Занялся могучий бой!
Волны — витязей шеломы,
Бури рев — их голоса!
Блещут очи... Кто на вахте?
Убирайте паруса,
Чтоб не спутаться снастями
Между дланей и мечей;
Увлекут они в пучину
Нас, непрошеных людей.
Закрывай плотнее люки!
Так! Совсем без парусов
С ними мы еще поспорим!
Ходу дай! Прибавь паров...
Налетает шквал за шквалом,
Через борт идет волна;
Грохот, посвист и шипенье,
В стройных мачтах дрожь слышна.

Не уловишь взглядом в тучах
Очертаний буревых...
Как зато повеселели
Стаи грустных птиц морских!
Кто сказал, что в буре страхи?
Под размахами ее
Вялы, робки и пугливы
Только слабость да нытье...

* * *

Здесь, в заливе, будто в сказке!
Вид закрыт во все концы;
По дуге сложились скалы
В чудодейные дворцы;

В острых очерках утесов,
Где так густ и влажен мох,
Выраженья лиц каких-то,
Вдруг застывшие врасплох.

У воды торчат, белея,
Как и скалы велики,
Груды ребр китов погибших,
Черепа и позвонки.

К ним подплывшая акула
От светящегося дна
Смотрит круглыми глазами,
Неподвижна и темна,

Вся в летучих отраженьях
Высоко снующих птиц —
Как живое привиденье
В этой сказке, полной лиц!

* * *

Неподвижны очертанья
Здешних скал и островов:
Это летопись страданья
Исковерканных пластов;

Эпопея или драма
Жизни каменных пород!
Небеса и море — рама,
Та же всё, из года в год.

Подле них, что день, то новы,
Живы час один иль два,
Народившись без основы,
Проплывают острова

Темных водорослей — уток,
Чаек и гагар притон!
Словно ряд плывущих шуток,
Словно легкий фельетон...

* * *

Доплывешь когда сюда,
Повстречаешь города
Что ни в сказках не сказать,
Ни пером не описать!

Город — взять хоть на ладонь!
Ни один на свете конь
Не нашел к нему пути;
Тут и улиц не найти.

Меж домов растет трава;
Фонари — одни слова!
Берег моря словно жив —
Он растет, когда отлив;

Подавая голос свой
Громче всех, морской прибой
Свеял с этих городов
Всякий след пяти веков!

Но уж сказка здесь вполне
Наступает по весне,
Чуть из них мужской народ
В море на лето уйдет.

Бабье царство здесь тогда!
Бабы правят города,
И чтоб бабам тем помочь,
Светит солнце день и ночь!

С незапамятных времен
Сарафан их сохранен,
Златотканый, парчевой;
Кички с бисерной тесьмой;

Старый склад и старый вкус
В нитях жемчуга и бус,
Новгородский, вечевой,
От прабабок он им свой.

И таков у баб зарок:
Ждать мужчин своих на срок,
Почту по морю возить,
Стряпать, ткать и голосить;

Если в море гул и стон —
Ставить свечи у икон,
И заклятьем вещих слов
Укрощать полет ветров.

* * *

Снега заносы по скалам
Всюду висят бахромой;
Солнце июльское блещет, —
Встретились лето с зимой.

Ветер от запада. Талый
Снег под ногами хрустит;
Рядом со снегом, что пурпур, .
Кустик гвоздики горит.

Тою же яркостью красок
В Альпах, на крайних высях,
Кучки гвоздики алеют
В вечных, великих снегах.

В Альпах, чем ближе к долинам,
Краски цветов всё бледней,
Словно тускнеют, почуяв
Скучную близость людей.

Здесь — до болот ниспадает
Грань вековечных снегов;
Тихая жизнь не свевает
Яркости божьих цветов;

Дружно пылают гвоздики,
Рдеют с бессчетных вершин
Мохом окутанных кочек,
Вспоенных влагой трясин.

* * *

Какие здесь всему великие размеры!
Вот хоть бы лов классической трески!
На крепкой бечеве, верст в пять иль больше меры,
Что ни аршин, навешаны крючки;

Насквозь проколота, на каждом рыбка бьется...
Пять верст страданий! Это ль не длина?
Порою бечева китом, белугой рвется —
Тогда страдать артель ловцов должна.

В морозный вихрь и снег — а это ль не напасти? —
Не день, не два, с терпеньем без границ

Артель в морской волне распутывает снасти,
Сбивая лед с промерзлых рукавиц.

И завтра то же, вновь... В дому помору хуже:
Тут, как и в море, вечно сир и нищ,
Живет он впроголодь, а спит во тьме и стуже
На гнойных нарах мрачных становищ.

* * *

Здесь, говорят, у них порой
Смерть человеку облик свой
В особом виде проявляет.
Когда, в отлив, вода сбегает
И, между камнями, помор
Идет открытыми песками,
Путь сокращая, — кругозор
Его обманчив; под ногами
Песок не тверд; помор спешит, —
Прилив не ждет! Вдруг набежит
Отвсюду! Вот уже мелькают
Струи, бегущие назад;
То здесь, то там опережают,
Под камни льются, шелестят!
А вон, вдали, седая грива
Ползущего в песках прилива
Гудит, неистово ревет
И водометами встает...
Скорей, скорей! Но нет дороги!
Пески сдаются, вязнут ноги,
Пески уходят под ногой...
Всё выше волн гудящих строй!
Их гряды мечутся высоко,
Чтоб опрокинуться потом...
Всё море лезет на подъем!
Спасенья нет... Блуждает око...
Всё глубже хлябь, растет прилив!
Одолеваемый песками,
Помор цепляется руками,
И он не мертв еще, он жив —

А тяжкий гул морского хора,
Чтоб крик его покрыть полней,
В великой мощности напора
Стучит мильонами камней...

* * *

Взобрался я сюда по скалам;
С каким трудом на кручу взлез!
Внизу бурун терзает море,
Кругом, по кочкам, мелкий лес...

Пигмеи-сосенки! Лет двести
Любой из них, а вышиной
Едва-едва кустов повыше;
Что ни сучок — больной, кривой.

Лет двести жизни трудной, скучной,
И рост такой... Везде вокруг
Не шум от ветра — трепетанье,
Как будто робкий плач, испуг...

Но счастье есть и в них: не знают,
Не ведают, что поюжней
Взрастают сосны в три обхвата
И с пышной хвоею ветвей,

И что вдали, под солнцем юга,
В морскую синь с вершин Яйлы́
Сквозь сетки роз и винограда
Глядят других сестер стволы...

* * *

Хоть бы молниям светиться!
Тьма над морем, тьма!
Вихорь, будто зрячий, мчится —
Он сошел с ума...

Он выводит над волнами,
Из бессчетных струн,
Гаммы с резкими скачками...
А поет бурун.

Что за свадьба? Что за пляска?
Если б увидать!
Тьма, как плотная повязка, —
Где ее сорвать...

Сердцем чуются движенья
Темных сил ночных,
Изможденные виденья,
Плач и хохот их...

* * *

Когда на краткий срок здесь ясен горизонт
И солнце сыплет блеск по отмелям и лу́дам,
Ни Адриатики волна, ни Геллеспонт
Таким темнеющим не блещут изумрудом;

У них не так густа бывает синь черты,
Делящей горизонт на небо и на море...
Здесь вечность, в веяньи суровой красоты,
Легла для отдыха и дышит на просторе!

НА РЕКЕ ВЕСНОЙ

Последним льдом своим спирая
Судов высокие бока,
В тепле весны шипя и тая,
Готова тронуться река.

На юг сияющий и знойный,
К стране счастливой, но чужой
Ты добежишь, поток спокойный,
Своей работницей-волной.

С журчаньем нежным и печальным
Другим звездам, в вечерний час,
Иным землям́ и людям дальним,
Река, поведай и о нас!

Скажи, как к нам весна приходит,
Что долго ждем, что скучны дни,
Что смерть с весной здесь дружбу водит
И люди гаснут, как огни...

РАССВЕТ В ДЕРЕВНЕ

Огонь, огонь! На небесах огонь!
Роса дымится, в воздух отлетая;
По грудь в реке стоит косматый конь,
На ранний ветер уши навостряя.

По длинному селу, сквозь дымку темноты,
Идет обоз с богатой кладью жита;
А за селом погост и низкие кресты,
И церковь древняя, чешуйками покрыта...
Вот ставней хлопнули: в окне старик седой
Глядит и крестится на первый луч рассвета;
А вот и девушка извилистой тропой
Идет к реке, огнем зари пригрета.
Готово солнце встать в мерцающей пыли,
Крепчает пенье птиц под бесконечным сводом,
И тянет от полей гвоздикою и медом
И теплой свежестью распаханной земли...

ПРОЩАНИЕ ЛЕТА

Осень землю золотом одела,
Холодея, лето уходило
И земле, сквозь слезы улыбаясь,
На прощанье тихо говорило:

«Я уйду, — ты скоро позабудешь
Эти ленты и цветные платья,
Эти астры, эти изумруды
И мои горячие объятья.

Я уйду — роскошная южанка —
И к тебе, на выстывшее ложе,
Низойдет любовница другая,
И свежей, и лучше, и моложе.

У нее алмазы в ожерелье,
Платье бело и синеет льдами,
Щеки бледны, очи светло-сини,
Волоса осыпаны снегами...

О мой друг! Оставь ее спокойно
Жать тебя холодною рукою:
Я вернусь, согрею наше ложе,
Утомлю и утомлюсь с тобою!»

* * *

Старый плющ здесь ползет
Вдоль мохнатых корней;
Ель, замшившись, растет —
Вся в дремоте ветвей...
Опуститься б в тени,
Поглядеть на закат,
Как ночные огни
В небесах заблестят,
И, с темнеющим днем,
Всем своим бытием,
Как и день, отойти
На иные пути...

В ЛИСТОПАД

Ночь светла, хоть звезд не видно,
Небо скрыто облаками,
Роща темная бушует
И бичуется ветвями.

По дороге ветер вьется,
Листья скачут вдоль дороги,
Как бессчетные пигмеи
К великану, мне, под ноги.

Нет, неправда! То не листья,
Это — маленькие люди:
Бьются всякими страстями
Их раздавленные груди...

Нет, не люди, не пигмеи!
Это — бывшие страданья,
Облетевшие мученья
И поблекшие желанья...

Всех их вместе ветер гонит
И безжалостно терзает!
Вся дорога змеем темным
Под роями их мелькает...

Нет конца змее великой...
Вьется, бьется, копошится,
В даль и темень уползает,
Но никак не может скрыться...

МАЛО СВЕТУ

Мало свету в нашу зиму!
Воздух темен и не чист;
Не подняться даже дыму —
Так он грузен и слоист.

Он мешается с туманом;
В нем снуют со всех сторон,
Караван за караваном,
Стаи галок и ворон...

Мгла по лесу, по болоту...
Да, задача не легка —
Пересиливать дремоту
Чуть заметного денька!

СНЕГА

Месяц в небе высоком стоит,
Степь, покрытая снегом, блестит,
И уж сколько сияет по ней
Голубых и зеленых огней!..

Неподвижная ночь холодна,
И глубоко нема тишина,
И ломается в воздухе свет
Проплывающих звезд и планет...

Вот из белых, глубоких снегов,
На какой-то таинственный зов,
Словно белые люди встают,
И встают, и идут, и растут!

Светят лики неясные их
И проходят одни сквозь других,
И по степи мерцает вокруг
Много, много светящихся рук...

ТУЧИ И ТЕНИ

Тучки набежали, тени раскидали,
Смотрят с неба синего, смотрят свысока,
Как легли их тени и куда упали:
На холмы, на пажити, в волны озерка.

Молвят тучам тени: «Золотые гряды,
Вам ли счастье, радости, краски не даны,
Вам ли нет раздолья, вам ли нет отрады
В переливах радужных светлой вышины?»

Отвечают тучи: «Темные созданья,
Бедные завистницы долей вам чужих!
Ближе вы к юдоли плача и страданья,
Но зато вы в близости радостей людских...»

ОСЕННИЙ МОТИВ

Мой старый клен с могучею листвою,
Еще ты густ, и зелен, и тенист,
А между тем чуть видной желтизною
Уже слегка озолочен твой лист.

Еще и птиц напевы голосисты,
Ты ими полн, как плеском бег реки;
Еще висят вдоль плеч твоих монисты —
Твоих семян созревших мотыльки.

В них бывший цвет — твои воспоминанья,
Остатки чувств, испытанных тобой;
Но ты сказал им только: «До свиданья!»
Ты будешь жить и будущей весной.

Глубокий сон зимы обледенелой
Додремлешь ты и, покидая сны,
Весь обновлен, листвой своей всецело
Отдашься ласкам будущей весны.

Для нас — не то. Хотя живут стремленья,
И в сердце песнь, и грез душа полна,
Но, старый друг, нет людям обновленья,
И жизнь идет, как нить с веретена.

УТРО

Вот роса невидимо упала,
И восток готовится пылать;
Зелень вся как будто бы привстала
Поглядеть, как будет ночь бежать.

В этот час повсюду пробужденье...
Облака, как странники в плащах,
На восток сошлись на поклоненье
И горят в пурпуровых лучах.

Солнце выйдет, странников увидит,
Станет их и греть и золотить;
Всех согреет, малых не обидит
И пошлет дождем наш мир кропить!

Дождь пойдет без толку, без разбора,
Застучит по камням, по водам,
Кое-что падет на долю бора,
Мало что достанется полям!

УТРО НАД НЕВОЮ

Вспыхнуло утро в туманах блуждающих,
Трепетно, робко сказалось едва...
Точно как сеткою блесток играющих
Мало-помалу покрылась Нева!

Кой-где блеснут! В полутень облаченные,
Высятся зданья над сонной водой,
Словно на лики свои оброненные
Молча глядятся, любуясь собой.

Света всё больше... За тенью лиловою
Солнце чеканит струей огневой
Мачты судов над водой бирюзовою,
Выше их, ярче их — шпиль крепостной;

Давняя мачта! Огней прибавляется!
Блеск так велик, что где чайка крылом
Тронет волну — блеск волны разрывается,
Гребень струи проступает пятном.

Вон, пробираясь как будто с усильями
В этом великом свету, кое-где
Ялики веслами машут, как крыльями,
Светлые капли роняя к воде...

Что-то как будто восточное, южное
Видится всюду! Какой-то налет,
Пыль перламутра, сиянье жемчужное —
Вдоль широко разгоревшихся вод...

Вот... Вот и говор пошел, и несмелое
Всюду движенье; заметен народ...
Гибнет картина, как чудное целое
Сгинет совсем, по частям пропадет...

Ну, и тогда, если где над пучиною
Чайка заденет плывучую глыбь,
Там не пятно промелькнет над картиною —
Блестками, искрами скажется зыбь!

НАШИ ПТИЦЫ

Наши обычные птицы прелестные,
Галка, ворона и вор-воробей!
Сча̀стливым странам не столько известные,
Сколько известны отчизне моей...

Ваши окраски всё серые, черные,
Да и обличьем вы очень просты:
Клювы как клювы, прямые, проворные,
И без фигурчатых перьев хвосты.

В непогодь, вьюги, буруны, метелицы
Все вы, голубчики, тут, подле нас,
Жизни пернатой невесть что — безделицы,
Вы утешаете сердце подчас.

И для картины вы очень существенны
В долгую зиму в полях и лесах!
Все ваши сборища шумны, торжественны
И происходят у всех на глазах.

Это не то, что сова пучеокая
Или отшельница-птица челна́ —
Только где темень, где чаща глубокая,
Там ей приятно, там дома она!

С вами иначе. То вдруг вы слетаетесь
Стаей бо́льшой на дорогу; по ней
Ходите, клю́ете и не пугаетесь
Даже нисколько людей и коней.

То вы весь вид на картину меняете,
В лес на опушку с дороги слетев,
Белую в черную вдруг обращаете,
Сотнями в снежные ветви насев.

То, как лоскутина флера, таскаетесь
Стаей крикливою вдоль по полям,
Тут подбираетесь, там раздвигаетесь
Черным пятном по бесцветным снегам.

Жизнь хоть и скромная, жизнь хоть и малая,
Хоть не большая, а всё благодать,
Жизнь в испытаньях великих бывалая,
Годная многое вновь испытать...

1. МЕФИСТОФЕЛЬ В ПРОСТРАНСТВАХ

Я кометой горю, я звездою лечу
И куда посмотрю, и куда захочу,
Я мгновенно везде проступаю!
Означаюсь струей в планетарных пара́х,
Содроганием звезд на старинных осях —
И внушаемый страх — замечаю!..

Я упасть — не могу, умереть — не могу!
Я не лгу лишь тогда, когда истинно лгу, —
И я мир возлюбил той любовью,
Что купила его всем своим существом,
Чувством, мыслью, мечтой, всею явью и сном,
А не только распятьем и кровью.

Надо мной ли венец не по праву горит?
У меня ль на устах не по праву царит
Беспощадная, злая улыбка?!.
Да, в концерте творенья, что уши дерет,
И тогда только верно поет, когда врет, —
Я, конечно, первейшая скрипка...

Я велик и силен, я бесстрашен и зол;
Мне печали веков разожгли ореол,
И он выше, всё выше пылает!
Он так ярко горит, что и солнечный свет,
И сиянье блуждающих звезд и комет
Будто пятна в огне освещает!

Будет день, я своею улыбкой сожгу
Всех систем пузыри, всех миров пустельгу,
Всё, чему так приятно живется...
Да скажите же: разве не видите вы,
Как у всех на глазах, из своей головы,
Мефистофелем мир создается?!

Не с бородкой козла, не на тощих ногах,
В епанче и с пером при чуть видных рогах
Я брожу и себя проявляю:
В мелочь, в звук, в ощущенье, в вопрос и в ответ,
И во всякое «да», и во всякое «нет»,
Невесóм, я себя воплощаю!

Добродетелью лгу, преступленьем молюсь!
По фигурам мазурки политикой вьюсь,
Убиваю, когда поцелую!
Хороню, сторожу, отнимаю, даю —
Раздробляю великую душу мою
И, могу утверждать, торжествую!..

2. НА ПРОГУЛКЕ

Мефистофель шел, гуляя,
По кладби́щу, вдоль могил...
Теплый, яркий полдень мая
Лик усталый золотил.

Мусор, хворост, тьма опенок,
Гниль какого-то ручья...
Видит: брошенный ребенок
В свертке грязного тряпья.

Жив! Он взял ребенка в руки,
Под терновником присел
И, подделавшись под звуки
Детской песенки, запел:

«Ты расти и добр, и честен:
Мать отыщешь — уважай;

Будь терпением известен,
Не воруй, не убивай!

Бога, самого большого,
Одного в душе имей;
Не желай жены другого;
День субботний чти, говей...

Ты евангельское слово
Так, как должно, исполняй,
Как себя люби другого;
Бьют — так щеку подставляй!

Пусть блистает добродетель
Несгорающим огнем...
Amen! Amen! [1] Бог свидетель,
Люб ты будешь мне по нем!

Нынче время наступило,
Новой мудрости пора...
Что ж бы впрямь со мною было,
Если б не было добра?!

Для меня добро бесценно!
Нет добра, так нет борьбы!
Нужны мне, и несомненно,
Добродетелей горбы...

Будь же добр!» Покончив с пеньем,
Он ребенка положил
И своим благословеньем
В свертке тряпок осенил!

3. ПРЕСТУПНИК

Вешают убийцу в городе на площади,
И толпа отвсюду смотрит необъятная!
Мефистофель тут же; он в толпе шатается;
Вдруг в него запала мысль совсем приятная.

[1] Аминь! Аминь! (лат.). — *Ред.*

Обернулся мигом. Стал самим преступником;
На себя веревку помогал набрасывать;
Вздернули, повесили! Мефистофель тешится,
Начал выкрутасы в воздухе выплясывать.

А преступник скрытно в людях пробирается,
Злодеянье новое в нем тихонько зреет,
Как бы это чище, лучше сделать, думает,
Как удрать непойманным, — это он сумеет.

Мефистофель радостно, истинно доволен,
Что два дела сделал он людям из приязни:
Человека скверного отпустил на волю,
А толпе дал зрелище всенародной казни.

4. ШАРМАНЩИК

Воздуху, воздуху! Я задыхаюсь...
Эта шарманка, что уши пилит,
Мучает, душит... я мыслью сбиваюсь...
Глупый шарманщик в окошко глядит!

Эту забытую песню когда-то
Слушал я иначе, слушал душой,
Слушал тайком... скрыл от друга, от брата!
Думал: не знает никто под луной...

Вдруг ты воспрянула, заговорила!
Полная неги, мечте говоришь.
Время ли, что ли, тебя изменило?
Нот не хватает — а всё ты звучишь!

Значит, подслушали нас! Ударенья
Ясны и четки на тех же словах,
Что и тогда, в эту ночь увлеченья...
Память сбивается, на сердце страх!

Злая шарманка пилит и хохочет,
Песня безумною стала сама,

Мысль, погасая, проклятья бормочет...
Не замолчишь ты — сойду я с ума!

Слышу, что тянет меня на отмщенье...
Но ведь то время погасло давно,
Нет тех людей... нет ее!.. Наважденье!..
Глупый шарманщик всё смотрит в окно!

5. МЕФИСТОФЕЛЬ, НЕЗРИМЫЙ НА РАУТЕ

В запахе изысканном,
С свойствами дурмана,
В волнах Jockey Club'a
И Ilang Ilang'a,[1]
На блестящем рауте
Знати светлолобой
Мефистофель движется
Сам своей особой!
И глядит с любовию
На одежды разные,
Как блестят на женщинах
Крестики алмазные!

Общество сидело,
Тараторило,
Издевалось, лгало,
Пустословило!..
Чудилось: то были
Змеи пестрые!
В каждом рту чернели
Жала острые!
И в роскошной зале
Угощаючись,
В креслах, по диванам
Извиваючись,
Из глубоких щелей,
Из земли сырой

[1] Названия духо́в. — *Ред.*

С сладостным шипеньем
Собрался их рой...

Чуть кто выйдет в двери —
Как кинжалами,
Вслед за ним стремятся,
Блещут жалами!
Занимались долго
С умилением,
Часто чуть не плача,
Поношением...
А когда донельзя
Иззлословились,
Задушить друг дружку
Приготовились!
А когда хозяйка —
Очень крупный змей —
Позвала на ужин
Дорогих гостей, —
Веселы все были,
Будто собрались
Вешать человека
Головою вниз!..
В запахе изысканном,
С свойствами дурмана,
В волнах Jockey Club'a
И Ilang Ilang'a
Мефистофель движется,
Упиваясь фразами,
И не меркнут крестики —
Все блестят алмазами!!

6. ЦВЕТОК, СОТВОРЕННЫЙ МЕФИСТОФЕЛЕМ

Когда мороз зимы наляжет
Холодной тяжестью своей
И всё, что двигается, свяжет
Цепями тысячи смертей;

Когда над замершею степью
Сиянье полночи горит

И, поклоняясь благолепью
Небес, земля на них глядит, —

В юдоли смерти и молчанья,
В холодных, блещущих лучах
С чуть слышным трепетом дрожанья
Цветок является в снегах!..

Нежнейших игл живые ткани,
Его хрустальные листы
Огнями северных сияний,
Как соком красок, налиты!

Чудна блестящая порфира,
В ней чары смерти, прелесть зла!
Он — отрицанье жизни мира,
Он — отрицание тепла!

Его, рожденного зимою,
Никто не видит и не рвет,
Лишь замерзающий порою
Сквозь сон едва распознает!

Слезами смерти он опрыскан,
В нем звуки есть, в нем есть напев!
И только тот цветком тем взыскан,
Кто отошел, окоченев...

7. МЕФИСТОФЕЛЬ В СВОЕМ МУЗЕЕ

Есть за гранью мирозданья
Заколоченные зданья,
Неизведанные склады,
Где положены громады
Всяких планов и моделей,
Неисполненных проектов,
Смет, балансов и проспектов,
Не добравшихся до целей!

Там же тлеют ворохами
С перебитыми венцами

Закатившиеся звезды...
Там, в потемках свивши гнезды,
Силы темные роятся,
Свадьбы празднуют, плодятся...

В том хаóсе галерея
Вьется, как в утробе змея,
Между гнили и развалин!
Щель большая! Из прогалин
Боковых, бессчетных щелей, —
От проектов и моделей
Веет сырость разложенья
В этот выкидыш творенья!

Там, друзьям своим в потеху,
Ради шутки, ради смеху,
Мефистофель склад устроил:
Сóбрал все свои костюмы,
Порожденья темной думы,
Сóбрал их и успокоил!

Под своими нумерами,
Все они висят рядами,
Будто содранные шкуры
С демонической натуры!
Видны тут скелеты смерти
Астароты и вампиры,
Самотракские кабиры,
Сатана и просто черти,
Дьявол в сотнях экземпляров,
Духи мора и пожаров,
Облик кардинала Реца
И Елена — la Belezza! [1]

И в часы отдохновенья
Мефистофель залетает
В свой музей и вдохновенья
От костюмов ожидает.
Курит он свою сигару,
Ногти чистит и шлифует!

[1] Красота (итал.). — *Ред.*

Носит фрачную он пару
И с мундиром чередует;
Сшиты каждый по идее,
Очень ловки при движеньи...
Находясь в употребленьи,
Не имеются в музее!

8. СОБОРНЫЙ СТОРОЖ

Спят они в храме под плитами,
Эти безмолвные грешники!
Гро́бы их прочно поделаны:
Всё то дубы да орешники...

Сам Мефистофель там сторожем
Ходит под древними стягами...
Чистит он, день-деньской возится
С урнами и саркофагами.

Ночью, как храм обезлюдеет,
С тряпкой и щеткой обходит!
Пламя змеится и брызжет
Там, где рукой он проводит!

Жжет это пламя покойников...
Но есть такие могилы,
Где Мефистофелю-сторожу
Вызвать огонь не под силу!

В них идиоты опущены,
Нищие духом отчитаны:
Точно водой, глупой кротостью
Эти могилы пропитаны.

Гаснет в воде этой пламя!
Не откачать и не вылить...
И Мефистофель не может
Нищенства духом осилить!

9. В ВЕРТЕПЕ

«Милости просим,— гнусит Мефистофель,— войдем!
Дым, пар и копоть; любуйся, какое движенье!
Пятнами света сияют где локоть, где грудь,
Кто-то акафист поет! Да и мне слышно пенье...

Тут проявляется, в темных фигурках своих,
Крайнее слово всей вашей крещеной культуры!
Сто́ит, мошной побренчав, к преступленью позвать:
Всё, всё исполнят милейшие эти фигуры...

Слушай, мой друг, но прошу — не серчай, сделай
милость!
За двадцать три с лишком века до этих людей,
Вслед за Платоном, отлично писал Аристотель;
За девятнадцать — погиб Иисус-Назарей...

Ну, и скажи мне, кто лучше: вот эти иль те,
Что, безымянные, даже и бога не знают,
В дебрях, в степях неизведанных стран народясь,
Знать о себе не дают и тайком умирают.

Ну, да и я,— заключил Мефистофель,— живу
Только лишь тем, что злой сон видит мир наяву,
Вашей культуре спасибо!..» Он руку мне сжал
И доброй ночи преискренно мне пожелал.

10. ПОЛИШИНЕЛИ

Есть в продаже на рынках, на тесьмах,
на пружинках
Картонажные полишинели.
Чуть за нитку потянут — вдруг огромными станут!
Уменьшились, опять подлиннели...

Вот берет Мефистофель человеческий профиль,
Относимый к хорошим, к почтенным,
И в общественном мненьи создает измененье
По причинам, совсем сокровенным.

Так, вот этот! Считают, что другого не знают,
Кто бы так был умен и так честен,
Всё в нем складно — не худо, одним словом, что чудо!
Добр и кроток, красив и прелестен!

А сегодня открыли, всех и вся убедили,
Что во всем он и всюду ничтожен!
Что живет слишком робко, да и глуп он как пробка,
Злом и завистью весь растревожен!

А вот этот? Сегодня, как у́ гроба господня
Бесноватый, сухой, прокаженный,
И поруган, и болен, и терпеть приневолен,
Весь ужасной болезнью прожженный!

Завтра — детище света! Муж большого совета,
Где и равный ему не найдется...
Возвеличился профиль! Дернул нить Мефистофель
И кривлянью фигурки смеется...

ИЗ ДНЕВНИКА ОДНОСТОРОННЕГО ЧЕЛОВЕКА

* * *

Из Каира и Ментоны,
Исполняя церкви чин,
К нам везут мужья и жены
Прах любимых половин...

В деревнях и под столицей
Их хоронят на Руси:
На, мол, жил ты за границей —
Так земли родной вкуси!

Бренным телом на подушке
Всё отдай, что взял, назад...
За рубли вернув полушки,
Русский край, ты будешь рад!

* * *

Да, нынче нравятся «Записки», «Дневники»!
Жизни́шки глупые, их мелкие грешки
Ползут на свет и требуют признанья!
Из худосочия и умственных расстройств,
Из лени, зависти и прочих милых свойств
Слагаются у нас бытописанья —
И эта пища по зубам
Беззубым нам!



Товарищу-однокашнику, искренно уважаемому П. И. Вейнбергу
М. Стасюлевич
18 окт. 1893.

* * *

Что, камни не живут? Не может быть! Смотри,
Как дружно все они краснеют в час зари,
Как сохраняют в ночь то мягкое тепло,
Которое с утра от солнца в них сошло!
Какой ужасный гул идет от мостовых!
Как крепки камни все в призваниях своих, —
Когда они реку вдоль берега ведут,
Когда покойников, накрывши, стерегут,
И как гримасничают долгие века,
Когда ваятеля искусная рука
Увековечит нам под лоском красоты
Чьи-либо гнусные, проклятые черты!

* * *

Не стонет справа от меня больной,
Хозяйка слева спорить перестала,
И дети улеглись в квартире надо мной,
И вот вокруг меня так тихо, тихо стало!

Газета дня передо мной раскрыта...
Она мне не нужна, я всю ее прочел:
По-прежнему в ходу ослиные копыта,
И за клочок сенца идет на пытку вол!

И так я утомлен отсутствием свободы,
Так отупел от доблестей людей,
Что крики кошек и возню мышей
Готов приветствовать, как голоса природы.

* * *

И они в звуках песни, как рыбы в воде,
Плавали, плавали!
И тревожили ночь, благовонную ночь,
Звуками, звуками!

Вызывала она на любовь, на огонь,
Голосом, голосом,
И он ей отвечал, будто вправду пылал,
Тенором, тенором!
А в саду под окном ухмылялась тайком
Парочка, парочка, —
Эти молоды были и петь не могли,
Счастливы, счастливы...

* * *

Вся земля — одно лицо! От века
По лицу тому с злорадством разлита,
Чтоб травить по воле человека,
Лживых мыслей злая кислота...
Арабески!.. Каждый день обновки!
Что-то будет? Хуже ли, чем встарь?
Нет, клянусь, такой татуировки
Ни один не сочинял дикарь...

* * *

Еду по улице: люди зевают!
В окнах, в каретах, повсюду зевки,
Так и проносятся, так и мелькают,
Будто над лугом весной мотыльки.
Еду... И сам за собой замечаю:
Спал я довольно, да будто не впрок!
Рот мой шевелится... право, не знаю:
Это улыбка или зевок?

* * *

Всё юбилеи, юбилеи...
Жизнь наша кухнею разит!
Судя по ним, людьми большими
Россия вся кишмя кишит;

По смерти их, и это ясно,
Вослед великих пустосвятств,
Не хватит нам ста Пантеонов
И ста Вестминстерских аббатств...

* * *

В его поместьях темные леса
Обильны дичью вкусной и пушистой,
И путается острая коса
В траве лугов, высокой и душистой...
В его дому уменье, роскошь, вкус —
Одни другим служили образцами...
Зачем же он так грустен между нами
И на́ сердце его лежит тяжелый груз!
Чем он страдает? Чем он удручен
И что мешает счастью?.. — Он умен!

* * *

Мой друг! Твоих зубов остатки
Темны́, как и твои перчатки;
И сласть, и смрад речей твоих
Насели ржавчиной на них.
Ты весь в морщинах, весь из пятен,
Твой голос глух, язык невнятен;
В дрожаньи рук, в морганьи век
Видать, что ты за человек!
Но вот четыре длинных года,
Как ты, мой набожный урод,
Руководишь казной прихода
По отделению сирот!

* * *

Провинция — огромное *bébé!*
Всё тащит в рот и ртом соображает,
И ест упорно, если подмечает
Три важных буквы: С.П.Б.

* * *

Фавн краснолицый! По возрасту ты не старик!
С жидкой бородкой, в костюме помятом...
Точно: свидетельства есть по антикам, хоть ты не антик,
Сходства меж пьяным Силеном и мертвым Сократом...
Правда и то, что заметил тебя Мефистофель!
Может, в тебя воплотится — нашел бы занятность? —
Но Мефистофель — вполне джентльмен! Тонкий профиль!
И до смешного, мой друг, уважает опрятность...

* * *

Вот Новый год нам святцы принесли.
Повсюду празднуют минуту наступленья,
Молебны служат, будто бы ушли
От зла, печали, мора, потопленья!
И в будущем году помолятся опять,
И будет новый год им новою обидой...
Что, если бы встречать
Иначе: панихидой?

* * *

Я сказал ей: тротуары грязны,
Небо мрачно, все уныло ходят...
Я сказал, что дни однообразны
И тоску на сердце мне наводят,
Что балы, театры — надоели...
«Неужели?»

Я сказал, что в городе холера,
Те — скончались, эти — умирают...
Что у нас поэзия — афера,
Что таланты в пьянстве погибают,
Что в России жизнь идет без цели...
«Неужели?»

Я сказал: ваш брат идет стреляться,
Он бесчестен, предался пороку...
Я сказал, прося не испугаться:
Ваш отец скончался! Ночью к сроку
Доктора приехать не успели...
«Неужели?»

* * *

Свобода торговли, опека торговли —
Два разные способа травли и ловли:
Всегда по закону, в угоду купцу,
Стригут, так иль этак, всё ту же овцу.

* * *

Каких-нибудь пять-шесть дежурных фраз;
Враждебных клик наскучившие схватки;
То жар, то холод вечной лихорадки,
Здесь — рана, там — излом, а тут — подбитый глаз!
Талантики случайных содержаний,
Людишки, трепетно вертящие хвосты
В минуты искренних, почтительных лизаний
И в обожании хулы и клеветы;
На говор похвалы наставленные уши;
Во всех казнах заложенные души;
Дела, затеянные в пьянстве иль в бреду,
С болезнью дряхлых тел в ладу...
Всё это с примесью старинных, пошлых шуток,
С унылым пеньем панихид, —
Вот проявленья каждых суток,
Любезной жизни милый вид...

БАЛЛАДЫ, ФАНТАЗИИ И СКАЗЫ

СТАТУЯ

П. В. Быкову

Над озером тихим и сонным,
Прозрачен, игрив и певуч,
Сливается с камней на камни
Холодный железистый ключ.

Над ним молодой гладиатор:
Он ранен в тяжелом бою,
Он силится брызнуть водою
В глубокую рану свою.

Как только затеплятся звезды
И ночь величаво сойдет,
Выходят на землю туманы,
Выходит русалка из вод.

И, к статуе грудь прижимая,
Косою ей плечи обвив,
Томится она и вздыхает,
Глубокие очи закрыв.

И видят полночные звезды,
Как просит она у него
Ответа, лобзанья и чувства
И как обнимает его.

И видят полночные звезды
И шепчут двурогой луне,

Как холоден к ней гладиатор
В своем заколдованном сне.

И долго два чудные тела
Белеют над спящей водой...
Лежит неподвижная полночь,
Сверкая алмазной росой;

Сияет торжественно небо,
На землю туманы ползут;
И слышно, как мхи прорастают,
Как сонные травы цветут...

Под утро уходит русалка,
Печальна, бела и бледна,
И, в сонные волны спускаясь,
Глубоко вздыхает она...

ВЕСТАЛКА

В храме пусто. Красным светом
Обливаются колонны,
С тихим треском гаснет пламя
У весталки Гермионы.

И сидит она на камне,
Ничего не замечая,
С плеч долой сползла одежда,
Блещет грудь полунагая.

Бледен лик преображенный,
И глаза ее закрыты,
А коса, сбежав по тоге,
Тихо падает на плиты.

Каждой складкой неподвижна,
Не глядит и не вздыхает;
И на белом изваяньи
Пламя красное играет.

Снится ей покой богатый,
Золоченый и счастливый;
На широком, пышном ложе
Дремлет юноша красивый.

В ноги сбито покрывало,
Жмут докучные повязки,
Дышат свежестью и силой
Все черты его и краски...

Снится ей народ и площадь,
Снятся ликторы, эдилы,
Шум и клики, — мрак, молчанье
И тяжелый гнет могилы...

В храме пусто... Гаснет пламя!
Чуть виднеются колонны...
Веста! Веста! Пощади же
Сон весталки Гермионы!..

МЕМФИССКИЙ ЖРЕЦ

Когда я был жрецом Мемфиса
Тридцатый год,
Меня пророком Озириса
Признал народ.

Мне дали жезл и колесницу,
Воздвигли храм;
Мне дали стражу, дали жрицу —
Причли к богам.

Во мне народ искал защиты
От зол и бед;
Но страсть зажгла мои ланиты
На старость лет.

Клянусь! Клянусь бессмертным Фтою, —
Широкий Нил,
Такой красы своей волною
Ты не поил!..

Когда, молясь, она стояла
У алтаря
И красным светом обливала
Ее заря;

Когда, склонив свои ресницы,
И вся в огне,
Она по долгу первой жрицы
Кадила мне...

Я долго думал: царь по власти,
Я господин
Своей тоски и мощной страсти,
Моих седин;

Но я признал, блестя в короне,
С жезлом в руке,
Свой приговор в ее поклоне,
В моей тоске.

Раз, службу в храме совершая,
Устав молчать,
Я, перстень свой сронив вставая,
Велел поднять.

Я ей сказал: «К началу ночи
Взойдет звезда,
Все лягут спать; завесив очи —
Придешь сюда».

Заря, кончаясь, трепетала
И умерла,
А ночь с востока набегала —
Пышна, светла.

И, купы звезд в себе качая,
Зажегся Нил;
В своих садах, благоухая,
Мемфис почил.

Я в храм пришел. Я ждал свиданья,
И долго ждал;
Горела кровь огнем желанья, —
Я изнывал.

Зажглась румяная денница,
И ночь прошла;
Проснулась шумная столица, —
Ты не была...

Тогда, назавтра, в жертву мщенью,
Я, как пророк,
Тяжелой пытке и сожженью
Ее обрек...

И я смотрел, как исполнялся
Мой приговор
И как, обуглясь, рассыпался
Ее костер!

ИФИМЕДИЯ

В роще дубовой, в соседстве Эвбейского моря,
Жил с молодою женою, без слез и без горя,
Старый Алоэ. Жену Ифимедией звали...
Каждое утро, пока все домашние спали, —
Крепче других спал Алоэ, — она уходила
К близкому морю; служанка ковер приносила,
Масла, духи. Ифимедия платье снимала,
Черные длинные косы свои распускала;
Взглядом пугливым кругом побережье окинув,
В утреннем ветре от проспанной ночи остынув,
В воду входила; черпнувши, дрожа, обливалась
И, осторожно по камням пройдясь, погружалась...
Старый Нептун приходился ей дедом. В те годы
Боги сближались с людьми; допускались разводы;
Чаще без них обходились и брачной постели
Не сторожили, как мы, а сквозь пальцы глядели.
Бог и властитель пучины, объезд совершая,
Мелких чиновников моря, тритонов пугая,

Многих кувыркая в воду, другим в назиданье,
Часто повадился к внучке ходить на купанье.
Бедная долго понять не могла: неги полны,
Что говорят и чего добиваются волны?
Но наконец поняла; а поняв — полюбила;
Каждое, каждое утро купаться ходила!
Море в себя принимало ее... Что же проще?
Ну, уж и нравилось это дриадам в той роще!...
Старый Алоэ, проснувшись, глаза протирая,
Вздумал взглянуть на жену. Он оделся, зевая,
Вышел, глядит: с набегающей пеною споря,
Бьет Ифимедия волны упрямого моря,
Реже, слабеет, неровно и трепетно дышит...
Море, поднявши ее над собою, колышет...
Долго старик любовался, глядел, улыбнулся
И, глубоко осчастливленный, к дому вернулся!

НА РАСКОПКАХ

Там, где царил Приам над Троею богатой, —
Могучим очерком рисуясь при луне,
Разбужено киркой, встревожено лопатой,
Виденье Гектора явилося ко мне.

Кругом пахучий хлам... На пепелище старом
Неслышной поступью бродила грустно тень
Вдоль обгорелых стен, расписанных пожаром,
И у развалины присела на ступень.

Молчат кирка и лом; вдали слышны шакалы;
Земля, разрытая, нагревом дня тепла;
И спят рабочие, улегшись на отвалы,
И тихо искрится в зеленом свете мгла.

И Гектор был один! И слухом раздраженным,
Не успокоенным могилою ничуть,
Он слышит копий свист, по шлемам позлащенным
Стук бронзовых мечей, удары их о грудь.

И Гектор думает: «О, мелочность людская,
Грабеж, допущенный в обители гробов!
Труд святотатственный! В вас жизнь, оскудевая,
Себе отыскивает в рухляди — обнов!

Сама лишенная простых и чистых красок,
Она их ищет там, где мир загробный спит,
И холод золота могильных наших масок
Им теплым кажется и пламенем горит!

Когда отроют их средь будущей пустыни,
Сменившей торжище, потомки не найдут
Ни неосмеянной во времени святыни,
Ни успокоенных в художестве минут.

Найдут осколки, лом без смысла и значенья,
Найдут могучий слой неведомых кладбищ;
Он возникал у них, лишенный попеченья,
Он будет, как они, глубоко пуст и нищ!»

И молча встала тень и обошла окопы...
Затеплилась заря в сияньях золотых,
И начали опять работать землекопы,
Тревожа мир теней для прибылей своих...

МЕРТВЫЕ БОГИ

И. П. Архипову

Тихо раздвинув ресницы, как глаз бесконечный,
Смотрит на синее небо земля полуночи.
Все свои звезды затеплило чудное небо.
Месяц серебряный крадется тихо по звездам...
Свету-то, свету! Мерцает окованный воздух;
Дремлет увла́женный лес, пересыпан лучами!
Будто из мрамора или из кости сложившись,
Мчатся высокие, изжелта-белые тучи;
Месяц, ныряя за их набежавшие гряды,
Золотом режет и яркой каймою каймит их!

Это не тучи! О нет! На ветра́х полуночи,
С гор скандинавских, со льдов Ледовитого моря,
С Ганга и Нила, из мощных лесов Миссисипи,
В лунных лучах налетают отжившие боги!
Тучами кажутся их непомерные тени,
Очи закрыты, опущены длинные веки,
Низко осели на царственных лицах короны,
Белые саваны медленно вьются по ветру,
В скорбном молчании шествуют мертвые боги!..

Как не заметить тебя, властелина Валгаллы?
Мрачен, как север, твой облик, Оден седовласый!
Виден и меч твой и щит; на иззубренном шлеме
Светлою искрой пылает звезда полуночи;
Тихо склонил ты, развенчанный, белое темя,
Дряхлой рукой заслонился от лунного света,
А на плечах богатырских несешь ты лопату!
Уж не могилу ли станешь копать, седовласый?
В небе копаться и рыться, старик, запрещают...
Да и идет ли маститому богу лопата?

Ты ли, утопленник, сросшись осколками, снова
Мчишься по синему небу, Перун златоусый?
Как же обтер тебя, бедного, Днепр мутноводный?
Светятся звезды сквозь беднопрозрачное тело;
Длинные пальцы как будто ногтями расплылись...
Бедный Перун! Посмотри: ведь ты тащишь кастрюлю!
Разве припомнил былые пиры да попойки
В гридницах княжьих, на княжьих дворах и охотах?
Полно, довольно, бросай ты кастрюлю на землю;
Жителям неба далекого пищи не надо,
Да и растут ли на небе припасы для кухни?

Как не узнать мне тебя, громовержец Юпитер?
Будто на троне сидишь ты на всклоченной туче;
Мрачные думы лежат по глубоким морщинам;
Чуется снизу, какой ты холодный и мертвый!
Нет ни орла при тебе, ни небесного грома;
Мчится, насупясь, твоя меловая фигура,
А на коленях качается детская люлька!
Бедный Юпитер! За сотни прожи́тых столетий

В выси небесной, за детски невинные шашни,
Кажется, должен ты нянчить своих ребятишек;
В розгу разросся давно обессиленный скипетр...
Разве и в небе полезны и люлька, и розги?

Много еще проносилось богов и божочков,
Мертвые боги — с богами, готовыми к смерти.
Мчались на сфинксах двурогие боги Египта,
В лотосах белых качался таинственный Ви́шну,
Кучей летели стозубые боги Сибири,
В чубах китайцев покоился Ли безобразный!
Пальмы и сосны, верблюды, брамины и маги,
Скальды, друиды, слоны, бердыши, крокодилы,
Дружно сплотившись и крепко насев друг на друга,
Плыли по небу одною великою тучей...

Чья ж это тень одиноко скользит над землею,
Вслед за богами, как будто богам непричастна,
Но, несомненней, чем все остальные, — богиня!
Тень одинокая, женщина без одеянья,
Вся неприветному холоду ночи открыта?!
Лик обратив к небесам, чуть откинувшись навзничь,
За спину руки подняв в безграничной истоме,
Грудью роскошною в полном свету проступая,
Движешься ты, дуновением ветра гонима...

Кто ты, прекрасная? О, отвечай поскорее!
Ты, Афродита, Астарта? Те обе — старухи,
Смяты страстями, бледны, безволосы, беззубы...
Где им, старухам! Скажи мне, зачем ты печальна,
Что в тебе ноет и чем ты страдаешь так сильно?
Может быть, стыдно тебе пролетать без одежды?
Может быть, холодно? Может быть... Слушай, виденье,
Ты — красота! Ты одна в сонме мертвых, живая,
Обликом дивным понятна; без имени, правда!
Вечная, всюду бессмертная, та же повсюду,
В трепете страсти издревле знакомая миру...
Слушай, спустись! На земле тебе лучше; ты ближе
Людям, чем мертвым богам в голубом поднебесье:
Боги состарились, ты — молода и прекрасна;
Боги бессильны, а ты, ты в избытке желаний,
Млеешь мучительно, в свете луны продвигаясь!

В небе нет юности, юность земле лишь доступна;
Храмы сердец молодых — ее вечные храмы,
Вечного пламени — вспышки огней одиночных!
Только погаснут одни, уж другие пылают...
Брось ты умерших богов, опускайся на землю,
В юность земли, не найдя этой юности в небе!
Боги тебя недостойны — им нет обновленья.

Дрогнула тень, и забегали полосы света;
Тихо качнулись и тронулись белые лики,
Их бессердечные груди мгновенно зарделись;
Глянула краска на бледных, изношенных лицах,
Стали слоиться, твой девственный лик сокрушая,
Приняли быстро в себя, отпустить не решившись!
Ты же, прекрасная, скрывшись из глаз, не исчезла —
Пала на землю пылающей ярко росою,
В каждой росинке тревожно дрожишь ты и млеешь,
Чуткому чувству понятна, без имени, правда,
Вечно присуща и всё-таки неуловима...

ЛЮДСКИЕ ВЗДОХИ

Когда в час полуночный люди все спят,
И светлые звезды на землю глядят,

И месяц высокий, дробясь серебром,
В полях выстилает ковер за ковром,

И тени в причудливых гранях своих
Лежат, повалившись одни на других;

Когда в неподвижно сверкающий лес
Спускаются росы с высоких небес,

И белые тучи по небу плывут,
И горные кручи в туманах встают, —

Легки и воздушны в сияньи лучей,
На игры слетаются вздохи людей;

И в образах легких, светясь красотой,
Бесплотно рожденные светом и тьмой,

Они вереницей, незримо для нас,
Наш мир облетают в полуночный час.

С душистых сиреней, с ясминных кустов,
С бессонного ока, с могильных крестов,

С горящего сном молодого лица,
С опущенных век старика мертвеца,

Со слез, ускользающих в лунном свету,
Они собирают лучи на лету;

Собравши, венцы золотые плетут,
По спящему миру тревожно снуют

И гибнут под утро, при первых лучах,
С венцами на ликах, с мольбой на устах.

ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ

В лесах алоэ и араукарий,
В густой листве бананов и мимоз —
Следы развалин; к ним факир и парий
Порой идут, цепляясь в кущах роз.

Людские лики в камнях проступают,
Ряды богов поверженных глядят!
На страже — змеи! Видимы бывают,
Когда их гнезда люди всполошат.

Зловещий свист идет тогда отвсюду;
Играют камни медной чешуей!
Спеши назад! Не то случиться худу:
Нарушил ты обещанный покой.

Покой! Покой!.. Когда-то тут играла
Людских судеб блестящая волна,
Любовью билась, арфами звучала
И орошалась пурпуром вина.

Свободны были мыслей кругозоры,
Не знала страсть запретного плода,
И мощный царь — жрецов вещали хоры —
Мог с божеством поспорить иногда...

Каких чудес дворцы его не знали
В волшебных снах чарующих ночей!
Каких красот в себе не отражали
Часы любви во тьме его очей!

Раз было так: чуть занялась денница,
Полночный пир, смолкая, утихал,
Забылась сном на львиной шкуре жрица,
Верховный жрец последним отплясал.

Еще с утра, с нарочными гонцами,
Проведал царь победу над врагом.
Последний враг! Царь — старший над царями!
Он делит землю только с божеством!

Погасло в нем последнее желанье,
Смутился дух свободой без границ...
И долго царь глядел на пированье
Сквозь полутень опущенных ресниц.

«Ко мне, мой сын!» И до царева ложа,
На утре дней в лучах зари горя,
По ступеням, дремавших не тревожа,
Подходит робко первенец царя.

И царь, приняв от сына поклоненье,
Заре навстречу, звукам арфы вслед,
В словах негромких, будто дуновенье,
Вещал ему последний свой завет:

«Когда мой час неведомый настанет,
И сквозь огонь и ароматы смол
Свободный дух в немую вечность канет,
Приемлешь ты в наследие престол.

Свершив обряд, предав меня сожженью,
Как быть должно́ по старой старине,
Ты этот город обратишь к забвенью,
Построишь новый, дальше, в стороне, —

Чтоб тишина навеки водворилась
Здесь, где замкнет мне смерть мои уста,
Чтоб в ходе лет здесь вновь не зародилась
Людских деяний вечная тщета...

Чтоб никогда ни клики поминанья,
Ни звук молитв в кладбищенской тиши
Не нарушали тихого блужданья,
Свободных снов живой моей души.

Я так устал, я так ищу покоя,
Что даже мысль о полной тишине
Дороже мне всего земного строя
И всех других ясней, понятней мне...»

И божество завет тот услыхало
И, смерть послав мгновенную царю,
В порядке стройном тихо обращало
В палящий день прохладную зарю.

И далеко от этих мест отхлынул
Людских страстей живой круговорот,
Роскошный лес живую чашу сдвинул,
И этих мест чуждается народ.

Змеиный свист здесь слышен отовсюду,
Сверкают камни медной чешуей.
Спеши назад! Не то случиться худу:
Нарушил ты обещанный покой.

БРАВИ

Д. П. Сапиенце

Я был уда́лым молодцом!
Неслись со струн моей гитары
Любви и молодости чары.
Я был удалым молодцом!

О мне в стенах монастырей
Идет молва, разводят лясы,
И крупный смех колеблет рясы
Святых отцов и матерей.

Не раз гонялися за мной.
Смущались поисками сбиры;
Меняя вслед за мной квартиры,
Не раз гонялися за мной.

В изображении сожгли
Меня, не могши взять в натуре!
То был позор прокуратуре:
В изображении сожгли!

Я знал, где судьям путь лежал, —
Пошел на станцию возницей;
Со мной кто ехал — мчался птицей!
Я знал, где судьям путь лежал...

И помню я, как я их вез.
Дорога кручами бежала.
Они не чуяли нимало,
Зачем, куда и кто их вез.

И обо мне их речь была.
Молчу и слышу за спиною —
Толкуют: как им быть со мною?
Их откровенна речь была...

Узнал я, кто меня продаст,
Какую он получит цену
По уговору за измену, —
Узнал я, кто меня продаст.

Узнал! Но вот изгиб пути.
Над темной кручею обвала
Дорога резкий круг давала,
Чуть означался край пути.

А судьи ту же речь ведут...
Я обернулся к ним: «Синьоры!
Недаром славны наши горы:
Ведь это я, синьоры, тут!»

Мне не забыть их глупых глаз,
Что вдруг расширились не в меру!
Я разогнал коней к барьеру,
Бичом хватил их в самый раз,

Пустил из рук весь ком вожжей...
Прыжок к скале... Что дальше было,
Как их по кручам вниз дробило, —
Не видел... Жалко мне коней!

Да, был я бравым молодцом!
Неслись со струн моей гитары
Любви и молодости чары...
Да, был я бравым молодцом!

ГОРЯЩИЙ ЛЕС

Л. Б. Вейнбергу

Еду я сквозь гарь лесную
В полночь. Жар палит меня;
Страх какой-то в сердце чую,
Ясно слышу дрожь коня.

По пожарищу заметны
Чудищ огненных черты, —
Безобразны, злы, несметны,
Полны дикой красоты;

Заплетаются хвостами,
Вдоль дымящихся корней
Вьются, щелкают зубами
И трещат из дымных пней.

Пламя близко подступает,
Жар лицо мое палит,
Ум мутится, мысль блуждает, —
Будто тлеет и дымит!

Слышу сказочные были...
Речь идет о чудесах...
Уж не тризну ль тут творили,
Сожигая царский прах?

Мнится: в утренней прохладе
На кровати расписной
Царь лежит в большом наряде,
Стиснув меч своей рукой.

Очи мгла запечатлела,
Исказила смерть черты;
На поленницах, вкруг тела,
В груды сложены щиты,

Копья, цепи, луки, брони,
Шкур мохнатые ковры,
В ночь зарезанные кони,
Круторогие туры́,

Гусли, бронзовые би́ла
И труба, что в бой звала,
И ладья, что с ним ходила,
И жена, что с ним жила...

Всё сгорело! Стало тише...
След дружинников исчез...
От могильника, всё выше,
Стал пылать дремучий лес;

Бьется красными волнами,
Лижет тучи в небесах
И царя, с его делами,
Развевает в дым и прах;

Полон ратью огневою
Чудищ в облаках людских,
Он в погоню шлет за мною
Бестелесных чад своих!

Конь мой мчится, лес мелькает,
Жар сильней, душнее гарь!
Слышу, слышу: окликает,
Нагоняет мертвый царь!

Он, как я, в седле высоком,
Но на огненном коне,
Близко чуется под боком,
Жмется стременем ко мне;

Говорит мне: «Гость желанный,
Улетим, отбросив страх,
К той стране обетованной,
Где журчат ручьи в лугах,

Где, познав любовь фиалки,
Ландыш, что ни ночь, бледней,
Где красавицы русалки
Ждут таких, как ты, гостей, —

Где под светом влаги синей
Много звезд морских цветет,
Лес кораллов, бел как иней,
Отеняя их, растет;

Где под тихой глубиною
Даже солнца мощный лик,
Охлаждаемый волною,
Светит скромен, невелик;

Там, поющим струйкам вторя,
Будешь ты, как струйка, петь
И о жизни, полной горя,
Не захочешь пожалеть!..

О, поверь мне! Смерть прекрасна,
Смерть приветлива, нежна,
Только с виду самовластна,
И костлява, и страшна...»

Шепчет царь еще мне что-то...
Мчимся мы по жердняку;
Различаю я болото...
Вижу сонную реку...

Сгинул царь! В борьбе с трясиной
Стал пожар и шлет за мной,
В темень ночи воробьиной,
Дым, как пламя огневой...

ПЕТР I НА КАНАЛАХ

Как по шпилям, верхам, шатровым куполам
　　Летним утром огонь разгорался!
Собирался царь Петр в самый мирный поход
　　И с женой Катериной прощался:

«Будь здорова, жена! Не грусти, что одна;
　　Много, видишь, каналов готово;
Еду их осмотреть, чтоб работе спореть...
　　Напиши, если что... Будь здорова!»

Глухо дебри лежат, над болотами спят...
　　Много дела — да силы-то малы!
Надо дебрь разбудить, чтоб ей тоже служить...
　　Пусть, мол, глянут по дебри каналы!

Где в колесном возке, где на бодром коне
Едет царь вековыми лесами;
Изучает страну, во всю ширь и длину
Наблюдает своими очами...

«Надо, надо взглянуть! Норовят все надуть!
Может, даже совсем не копают?
Поглядишь — простецы эти жмоты-купцы!
А где страху им нет — надувают!»

День за ночью идет, потеряешь им счет,
Если ехать судьба без дороги!
Вот каналы пошли и блестят вдоль земли.
А землянки людей что берлоги.

И куда ни взгляни, только щепки, да пни,
Да отвалы идут земляные!
Гонит царская мочь, гонит пролежни прочь
Со здорового тела России.

Близок царь! Весть бежит! Привирает, мутит
И повсюду царя упреждает...
Призадумался вор! Царь-то больно востер!
Знаем, как, если нужно, кончает!

«Ой, уж как-то нам быть? Как нужде пособить?
Ведь не вырыто нами и трети
Из того, что должнó?.. Умирать суждено...
Стукнет, гикнет: «А нуте-ка, дети!»

Нет, родные, шабáш, чуть появится наш!
Разве, братцы, на хитрость пуститься?
Землю вырыть в длину, подогнать в ширину, —
Остальное потом углубится!»

Собирался весь скоп. Повалил землекоп.
Уж платили-то, знатно платили!
И каналы прошли как им быть вдоль земли,
Провели и воды напустили...

Яркий вечер горит, густо дебрь золотит,
И у самой у крайней лопаты
Царь с дубинкой в руке, в распашном армяке,
Поверяет работы и платы.

И как в небе заря — так лицо у царя
Всё сияет! Он жалует смехом!
И уж радостен он, и уж как подарен
Неожиданным вовсе успехом!

А поодаль стоит молчаливый синклит
Хитрецов, мудрецов на захваты!
«Уж вот на! Удалось! У Петра сорвалось!
Не замай наших! Мы ли не хваты!»

Не пылать бы заре! Не блестеть бы воде!
Не валиться бы на воду мошкам!
Не казну б воровать, не Петра надувать,
Не подменивать блюда лукошком!

Головой царь поник... Потемнел его лик...
Дума черная радость хоронит...
«Отчего тут вода, — вздумал царь, — не туда,
Куда надо бы ей, мошку гонит?»

По откосу долой сходит тяжкой стопой
И, к воде подошедши, нагнулся,
И дубинку воткнул... Чуть конец затонул...
Подождал это царь... Оглянулся!..

Ох! Не небу гореть! Не царю бы краснеть!
Все, бледнея, молчанье хранили...
А из царских очей, звезд вечерних ярчей,
Две слезы, две слезы проступили...

Ну, а там по пятам, в поученье ворам,
Как должно́, принялись за расправу...
Прав был вор, говоря про обычай царя:
Сокрушит, если что не по нраву!

О ПЕРВОМ СОЛДАТЕ

(Песня Семеновского полка)

Дело было очень просто:
Первый жил солдат Бухвостов
Двести лет назад;
С ним Петровская бригада
Народилась из наряда,
Стала в первый ряд!
Непригожи были, ма́лы,
Фузеи́ да самопалы,
Увалень — народ!
Ну, а всё же с тем народом
Вышли первым мы походом
В Кожухов поход.
У стрельцов поднялись смехи
От кожуховской потехи;
Стрелец говорит:
«Сочинитель всех затеев
Бомбардир Петр Алексеев —
Чудеса творит!»
И потешные чудили!
Артику́л, устав учили,
Брали крепостцы,
А как было всё готово,
Очутились у Азова, —
Вот так молодцы!
Стрельцы видят, осерчали,
Петру смертью угрожали;
Царь заговорил:
«Ну-ка, вы, моя пехота,
Вы птенцы, души забота,
Я ль вас не любил!
Не пора ли кончить разом,
Чтобы был конец проказам,
Козням старины!»
Петр сказал... Замолкли шашни...
Мало ль что видали башни
Кремлевской стены?!
Лиху было не до смеха!
Росла царская потеха,
Росла божья рать!

И задумал король шведский
Рост потехи молодецкой,
    Русский рост унять!
Сам он был малоголовый,
Шустрый, вострый и толковый, —
    Дал Полтавский бой!
Лейб-гвардейцы были точны,
Гнали до Переволочны
    Их перед собой...
Порешив Ништацким миром,
Занялись гвардейцы пиром, —
    Горевал сосед!
Заварили браги, бражки
В честь Хмельницкого Ивашки,
    Праздник делу вслед.
Петр тогда болота вытер
И поставил город Питер
    Двести лет назад...
Вот как было дело просто
С той поры, как жил Бухвостов,
    Первый наш солдат!

О ЦАРЕВИЧЕ АЛЕКСЕЕ

Было то в стране далекой,
Лет, без малого, чай, двести!..
На поморье калабрийском,
Где на самом видном месте
Город есть, Бари́ зовется,
Льнущий к морю, как к невесте, —
Ясным утром, очень рано,
По обету и по чести,

К Николаю-чудотворцу,
Мирликийскому святому,
Караван тащился русский,
А вести пришлось Толстому.
Из Сент-Эльмской цитадели
Дали крюк! Жаль, по-пустому:
Приближаться б им скорее
Ближе к дому, ближе к дому...

Дом тот — крепость в Петербурге,
Еле конченная кладкой;
Казематы чуть просохли;
Появились для порядка
Царства нового, Петрова...
В царстве — точно лихорадка!
Глухо ходит недовольство
И с Петром играет в прятки.

Во Владимире на Клязьме
В ночь к царице Евдокии
Ходят в келью скрытно, тайно
Люди всякие лихие:
На царя куют оковы,
На погибель всей России,
Ходит Глебов с Досифеем,
Лопухин, еще другие!

Извести Петра им надо,
Извести его скорее!
Их надежды, все надежды
В царском сыне Алексее!
Воцарится — уничтожит
Всех замеченных в затеях,
Иностранцев гладко бритых,
Щеголяющих в ливреях!

Потому: царевич — постник,
Вырос в строгом, древнем чине,
Мыт и чесан по закону,
Бабьей ласкою, и ныне
Он союзников вербует
На подмогу на чужбине...
Все надежды, все надежды
В Алексее, царском сыне!

К Николаю-чудотворцу
Караван его подходит...
Взгляд царевича больного
Неспокойно, робко бродит;
Он с чухонки Ефросиньи
Тусклых глаз своих не сводит!

Ей одной живет и дышит,
Раскрасавицей находит.

Удивились в храме лики
Византийских преподобных,
Увидав впервые русских,
Кое в чем себе подобных,
Хоть и в платьях непривычных,
Узких, куцых, неудобных;
Больше всех дивил царевич
Взглядом глаз пугливо-злобных!

И царевич с Ефросиньей
Долго рядышком молились,
И, пожертвовав на церковь,
В дальний путь домой пустились;
Путешествия в те годы
Часто месяцами длились...
Обещал им Петр прощенье,
Лишь бы только возвратились!

Не прошло и полугода, —
Над Невою, в каземате,
Над царевичем шли пытки,
Не в застенке — при палате;
Потянули всяких грешных
К объясненью и расплате...
Мало ль что у нас бывало
С краю света, в нашей хате!

«Замышлял ли ты, царевич,
Погубить дела Петровы
И разрушить в государстве
Все великие основы?
Ты ковал ли на Россию
В иностранных царствах ковы?
Были ль на цареубийство
Заговорщики готовы?»

Отвечал царевич смутно
Околесные признанья...

Обратились к Ефросинье, —
Поддалась на увещанья!
Всё открыла: как, что было,
В чем имелись ожиданья,
Всё, что ей царевич выдал
Темной ночью, в час лобзанья!

Черной рабскою душою
Продала, кого любила!
Жизнь не раз уже рабами
Предстоявшим рабству мстила...
Собрал Петр большую думу,
И та дума порешила:
Казни заслужил царевич, —
И не трон ему — могила!..

А уж что за это время
Петр испытывал — словами
Передать нельзя! В грядущем
Дальнозоркими очами
Уж чего не прозревал он?
Говорят, что он часами
Неподвижен, недоступен,
Одержим был столбняками!

Не для сладких сантиментов,
Не для временной забавы
Из своих тесал он мыслей
Основания державы!
Неспроста стрельцов сгубил он
В разливной крови расправы,
И на дыбу гнал крамолу,
Ассамблеей гладил нравы!

«Погубить ли мне Россию
Или сына? — Бог с ним, с сыном!..»
И поставлен Петр Великий
Над другими исполином!
Как его, гиганта, мерить
Нашим маленьким аршином?
Где судить траве о тыне,
Разрастаясь по-над тыном?

НОВГОРОДСКОЕ ПРЕДАНИЕ

Да, были казни над народом...
Уж шесть недель горят концы!
Назад в Москву свою походом
Собрались царские стрельцы.

Смешить народ оцепенелый
Иван епископа послал,
Чтоб, на кобылке сидя белой,
Он в бубны бил и забавлял.

И новгородцы, не переча,
Глядели бледною толпой,
Как медный колокол с их веча
По воле царской снят долой!

Сияет копий лес колючий,
Повозку царскую везут;
За нею колокол певучий
На жердях гнущихся несут.

Холмы и топи! Глушь лесная!
И ту размыло... Как тут быть?
И царь, добравшись до Валдая,
Приказ дал: колокол разбить.

Разбили колокол, разбили!..
Сгребли валдайцы медный сор,
И колокольчики отлили,
И отливают до сих пор...

И, быль старинную вещая,
В тиши степей, в глуши лесной,
Тот колокольчик, изнывая,
Гудит и бьется под дугой!..

ВИТЯЗЬ

Вышел витязь на поляну;
Конь тяжелый в поводу...
«Где, мол, быть беде, изъяну,
Я туда теперь пойду.
Там, где в тучах за морями
Мучит деву Черномор;
Злыми где богатырями
Полон темный, темный бор;
Где недобрый царь изводит
Войско доброго царя;
Аспид-змей по людям ходит,
Ядом жжет и душит зря, —
Там нужда в моей защите...»
Смотрит витязь: старичок
Вдруг предстал! В помятой свите,
Желт, морщинист, как сморчок;
Сгорблен долгими годами,
Очи востры, нос крючком,
Борода висит клоками,
Словно сбита колтуном.
«Здравствуй, витязь! Ты отколе,
А еще верней: куда?!»
— «Погулять хочу на воле,
Посоветуй, борода!»
— «Про какую ж это волю
Ты задумал погулять?»
— «Злым я людям не мирволю!
Черномора б мне сыскать!
От него спасу девицу!
Злого змея поборю
И отдам свою десницу
В помощь доброму царю!»
— «Значит, ищешь Черномора?
Да какой же он на вид?
Много, знать, в тебе задора,
Сильно кровь в тебе кипит!
Ну, да быть тебе с победой,
И прославишься ты въявь!»
— «Старче! Знаешь что — поведай?
Силу витязя направь!»

— «Что ж, могу...»

И начал старче
Мира зло перечислять...
Что ни сказ, то лучше, ярче...
Мастер был живописать!
Говорит ему день целый,
И другой он говорит...
Витязь, словно очумелый,
Жадно слушает, молчит!
Созерцает он крамолу,
Дерзость мерзости людской,
Опустил он очи долу
И поникнул головой...
И туда бы, значит, надо,
И туда, и там беда!
И, своим рассказам рада,
Продолжает борода...
Есть бы нужно! Выпить в пору!
И давно уж время в путь!
Больше в рóссказнях задору,
Не кончаются ничуть!
Конь издох — лежит стреножен;
Точит ржавчина копье!
Меч глядит из ветхих ножен, —
Борода же всё свое.
Витязь повести внимает...

Говорят, что до сих пор
Выйти в путь ему мешает
И морочит — Черномор!

КАМЕННЫЕ БАБЫ

На безлесном нашем юге,
　　На степных холмах,
Дремлют каменные бабы
　　С чарками в руках.

Ветер, степью пролетая,
　　Клонит ковыли,

Бабам сказывает в сказках
Чудеса земли...

Как на севере, далеко,
На мохнатых псах,
Даже летом и без снега
Ездят на санях.

Как у нас в речных лиманах
Столько, столько рыб,
Что и ангелы господни
Счесть их не могли б.

Как живут у нас калмыки,
В странах кумыса́,
Скулы толсты, очи узки,
Редки волоса;

Подле них живут татары,
Выбритый народ;
Каждый жен своих имеет,
Молится — поет.

Как, в надежде всепрощенья,
Каясь во грехах,
Много стариц ждут спасенья
В дебрях и скитах;

Как, случается порою,
Даже до сих пор,
Вдруг поймают люди ведьму —
Да и на костер...

Как, хоть редко, но бывает:
Точно осовев,
Бабу с бабой повенчают,
Лиц не доглядев...

Как живых людей хоронят:
Было, знать, село,
Да по бабью слову скрылось,
Под землю ушло...

Слышат каменные бабы
С чарками в руках,
Что им сказывает ветер,
Рея в ковылях!

И на сладкий зов новинки
Шлют они за ним
За песчинками песчинки...
И пройдут, как дым!

—

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ВДОВА

М. Н. Журавлеву

В людях святки и веселье!
Щиплет уши, щиплет нос,
С гололедицей-шутихой
Потешается мороз!

Валит девок, валит парней
И сбивает с ног коней!..
Царство шуток, скоморохов,
Царство святочных теней!

Было то почти недавно;
Там, где путь идет в Сибирь,
Раз жила-была вдовица,
Ростом, силой — богатырь.

Городишко был заштатный;
В городишке — становой;
И подбей его лукавый
Приударить за вдовой.

Вот приносит он подарки,
Те подарки хороши,
И ведет такие речи:
«Полюби, мол, не круши!»

«Ты — такая да сякая,
Захоти лишь — всё твое!

Нынче святки и ряжёнье...»
— «А жена?!» — «Да ну ее...»

Говорит ему вдовица:
«Ой, не ба́луй, не идет!
Не отстанешь, не уймешься —
Насмешу тобой народ».

— «Насмешишь? Рехнулась баба!
Я ведь, знаешь, всё могу...
Кума-радость, королева...
Только, слушай: ни гу-гу!..

Что за плечи?» — «Тьфу! проклятый...»
— «Что за...» — «Слушай: не замай!..»
— «Хочешь денег, хочешь платья,
Кума-радость, отвечай?»

Вдруг погасли в окнах свечи...
Стук раздался за стеной...
По́мнят люди, как вдовицей
Был спеленат становой;

Как лежал он у острога,
Созерцая небеса, —
Как до утра леденели
Два колючие уса́;

Как великому ряженью,
Учиненному вдовой,
Позже больше всех смеялся
Сам добрейший становой...

ЦЕРКОВНЫЙ СТОРОЖ

Ладно! Я тащить готов
И кадило, и покров...

Только выпью вот вперед:
Сухость горло мне дерет!

Нам, церковным сторожам,
Всё ходить по мертвецам...

Слышь: сегодня на заре,
В ближнем доме, во дворе,

Барин пулей лоб разбил!
Сумасшедшим, значит, был...

И велели мне тащить
Обиход, чтоб хоронить.

Мало ль их в столице мрет?
На покой идет народ!

Видел в церкви я у нас,
Чуть есть служба, каждый раз,

Бледнолицую одну...
Как пройду я да взгляну!

Вид-то жалостный такой,
Почитай — что неживой...

Будет скоро ей капут!
Хоронить нас позовут;

Я и к ней, значит, стащу
И кадило, и свещу!..

Рядом с ней стоял порой
Молодец один лихой,

И хоть я и пьян бывал,
Ну, а всё меж них слыхал

Говор этакой... слова...
Шепотом... едва-едва!..

А вчера вот, в первый раз,
В несуразный, значит, час,

В храм пришли... Ну, невзначай
Повстречались, — мне на чай!

Мало ль что известно нам,
Нам, церковным сторожам?

Прихожу, значит, к нему,
Я к убивцу к самому,

Прихожу... ему поклон...
Глянул в лик! Тот самый... он!

Стал он барыне под стать:
Бледный, краски не видать,

Только лоб с угла разбит,
Перевязан и обмыт!

Что за притча! Ой, ой, ой!
Ведь вчера-то был живой!..

СЛУХ

Идет, бредет нелепый Слух
С беззубых ртов седых старух,
Везде пройдет, всё подглядит,
К чему коснется — зачернит;
Тут порычит, там заорет,
Здесь прочихнется, отойдет.
Он, верно, здесь? Посмотришь — нет,
Пропал за ним и дух и след.

А он далеко за глаза
Гудит, как дальняя гроза...
С ним много раз вступали в бой:
Стоит, как витязь он чудной,
Неясен обликом своим,
Громаден, глуп и недвижим;
Сквозь сталь и бронзу шишака,
Сквозь лоб проходят облака!

В нем тела даже вовсе нет:
Сквозит на тень, сквозит на свет!
Ступнями Слух травы не мнет...
Но пусть, кто смелый, нападет:
Что ни удар, что ни рубец, —
Он всё растет и под конец
Подступит вплоть, упрется в грудь,
Не даст и руку замахнуть...

А иногда своих сынков
Напустит Слух, как комаров;
Жужжит и вьется их народ
И лезет в уши, в нос и в рот;
Как ни отмахивай рукой,
Всё тот же шум, всё тот же рой...
А Слух-отец сидит при них,
Читая Жития святых...

ОБЕЗЬЯНА

На небе луна, и кругла и светла,
А звезды — ряды хороводов,
А черные тучи сложились в тела
Больших допотопных уродов.

Одеты поля серебристой росой...
Под белым покровом тумана
Вон дроги несутся дорогой большой, —
На гробе сидит обезьяна.

«Эй! Кто ты, что думаешь ночь запылить,
Коней своих в пену вогна́ла?»
— «Я глупость людскую везу хоронить,
Несусь, чтоб заря не застала!»

— «Но как же, скажи мне, так гроб этот мал!
Не вся же тут глупость людская?
И кто ж хоронить обезьяну послал,
Обрядный закон нарушая?»

— «Я, видишь ли, вовсе не то, чем кажусь:
Я родом великая личность:
У вас философией в мире зовусь,
Порою же просто практичность;

Я некогда в Канте и Фихте жила,
В отце Шопенгауэре ныла,
И Германа Гартмана я родила,
И этим весь свет удивила.

И все эти люди, один по другом,
Все глупость людей хоронили
И думали: будто со мною вдвоем
Ума — что песку навозили.

Ты, чай, не профессор, не из мудрецов,
Сдаешься нехитрым и только:
Хороним мы глупости много веков,
А ум не подрос ни насколько!

И вот почему: чуть начнешь зарывать,
Как гроб уж успел провалиться —
И глупости здешней возможно опять
В Америке, что ли, явиться.

Что ночью схоронят — то выскочит днем;
Тот бросит — а этот находит...
Но ясно — чем царство пространнее, — в нем
Тем более глупостей бродит...»

— «Ах ты, обезьяна! Постой, погоди!
Проклятая ведьма, болтунья!..»
Но дроги неслись далеко впереди
В широком свету полнолунья...

ЗА СЕВЕРНОЙ ДВИНОЮ

(На реке Тойме)

В лесах, замкнувшихся великим, мертвым кругом,
В большой прогалине, и светлой, и живой,
Расчищенной давно и топором, и плугом,
Стою задумчивый над тихою рекой.

Раскинуты вокруг по скатам гор селенья,
На небе облака, что думы на челе,
И сумрак двигает туманные виденья,
И месяц светится в полупрозрачной мгле.

Готовится заснуть спокойная долина;
Кой-где окно избы мерцает огоньком,
И церковь древняя, как облик исполина,
Слоящийся туман пронзила шишаком.

Еще поет рожок последний, замолкая.
В ночи так ясен звук! Тут — люди говорят,
Там — дальний перелив встревоженного лая,
Повсюду — мягкий звон покоящихся стад.

И Тойма тихая, чуть слышными струями,
Блистая искрами серебряной волны,
Свивает легкими, волшебными цепями
С молчаньем вечера мои живые сны.

Край без истории! Край мирного покоя,
Живущий в веяньи родимой старины,
В обычной ясности семейственного строя,
В покорности детей и скромности жены.

Открытый всем страстям суровой непогоды
На мертвом холоде нетающих болот —
Он жил без чаяний мятущейся свободы,
Он не имел рабов, но и не знал господ...

Под вечным бременем работы и терпенья,
Прошел он день за днем далекие века,
Не зная помыслов враждебного стремленья —
Как ты, далекая, спокойная река!..

Но жизнь иных основ, упорно наступая,
Раздвинувши леса, долину обнажит, —
Создаст, как и везде, бытописанья края
И пестрой новизной обильно подарит.

Но будет ли тогда, как и теперь, возможно
Над этой тихою неведомой рекой
Пришельцу отдохнуть так сладко, нетревожно
И так живительно усталою душой?

И будут ли тогда счастливей люди эти,
Что мирно спят теперь, хоть жизнь им не легка?..
Ночь! Стереги их сон! Покойтесь, божьи дети,
Струись, баюкай их, счастливая река!

В ЗАОНЕЖЬЕ

Верст сотни на три одинокий,
Готовясь в дебрях потонуть,
Бежит на север неширокий,
Почти всегда пустынный путь.

Порою, по часам по целым,
Никто не едет, не идет;
Трава под семенем созрелым
Между коле́й его растет.

Унылый край в молчаньи тонет...
И, в звуках медленных, без слов,
Одна лишь проволока стонет
С пронумерованных столбов...

Во имя чьих, каких желаний
Ты здесь, металл, заговорил?
Как непрерывный ряд стенаний,
Твой звук задумчив и уныл!

Каким пророчествам тут сбыться,
Когда, решившись заглянуть,
Жизнь стонет раньше, чем родиться,
И стоном пролагает путь?!.

ЦИНГА

Когда от хлябей и болот
И от гнилых торфяников
Тлетворный дух в ночи идет
В молочных обликах паров

И ищет в избы он пути,
Где человек и желт, и худ,
Где сытых вовсе не найти,
Где вечно впроголодь живут, —

Спешите мимо поскорей,
Идите дальше стороной
И прячьте маленьких детей:
Цинга гуляет над землей!

«Ах, мама! Глянь-ка из окна...
Там кто-то есть, наверно есть!
Вон голова его видна,
Он ищет щелку, чтоб пролезть!

Какой он белый и слепой!..
Он шарит пальцами в стене...
Он копошится за стеной...
Ах, не пускай его ко мне!»

Дитя горит... И сух язык...
Нет больше силы кликнуть мать...
Безмолвный гость к нему приник,
Припал! Дает собой дышать!

Как будто ластится к нему,
Гнетет дитя, раскрыл всего
И, выдыхая гниль и тьму,
Себя он греет об него...

Так, говорят, их много мрет
В лачугах, маленьких детей,—
Там, где живут среди болот,
У корелы́ и лопарей!

НА ВОЛЖСКОЙ ВАТАГЕ

Это на Волге на матушке было!
Солнце за степью в песках заходило.
Я перебрался в лодчонке к рыбацкой ватаге,
С ромом во фляге, —
Думал я, может придется поднесть
Выпить в мою или в ихнюю честь!

Белая отмель верст на пять бежала.
Тут-то в рогожных заслонах ватага стояла.
Сети, длиной чуть не с вёрсту, на древках торчали,
Резко чернея на белом песке, просыхали...
Домик с оконцем стоял переносный;
Края далекого сосны,
Из Ярославля, знать, срубом служили,
Смолы сочили...
Вижу: хозяин стоит; он сказал:
«Ваше степенство, должно быть, случайно попал?
Чай, к пароходу, поди, опоздали,
Заночевали?»
Также сказал, что улов их недурен
И что, хоть месяц был бурен,

Всё же у них .
Рыбин больших
Много в садке шевелится!
Может, хочу убедиться?

В ближнем яру там садок пребольшущий стоял.
Был поделен он на клети; я шесть насчитал;
Где по длине их, а где поперек
Сходни лежали из тонких досок.
Каждая клеть была рыбой полна...
Шумно играла в них рыбья волна!
Стукался толстый лосось и юлила стерлядка;
В звучно плескавшей воде, посреди беспорядка,
Чопорно, в белых тесьмах, проходила севрюга;
«Есть, — говорил мне хозяин, — у нас и белуга!»
Сунул он жердь и по дну поводил,
Поднял белугу! Нас дождь окатил,
Чуть показалась она... Мощным плёсом хлестнула,
Точно дельфин кувырнулась и ко дну юркнула...

Ночь налегла той порой!
Очередной
Сети закидывал; прочие кучей сидели;
Два котелка на треногах кипели;
Яркий огонь по синеющей ночи пылал,
Искры метал...

Разные, пестрые люди в куче столпились...
Были такие, что ближе к огню протеснились;
Были такие, что в мрак уходили, —
Точно они свои лица таили!
«Что его, — думали, — к нам сюда носит?
Ежели вдруг да про пашпорты спросит?
Правда, далеки пески! Не впервой уходить!
Дернула, видно, нелегкая нас посетить!..»

Фляга с ямайским осталася полной при мне:
И повернуть-то ее не пришлось на ремне!
Даже и к слову прийти не пришлось никому;
Был я не пó сердцу волжской ватаге, — видать
по всему!

Выходцем мира иного,
Мало сказать, что чужого...

Только отъехавши с версту от стана,
Лодкой спугнув по пути пеликана, —
Он на волнах уносившейся Волги дремал, —
(Что пеликаны на Волге бывают, того я не знал)
Издали песню я вдруг услыхал хоровую...
В звездную ночь, в голубую,
Цельною шла, не куплет за куплетом, —
Тьму рассекала ночную высоким фальцетом
И, широко размахнув для полета великого крылья,
Вдруг ни на чем обрывалась с бессилья...

Чудная ночь эту песнь подхватила
И в отголосках без счета в безбрежную даль
проводила...

НА ВОЛГЕ

Одним из тех великих чудодействий,
Которыми ты, родина, полна,
В степях песчаных и солончаковых
Струится Волги мутная волна...
С запасом жизни, взятым на дорогу
Из недр глубоких северных болот,
По странам жгучим засухи и зноя
Она в себе громады сил несет!
От дебрей муромских и от скитов раскола,
Пройдя вдоль стен святых монастырей,
Она подходит к капищам, к хурулам
Другого бога и других людей.
Здесь, вдоль песков, окраиной пустыни,
Совсем в виду кочевий калмыков,
Перед лицом блуждающих киргизов,
Питомцев степи и ее ветров, —

Для полноты и резкости сравненья
С младенчеством культуры бытовой, —

Стучат машины высшего давленья
На пароходах с топкой нефтяной.
С роскошных палуб, из кают богатых
В немую ширь пылающих степей
Несется речь проезжих бородатых,
Проезжих бритых, взрослых и детей;

И между них, чуть вечер наступает,
Совсем свободно, в заповедный час,
Себя еврей к молитве накрывает,
И Магомета раб свершает свой намаз;
И тут же рядом, страшно поражая
Своею вздорной, глупой болтовней,
Столичный франт, на службу отъезжая,
Всё знает, видел и совсем герой!

Какая пестрота и смесь сопоставлений?!
И та же всё единая страна...
В чем разрешенье этих всех движений?
Где всем им цель? Дана ли им она?
Дана, конечно! Только не добиться,
Во что здесь жизни суждено сложиться!
Придется ей самой себя создать
И от истории ничем не поживиться,
И от прошедшего образчиков не брать.

ХАНСКИЕ ЖЕНЫ

(Крым)

У старой мечети гробницы стоят, —
Что сестры родные, столпились;
Тут ханские жены рядами лежат
И сном непробудным забылись...

И кажется, точно ревнивая мать,
Над ними природа хлопочет, —
Какую-то думу с них хочет согнать,
Прощенья от них себе хочет.

Растит кипарисы — их сон сторожить,
Плющом, что плащом, одевает,
Велит соловьям здесь на родине быть,
Медвяной росой окропляет.

И времени много с тех пор протекло,
Как ханское царство распалось!
И кажется, всё бы забыться могло,
Всё... если бы всё забывалось!..

Их хитростью брали, их силой влекли,
Их стражам гаремов вручали
И тешить властителей ханской земли,
Ласкать, не любя, заставляли...

И помнят могилы!.. Задумчив их вид...
Великая месть не простится!
Разрушила ханство, остатки крушит
И спящим покойницам снится!

НА ГОРНОМ ЛЕДНИКЕ

В ясном небе поднимаются твердыни
Льдом украшенных, порфировых утесов;
Прорезают недра голубой пустыни
Острые углы, изломы их откосов.

Утром прежде всех других они алеют
И поздней других под вечер погасают,
Никакие тени их покрыть не смеют,
Над собою выше никого не знают.

Разве туча даст порою им напиться
И спешит пройти, разорванная, мимо...
Пьют утесы смерть свою невозмутимо
И не могут от нее отворотиться.

Образ вечной смерти! Нет нигде другого,
Чтобы выше поднялся над целым миром,
И царил, одетый розовым порфиром,
В бармах и в короне снега золотого!

Злая ли насмешка над людьми в том скрыта
Иль подсказан ясно смысл успокоенья,
Если мысль, темнейшая из мыслей, слита
С самой светлою из всех картин творенья?!

ВЕЧЕР НА ЛЕМАНЕ

Еще окрашены, на запад направляясь,
Шли одинокие густые облака,
И, красным столбиком в глубь озера спускаясь,
Горел огонь на лодке рыбака.
Еще большой паук, вися на нитке длинной,
В сквозную трещину развалины старинной,
Застигнутый росой, крутясь, не соскользнул;
Еще и сумерки, идя от щели к щели,
В прозрачной темноте растаять не успели
И ветер с ледников прохладой не тянул, —
Раздался звук..: Он несся издалека,
Предвестник звезд с погасшего востока,
И, как струна, по воздуху звенел!
Он несся, и за ним, струями набегая,
То резок и глубок, то нежно замирая,
Вослед за звуком звук летел...
Они росли, гармония катилась,
И гром, и грохот, звучная, несла,
Давила под собой, — слабея, проносилась
И в тонком звуке чутко замерла...
А по горам высокий образ ночи,
Раскрывши синие, увла́жненные очи,
По крыльям призраков торжественно ступал;
Он за бежавшим днем десницу простирал,
И в складках длинного ночного покрывала
Звезда вечерняя стыдливо проступала...

ОЗЕРО ЧЕТЫРЕХ КАНТОНОВ

И никогда твоей лазури ясной,
Сквозящей здесь по страшной глубине,
Луч солнца летнего своей улыбкой страстной,
Пройдя до дна, не нагревал вполне.

И никогда мороз зимы холодной,
Спустившись с гор, стоящих над тобой,
Не смел оковывать твоей пучины водной
Своей тяжелой, мертвенной броней.

За то, что ты не ведало, не знало
Того, что в нас, в груди людей живет, —
Не жглось огнем страстей, под льдом не обмирало —
Ты так прекрасна, чаша синих вод.

СТРАСБУРГСКИЙ СОБОР

Когда случалось, очень часто,
Мне проходить перед тобой,
С одною башнею стоял ты —
Полуоконченный, хромой!

Днем, как по книге, по тебе я
О давнем времени читал;
Безмолвный мир твоих фигурок
Собою текст изображал.

Днем в отворявшиеся двери
Народ входил и выходил;
Обедня шла, и ты орга́ном
Как бы из груди голосил.

Всё это двигалось и жило,
И даже ряд надгробных плит,
Казалось мне, со стен отвесных
В латинских текстах говорит.

А ночью двери закрывались,
Фигурки гибли с темнотой,
С одною башнею стоял ты —
Отвсюду запертый, немой!

И башня, как огромный палец
На титанической руке,
Писала что-то в небе темном
На незнакомом языке!

Не башня двигалась, но — тучи...
И небо, на оси вертясь,
Принявши буквы, уносило
Их неразгаданную связь...

ВИСБАДЕН

В числе явлений странных, безобразных,
Храня следы отцов и дедов наших праздных,
Ключи целебных вод отвсюду обступая,
Растут, своим довольством поражая,
Игрушки-города. Тут, были дни, кругом,
Склонясь, насупившись над карточным столом,
Сидели игроки. Блестящие вертепы
Плодились быстро. Деды наши, слепы,
Труды своей земли родимой расточали;
Преображались наши русские печали
Чужой земле в веселье! Силой тяготенья
Богатств влеклись к невзрачным городкам
Вся тонкость роскоши, все чары просвещенья!
Везде росли дворцы; по старым образцам
Плодились парки; фабрики являлись,
Пути прокладывались, школы размножались.
И богатела, будто в грезах сна,
Далеко свыше сил окрестная страна!..
Каким путем лес русский, исчезая,
Здесь возникал, сады обсеменяя?
Как это делалось, что наши хутора,
Которых тут да там у нас не досчитались,
На родине исчезнув, здесь являлись:
То в легком стиле мавританского двора,
То в грузном, римском, с блещущим фронтоном,
Китайским домиком с фигурками и звоном!
И церкви русские взрастали здесь не с тем,
Чтоб в них молиться!.. Нет, пусть будет нем,
Пусть позабудется весь ход обогащенья
Чужой для нас земли. Пусть эти города
Растут, цветут, — забывши навсегда
Причины быстрого и яркого цветенья!..

MONTE PINCIO[1]

Сколько белых, красных маргариток
Распустилось в нынешней ночи!
Воздух чист, от паутинных ниток
Реют в нем какие-то лучи;

Золотятся зеленью деревья,
Пальмы дремлют, зонтики склонив;
Птицы вьют воздушные кочевья
В темных ветках голубых олив;

Все в свету поднялись Апеннины,
Белой пеной блещут их снега;
Ближе Тибр по зелени равнины,
Мутноводный, лижет берега.

Вон, на кактус тихо наседая,
Отдыхать собрались мотыльки
И блистают, крылья расправляя,
Как небес живые огоньки.

Храм Петра в соседстве Ватикана
Смотрит гордо, придавивши Рим;
Голова церковного титана
Держит небо черепом своим;

Колизей, облитый красным утром,
Виден мне сквозь розовый туман,
И плывет, играя перламутром,
Облаков летучий караван.

Дряхлый Форум с термами Нерона,
Капитолий с храмами богов,
Обелиски, купол Пантеона —
Ожидают будущих веков!

Вон, с корзиной, в пестром балахоне,
Красной шапкой свесившись к земле,
Позабыв о папе и мадонне,
Итальянец едет на осле.

---

[1] См. примечания. — *Ред.*

Ветерок мне в платье заползает,
Грудь мою приятно холодит;
Ласков он, так трепетно лобзает,
И, клянусь, я слышу, говорит:

«Милый Рим! Любить тебя не смея,
Я забыть как будто бы готов
Травлю братьев в сердце Колизея,
Рабство долгих двадцати веков...»

НА ВЗМОРЬЕ

(В Нормандии)

На берегах Нормандии счастливой,
Где стенами фалез земля окаймлена,
Привольно людям, счастье не химера,
Труд не гнетет и жизнь не голодна.

Еще всесильны пестрые мадонны
И, приношеньями обвешаны, глядят,
И депутаты здешних мест в Париже
На крайней правой исстари сидят.

Еще живет старинная отвага
И крепкая душа в нормандских рыбаках:
Их мощный тип не может измениться,
Он сохранен, он взрос в морских солях!

Нейдет отсюда жить к американцам
Избыток сил людских; есть место для гробов;
Бессчетных фабрик пламенные печи
Не мечут в ночь пунцовых языков.

Меж темных рощ, над тучными холмами,
Стада и табуны, и замки, и дворы;
Из них, что день, развозятся повсюду
И молоко, и масло, и сыры.

Здесь, вдоль черты приливов и отливов,
В волнах, играющих между прибрежных глыб,
Роятся тьмы вертящихся креветок;
Морской песок — и этот полон рыб.

Повсюду, словно гроздья винограда,
Лежат синеющие мули под водой,
И всякой рыбою полны рыбачьи боты,
Бегущие на утре дня домой.

Пластом ракушки берег покрывают,
И крабов маленьких веселые семьи,
Заслышав шум, под камни убегают,
Бочком ползут в пристанища свои;

И всюду между них, спокойней чем другие,
Отцы «отшельники» различных форм живут:
То рачки умные, засевшие в скорлупки
Погибших братьев, в даровой приют.

Лежит «отшельник», счастлив и беспечен,
Лежит в песке и преспокойно ждет, —
Квартирою дешевой обеспечен,
А кушанье доставит море в рот.

Свой вкусный хвостик глубоко запрятав,
Таращит этот рак проворные клешни...
То дармоеды, феодалы моря,
Невозмутимей всех других они!..

ПОСЛЕ ПОХОРОН Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

И видели мы все явленье эпопеи...
Библейским чем-то, средневековым,
Она в четыре дня сложилась с небольшим
В спокойной ясности и красоте идеи!

И в первый день, когда ты остывал
И весть о смерти город обегала,
Тревожной злобы дух недоброе шептал,
И мысль людей глубоко тосковала...

Где вы, так думалось, умершие давно,
Вы, вы, ответчики за раннюю кончину,
Успевшие измять, убить наполовину
И этой жизни чистое зерно!

Ваш дух тлетворный от могил забытых
Деянье темное и после вас вершит,
От жил, в груди его порвавшихся, открытых,
От катафалка злобно в нас глядит...

И день второй прошел. И вечер, наступая,
Увидел некое большое торжество:
Толпа собралась шумная, живая,
Другого чествовать, поэта твоего!..
Гремели песни с освещенной сцены,
Звучал с нее в толпу могучий, сильный стих,
И шли блестевшие огнями перемены
Людей, костюмов и картин живых...

И в это яркое и пестрое движенье,
Где мягкий голос твой назначен был звучать,
Внесен был твой портрет, — как бледное виденье,
Нежданной смерти ясная печать!
И он возвысился со сцены — на престоле,
В огнях и звуках, точно в ореоле...
И веяло в сердца от этого всего
Сближением того, что живо, что мертво,
Рыданьем, радостью, сомненьями без счета,
Всей страшной правдою «Бесóв» и «Идиота»!..
Тревожной злобы дух — он уставал шептать!
Надеяться хотелось, верить, ждать!..

Три дня в туманах солнце заходило,
И на четвертый день, безмерно велика,
Как некая духовная река,
Тебя толпа в могилу уносила...
Зима, испугана как будто, отступила
Пред пестротой явившихся цветов!
Качались перья пальм, и свежестью листов
Сияли лавры, мирты зеленели!
Разумные цветы слагались в имена,
В слова, — как будто говорить хотели...
Чуть видной ношею едва отягчена,
За далью серой тихо исчезая,
К безмолвной лавре путь свой направляя,
Тихонько шла река, и всей своей длиной
Вторúла хорам, певшим: «Упокой!»
В умах людских, печальных и смущенных,
Являлась мысль: чем объяснить полней
Стремленье волн людских и стягов похоронных,
Как не печалью наших тяжких дней,
В которых много так забитых, оскорбленных,
Непризнанных, отверженных людей?
И в ночь на пятый день, как то и прежде было,
Людей каких-то много приходило
Читать псалтырь у головы твоей...
Там ты лежал под сенью балдахина,
И вкруг тебя, как стройная дружина
Вдруг обратившихся в листву богатырей,
Из полутьмы собора проступая
И про тебя былину измышляя,

Задумчивы, безмолвны, велики,
По кругу высились лавровые венки!
И грудой целою они тебя покрыли,
Когда твой яркий гроб мы в землю опустили...
Морозный ветер выл... Но ранее его
Заговорила сдержанная злоба
Вдогонку шествию доврéменного гроба!
По следу свежему триумфа твоего
Твои товарищи и из того же круга,
Служáщие давно тому же, что и ты, —
Призванью твоему давали смысл недуга,
Тоске предвиденья — смысл тронутой мечты!..
Да, да, действительно — бессмертье наступало,
Заговорило то, что до того молчало
И распинало братьев на кресты!

И приняла тебя земля твоей отчизны;
Дороже стала нам одною из могил
Земля, которую, без всякой укоризны,
Ты так мучительно и смело так любил!

СНЫ

В деревне под столицею
Драгунский полк стоит,
Кипят котлы, ржут лошади,
И генерал кричит...

Качая коромыслами,
Веселою толпой,
Приходят утром девушки
К колодцу за водой.

Пестры одежды легкие,
Бойка, развязна речь;
Подвязаны передники
Почти у самых плеч.

Как будто в древней древности,
Идя на грязный двор,

Так подвязали бабушки —
Так носят до сих пор.

Живые глазки заспаны,
Измяты ленты кос,
Пылают щеки плотные
Огнем последних грез.

И видно, как, незримые,
Под шепот тишины,
Ласкали, целовали их
Полуночные сны;

Как эти сны оставили,
Сбежавши впопыхах,
На пальцах кольца медные
И фабру на щеках!

КОЛЛЕЖСКИЕ АСЕССОРЫ

В Кутаисе и подле, в окрестностях,
Где в долинах, над склонами скал,
Ждут развалины храмов грузинских,
Кто бы их поскорей описал...

Где ни гипс, ни лопата, ни светопись
Не являлись работать на спрос;
Где ползут по развалинам щели,
Вырастает песчаный нанос;

Где в глубоком, святом одиночестве
С куполов и замшившихся плит,
Как аскет, убежавший в пустыню,
Век, двенадцатый счетом, глядит;

Где на кладбищах, вовсе неведомых,
В завитушках крутясь, письмена
Ждут, чтоб в них знатоки разобрали
Разных, чуждых людей имена, —

Там и русские буквы читаются!
Молчаливо улегшись рядком,
Всё коллежские дремлют асессоры
Нерушимым во времени сном.

По соседству с забытой Колхидою,
Где так долго стонал Прометей;
Там, где Ноев ковчег с Арарата
Виден изредка в блеске ночей;

Там, где время, явившись наседкою,
Созидая народов семьи,
Отлагало их в недрах Кавказа,
Отлагало слои на слои;

Где совсем первобытные эпосы
Под полуденным солнцем взросли, —
Там коллежские наши асессоры
Подходящее место нашли...

Тоже эпос! Поставлен загадкою
На гробницах армянских долин
Этот странный, с прибавкою имени
Не другой, а один только чин!

Говорят, что в указе так значилось:
Кто Кавказ перевалит служить,
Быть тому с той поры дворянином,
Знать, коллежским асессором быть...

И лежат эти прахи безмолвные
Нарожденных указом дворян...
Так же точно их степь приютила,
Как и спящих грузин и армян!

С тем же самым упорным терпением
Их плывучее время крушит,
И чуть-чуть нагревает их летом,
И чуть-чуть по зиме холодит!

Тот же коршун сидит над гробницами,
Равнодушен к тому, кто в них спит!
Чистит клюв, обагренный добычей,
И за новою зорко следит!

Одинаковы в доле безвременья,
Равноправны, вступивши в покой:
Прометей, и указ, и Колхида,
И коллежский асессор, и Ной...

ПОСЛЕ КАЗНИ В ЖЕНЕВЕ

Тяжелый день... Ты уходил так вяло...
Я видел казнь: багровый эшафот
Давил как будто бы сбежавшийся народ,
И солнце ярко на топор сияло.

Казнили. Голова отпрянула, как мяч!
Стер полотенцем кровь с обеих рук палач,
А красный эшафот поспешно разобрали,
И увезли, и площадь поливали.

Тяжелый день... Ты уходил так вяло...
Мне снилось: я лежал на страшном колесе,
Меня коробило, меня на части рвало,
И мышцы лопались, ломались кости все...

И я вытягивался в пытке небывалой
И, став звенящею, чувствительной струной, —
К какой-то схимнице, больной и исхудалой,
На балалайку вдруг попал едва живой!

Старуха страшная меня облюбовала
И нервным пальцем дергала меня,
«Коль славен наш господь» тоскливо напевала,
И я вторил ей, жалобно звеня!..

* * *

Забыт обычай похоронный!
Исчезли факелов ряды
И гарь смолы, и оброненный
Огонь — горящие следы!

Да, факел жизни вечной темой
Сравненья издавна служил!
Как бы объятые эмблемой,
Мы шли за гробом до могил!

Так нужно, думалось. Смиримся!
Жизнь — факел! Сколько их подряд!
Мы все погаснем, все дымимся,
А искры после отгорят.

Теперь другим, новейшим чином
Мы возим к кладбищам людей;
Коптят дешевым керосином
Глухие стекла фонарей;

Дорога в вечность не дымится,
За нами следом нет огня,
И нет нам времени молиться
В немолчной сутолоке дня;

Не нарушаем мы порядка,
Бросая искры по пути,
Хороним быстро, чисто, гладко —
И вслед нам нечего мести!

НА РАЗДЕЛЬНОЙ

(После Плевны)

К вокзалу железной дороги
Два поезда сразу идут;
Один — он бежит на чужбину,
Другой же — обратно ведут.

В одном по скамьям новобранцы,
Всё юный и целый народ;
Другой на кроватях и койках
Калек бледноликих везет...

И точно как умные люди,
Машины, в работе пыхтя,
У станции ход уменьшают,
Становятся ждать, подойдя!

Уставились окна вагонов
Вплотную стекло пред стеклом;
Грядущее виделось в этом,
Былое мелькало в другом...

Замолкла солдатская песня,
Замялся, иссяк разговор,
И слышалось только шаганье
Тихонько служивших сестер.

В толпе друг на друга глазели:
Сознанье чего-то гнело,
Пред кем-то всем было так стыдно
И так через край тяжело!

Лихой командир новобранцев, —
Имел он смекалку с людьми, —
Он гаркнул своим музыкантам:
«Сыграйте ж нам что, черт возьми!»

И свеялось прочь впечатленье,
И чувствам исход был открыт:
Кто был попрочней — прослезился,
Другие рыдали навзрыд!

И, дым выпуская клубами,
Машины пошли вдоль колей,
Навстречу судьбам увлекая
Толпы безответных людей...

* * *

Улыбнулась как будто природа,
Миновал Спиридон-поворот,
И, на смену отжившего года,
Народилось дитя — Новый год!

Вьются кудри! Повязка над ними
Светит в ночь Вифлеемской звездой!
Спит земля под снегами немыми —
Но поют небеса над землей.

Скоро, скоро придет пробужденье
Вод подземных и царства корней,
Сгинет святочных дней наважденье
В блеске вешних, ликующих дней;

Глянут реки, озера и море,
Что зимою глядеть не могли,
И стократ зазвучит на просторе
Песнь небесная в песнях земли.

* * *

Новый год! Мой путь — полями,
Лесом, степью снеговой;
Хлопья, крупными звездами,
Сыплет небо в мрак ночной.

Шапку, плечи опушает,
Смотришь крепче и сильней!
Всё как будто вырастает
В белом саване полей...

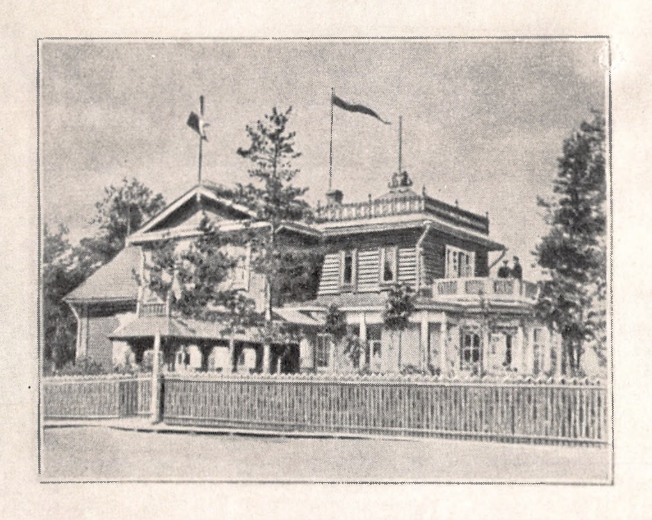
В приснопамятные годы
Не такой еще зимой
Русь спускала недороды
С оснеженных плеч долой.

Отливала зеленями,
Шла громадой на покос!
Ну, ямщик, тряхни вожжами,
Знаешь: малость день подрос!

К. Случевскій.

„ПѢСНИ изъ УГОЛКА“.

Съ портретомъ автора.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. Маркса.
1902.

ПЕСНИ ИЗ «УГОЛКА»
1895–1901

Посвящаются А. А. Коринфскому и Н. А. Котляревскому

---

* * *

Мы — разных областей мышленья...
Мы — разных сил и разных лет...
От вас мне слово утешенья,
От вас мне дружеский привет.

Мы шли различными путями,
Различно билось сердце в нас,
И мало схожими страстями
Мы жили в тот иль в этот час.

Но есть неведомые страны,
Где — в единении святом —
Цветут, как на Валгалле, раны
Борцов, почивших вечным сном.

Чем больше ран — тем цвет их краше,
Чем глубже — тем расцвет пышней!..
И в этом, в этом — сходство наше,
Друзья моих последних дней.

* * *

Здесь счастлив я, здесь я свободен, —
Свободен тем, что жизнь прошла,
Что ни к чему теперь не годен,
Что полуслеп, что эта мгла

Своим могуществом жестоким
Меня не в силах сокрушить,
Что светом внутренним, глубоким
Могу я сам себе светить

И что из общего крушенья
Всех прежних сил, на склоне лет,
Святое чувство примиренья
Пошло во мне в роскошный цвет...

Не так ли в рухляди, над хламом,
Из перегноя и трухи,
Растут и дышат фимиамом
Цветов красивые верхи?

Пускай основы правды зыбки,
Пусть всё безумно в злобе дня, —
Доброжелательной улыбки
Им не лишить теперь меня!

Я дом воздвиг в стране бездомной,
Решил задачу всех задач, —
Пускай ко мне, в мой угол скромный,
Идут и жертва и палач...

Я вижу, знаю, постигаю,
Что все должны быть прощены;
Я добр — умом, я утешаю
Тем, что в бессильи все равны.

Да, в лоно мощного покоя
Вошел мой тихий «Уголок» —
Возросший в грудах перегноя
Очаровательный цветок...

* * *

Мой сад оградой обнесен;
В моем дому живут, не споря:
Сад весь к лазури обращен —
К лицу двух рек и лику моря.

Тут люди кротки и добры,
Живут без скучных пререканий;
Их мысли просты, нехитры,
В них нет нескромных пожеланий.

Весь мир, весь бесконечный мир —
Вне сада, вне его забора;
Там ценность золота — кумир,
Там столько крови и задора!

Здесь очень редко, иногда
Есть в жизни грустные странички:
Погибнет рыбка средь пруда,
В траве найдется тельце птички...

И ты в мой сад не приходи
С твоим озлобленным мышленьем,
Его покоя не буди
Обидным, гордым самомненьем.

У нас нет места для вражды!
Любовь, что этот сад взращала,
Чиста! Ей примеси чужды,
Она теплом не обнищала.

Она, незримая, лежит
В корнях деревьев, тьмой объята,
И ею вся листва шумит
В часы восхода и заката...

Нет! Приходи в мой сад скорей
С твоей отравленной душою;
Близ скромных, искренних людей
Ты приобщишься к их покою.

Отсюда мир, весь мир, изъят
И, полный злобы и задора,
Не смея ринуться в мой сад,
Глядит в него из-за забора...

* * *

Я мыслить жажду потому, что в этом —
Живой покой, святая тишина,
Всё полно ясным, нетревожным светом,
В душе легко, и ясно даль видна!

И если мгла за некоторой гранью
Перед умом слегка скрывает даль, —
Страда́ть от этого немыслимо сознанью:
Мне жаль, что — мгла, но мне спокойно жаль...

Тогда как в чувствах столько острой боли,
Такая мощь безумной толчеи
Терзаний духа и страданий воли, —
Успокоенье только в забытьи, —

Что все восторги страстных наслаждений,
Всех оргий чувств за время лучших лет
Не искупят безвременных мучений,
Всегда идущих оргиям вослед...

Спеши, спеши в спокойствие мышленья, —
В нем нерушим довременный покой;
Там нет борьбы, не надобно прощенья,
Ты у себя — желанный и родной!..

* * *

Какая ночь! Зашел я в хату,
Весь лес лучами озарен
И, как по кованому злату,
Тенями ночи зачервлен.

Сквозь крышу, крытую соломой,
Мне мнится, будто я цветок
С его полуночной истомой,
С сияньем месяца у ног!

Вся хата — то мои покровы,
Мой цветень и листва моя...
Должно быть, все цветы дубровы
Теперь мечтают так, как я!

* * *

Воспоминанья вы убить хотите?!
Но — сокрушите помыслом скалу,
Дыханьем груди солнце загасите,
Огнем костра согрейте ночи мглу!..

Воспоминанья — вечные лампады,
Былой весны чарующий покров,
Страданий духа поздние награды,
Последний след когда-то милых снов.

На склоне лет живешь, годами согнут,
Одна лишь память светит на пути...
Но если вдруг воспоминанья дрогнут, —
Погаснет всё, и некуда идти...

Копилка жизни! Мелкие монеты!
Когда других монет не отыскать —
Они пригодны! Целые банкеты
Воспоминанья могут задавать.

Беда, беда, когда средь них найдется
Стыд иль пятно в свершившемся былом!
Оно к банкету скрытно проберется
И тенью Ба́нко сядет за столом.

* * *

Дайте, дайте мне, долины наши ровные,
Вашей ласковой и кроткой тишины!
Сны младенчества счастливые, бескровные,
Если б были вы второй раз мне даны!

Если б всё, — да, всё, — что было и утрачено,
Что бежит меня, опять навстречу шло,
Что теперь совсем не мне — другим назначено,
Но в минувший срок и для меня цвело!

Если б это всё возникло по прошедшему, —
Как сумел бы я мгновенье оценить,
И себя в себе негаданно нашедшему
Довелось бы жизнь из полной чаши пить!

А теперь я что? Я — песня в подземелии,
Слабый лунный свет в горячий полдня час,
Смех в рыдании и тихий плач в веселии...
Я — ошибка жизни, не в последний раз...

* * *

Часто с тобою мы спорили...
Умер! Осилить не мог
Сердцем правдивым и любящим
Мелких и крупных тревог.

Кончились споры. Знать, правильней
Жил ты, не вкривь и не вкось!
Ты победил, Галилеянин! —
Сердце твое порвалось...

* * *

Сколько хороших мечтаний
Люди убили во мне;
Сколько сгубил я деяний
Сам, по своей же вине...

В жизни комедии, драмы,
Оперы, фарс и балет
Ставятся в общие рамы
Повести множества лет...

Я доигрался! Я — дома!
Скромен, спокоен и прав, —
Нож и пилу анатома
С ветвью оливы связав!

* * *

Пред великою толпою
Музыканты исполняли
Что-то полное покоя,
Что-то близкое к печали;

Скромно плакали гобои
В излияньях пасторальных,
Кружевные лились звуки
В чудных фразах музыкальных...

Но толпа вокруг шумела:
Ей нужны иные трели!
Спой ей песню о безумье,
О поруганной постели;

Дай ей резких полутонов,
Тактом такт перешибая,
И она зарукоплещет,
Ублажась и понимая...

* * *

Порой хотелось бы всех веяний весны
И разноцветных искр чуть выпавшего снега,
Мятущейся толпы, могильной тишины
И тут же светлых снов спокойного ночлега!

Хотелось бы, чтоб степь вокруг меня легла,
Чтоб было всё мертво и царственно молчанье,
Но чтоб в степи река могучая текла,
И в зарослях ее звучало трепетанье.

Ущелий Терека и берегов Днепра,
Парижской толчеи, безлюдья Иордана,
Альпийских ледников живого серебра,
И римских катакомб, и лилий Гулистана.

Возможно это всё, но каждое в свой срок
На протяжениях великих расстояний,
И надо ожидать и надо, чтоб ты мог
Направить к ним пути своих земных скитаний, —

Тогда как помыслов великим волшебством
И полной мощностью всех сил воображенья
Ты можешь всё иметь в желании одном
Здесь, подле, вкруг себя, сейчас,
без промедленья!

И ты в себе самом — владыка из владык,
Родник таинственный — ты сам себе природа,
И мир души твоей, как божий мир, велик,
Но больше, шире в нем и счастье, и свобода...

* * *

В темноте осенней ночи —
Ни луны, ни звезд кругом,
Но ослабнувшие очи
Видят явственней, чем днем.

Фейерверк перед глазами!
Память вздумала играть:
Как бенгальскими огнями
Начинает в ночь стрелять:

Синий, красный, снова синий...
Скорострельная пальба!
Сколько пламенных в ней линий, —
Только жить им не судьба...

Там, внизу, течет Нарова —
Всё погасит, всё зальет,
Даже облика Петрова
Не щадит, не бережет,

Загашает... Но упорна
Память царственной руки:
Царь ударил в щеку Горна,
И звучит удар с реки.

* * *

Еще покрыты льдом живые лики вод,
И недра их полны холодной тишиною...
Но тронулась весна, и — сколько в них забот,
И сколько суеты проснулось под водою!..

Вскрываются нимфей дремавших семена,
И длинный водоросль побеги выпускает,
И ряска множится... Вот, вот, она, весна, —
Открыла полыньи и ярко в них играет!

Запас подземных сил уже давно не спит,
Он двигается весь, прикормлен глубиною;
Он воды, в прозелень окрасив, породнит
С глубоко-теплою небесной синевою...

Ты, старая душа, кончающая век, —
Какими ты к весне пробудишься ростками?
Сплетенья корневищ потребуют просе́к,
Чтобы согреть тебя весенними лучами.

И в зарослях твоих, безмолвных и густых,
Одна надежда есть, одна — на обновленье:
Субботний день к концу... Последний из твоих...
А за субботой что? Конечно, воскресенье.

* * *

Вот — мои воспоминанья:
Прядь волос, письмо, платок,
Два обрывка вышиванья,
Два кольца и образок...

Но — за теменью былого —
В именах я с толку сбит.
Кто они? Не дать ли слова,
Что и я, как те, забыт!

В этом — времени учтивость,
Завершение всему,
Золотая справедливость:
Ничего и никому!..

* * *

Всегда, всегда несчастлив был я тем,
Что все те женщины, что близки мне бывали,
Смеялись творчеству в стихах! Был дух их нем
К тому, что мне мечтанья навевали.

И ни в одной из них нимало, никогда
Не мог я вызывать отзывчивых мечтаний...
Не к ним я, радостный, спешил в тот час, когда
Являлся новый стих счастливых сочетаний!

Не к ним, не к ним с новинкой я спешил,
С открытою, еще дрожавшею душою,
И приносил цветок, что сам я опылил,
Цветок, дымившийся невысохшей росою.

* * *

С простым толкую человеком...
Телега, лошадь, вход в избу...
Хвалю порядок в огороде,
Хвалю оконную резьбу.

Всё — дело рук его... Какая
В нем скромных мыслей простота!
Не может пошатнуться вера,
Не может в рост пойти мечта.

Он тридцать осеней и вёсен
К работе землю пробуждал;
Вопрос о том, зачем всё это, —
В нем никогда не возникал.

О, как жестоко подавляет
Меня спокойствие его!
Обидно, что признанье это
Не изменяет ничего...

Ему — раек в театре жизни,
И слез, и смеха простота;
Мне — злобы дня, сомненья, мудрость
И — на вес золота места!

* * *

Ты часто так на снег глядела,
Дитя архангельских снегов,
Что мысль в очах обледенела
И взгляд твой холодно суров.

Беги! Направься к странам знойным,
К морям, не смевшим замерзать:
Они дыханием спокойным
Принудят взгляд твой запылать.

Тогда из новых сочетаний,
Где юг и север в связь войдут,
Возникнет мир очарований
И в нем — кому-нибудь приют...

* * *

И вот сижу в саду моем тенистом
И пред собой могу воспроизвесть,
Как это будет в час, когда умру я,
Как дрогнет всё, что пред глазами есть.

Как полетят повсюду извещенья,
Как потеряет голову семья,
Как соберутся, вступят в разговоры,
И как при них безмолвен буду я.

Живые связи разлетятся прахом,
Возникнут сразу всякие права,
Начнется давность, народятся сроки,
Среди сирот появится вдова.

В тепло семьи дохнет мороз закона, —
Быть может, сам я вызвал тот закон;
Не должен он, не может ошибаться,
Но и любить — никак не может он.

И мне никто, никто не поручится, —
Я видел сам, и не один пример:
Как между близких, самых близких кровных,
Вдруг проступал созревший лицемер...

И это всё, что здесь с такой любовью,
С таким трудом успел я насадить,
Ему спокойной, смелою рукою,
Призвав закон, удастся сокрушить...

* * *

Шестидесятый раз снег предо мною тает,
И тихо льет тепло с лазурной вышины,
И, если память мне вконец не изменяет,
Я в детстве раза три не замечал весны, —

Не замечал того, как мне дышалось чудно,
Как мчались журавли и как цвела сирень.
Десятки лет прошли; их сосчитать нетрудно,
Когда бы сосчитать не возбраняла лень!

Не велико число! Но собранный годами
Скарб жизни так велик, так много груза в нем,
Что, если бы грузить — пришлось бы кораблями
Водою отправлять, а не иным путем...

Противоречия красот и безобразий,
Громадный хлам скорбей, сомнений и обид,
Воспоминания о прелестях Аспазий,
Труды Сизифовы и муки Данаид,

Мученья Та́нтала, обманы сына, брата,
Порывы глупостей, подряд или вразброд;
В одних я шествовал на подвиг Герострата,
В других примером мне являлся Дон-Кихот...

Шестидесятый раз снег предо мною тает...
Лазурна высь небес, в полях ручьи журчат...
Как много жизнь людей всего, всего вмещает,
И что же за число в две цифры — шестьдесят!..

* * *

Вот она, великая трясина!
Ходу нет ни в лодке, ни пешком.
Обмотала наши весла тина, —
Зацепиться не за что багром...

В тростнике и мглисто, и туманно.
Солнца лик и светел, и высок, —
Отражен трясиною обманно,
Будто он на дно трясины лег.

Нет в ней дна. Лежат в листах нимфеи,
Островки, луга болотных трав;

Вот по ним пройтись бы! Только феи
Ходят здесь, травинок не помяв...

Всюду утки, дупеля, бекасы!
Бьешь по утке... взял... нельзя достать;
Мир лягушек громко точит лясы,
Словно дразнит: «Для чего ж стрелять?»

Вы, кликуши, вещие лягушки,
Подождите: вот придет пора, —
По болотам мы начнем осушки,
Проберем трясину до нутра.

И тогда... Ой, братцы, осторожней!
Не качайтесь... Лодку кувырнем!
И лягушки раньше нас потопят,
Чем мы их подсушивать начнем...

* * *

Старый дуб листвы своей лишился
И стоит умерший над межою;
Только ветви кажутся плечами,
А вершина мнится головою.

Приютил он, будучи при жизни,
Сиротинку-семя, что летало,
Дал ему в корнях найти местечко,
И оно тихонько задремало.

И всползла по дубу повилика,
Мертвый остов зеленью одела,
Разубрала листьями, цветами,
Придала как будто облик тела!

Ветерок несется над межою;
Повилика венчики качает...
Старый дуб в обличии забытом
Оживает, право — оживает!

* * *

Если б всё, что упадает
Серебра с луны,
Всё, что золота роняет
Солнце с вышины —

Ей снести... Она б сказала:
«Милый мой пиит,
Ты того мне дай металла,
Что в земле лежит!»

* * *

Из моих печалей скромных,
Не пышны́, не высоки́,
Вы, непрошены, растете,
Песен пестрые цветки.

Ты в спокойную минуту
На любой взгляни цветок...
Посмотри — в нем много правды!
Он без слез взрасти не мог.

В этой песне — час страданий,
В этой — долгой ночи страх,
В этих — месяцы и годы...
Всё откликнулось в стихах!

Горе сердца — дар небесный,
И цветы его пышней
И куда, куда душистей
Всех цветов оранжерей.

* * *

Воды немного, несколько солей,
Снабженных слабою, животной теплотою,
Зовется издавна и попросту слезою...
Но разве в том определенье ей?

А тихий вздох людской? То — груди
содроганье,
Освобожденье углекислоты?!.
Определения, мутящие сознанье
И полные обидной пустоты!

* * *

Да, да! Всю жизнь мою я жадно собирал,
Что было мило мне! Так я друзей искал,
Так — памятью былых, полузабытых дней —
Хранил я множество незначащих вещей!
Я часто Плюшкиным и Гарпагоном был,
Совсем ненужное старательно хранил.

Мне думалось, что я не буду сир и наг,
Имея свой родной, хоть маленький, очаг;
Что в милом обществе любезных мне людей,
В живом свидетельстве мне памятных вещей
Себя, в кругу своем, от жизни оградив,
Я дольше, чем я сам, в вещах останусь жив;
И дерзко думал я, что мертвому вослед
Всё это сберегут хоть на немного лет...

Что ж? Ежели не так и всё в ничто уйдет,
В том, видно, суть вещей! И я смотрю вперед,
Познав, что жизни смысл и назначенье в том,
Чтоб сокрушить меня и, мне вослед, мой дом,
Что места требуют другие, в жизнь скользя,
И отвоевывать себе свой круг — нельзя!

* * *

Ты не гонись за рифмой своенравной
И за поэзией — нелепости оне:
Я их сравню с княгиней Ярославной,
С зарею плачущей на каменной стене.

Ведь умер князь, и стен не существует,
Да и княгини нет уже давным-давно;
А всё как будто, бедная, тоскует,
И от нее не всё, не всё схоронено.

Но это вздор, обманное созданье!
Слова — не плоть... Из рифм одежд не ткать!
Слова бессильны дать существованье,
Как нет в них также сил на то, чтоб убивать...

Нельзя, нельзя... Однако преисправно
Заря затеплилась; смотрю, стоит стена;
На ней, я вижу, ходит Ярославна,
И плачет, бедная, без устали она.

Сгони ее! Довольно ей пророчить!
Уйми все песни, все! Вели им замолчать!
К чему они? Чтобы людей морочить
И нас, то здесь — то там, тревожить и смущать!

Смерть песне, смерть! Пускай не существует!..
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..
А Ярославна всё-таки тоскует
В урочный час на каменной стене...

* * *

Ни слава яркая, ни жизни мишура,
Ни кисти, ни резца бессмертные красоты,
Ни золотые дни, ни ночи серебра
Не в силах иногда согнать с души дремоты.

Но если с детских лет забывшийся напев
Коснется нежданно притупленного слуха, —
Дают вдруг яркий цвет, чудесно уцелев,
Остатки прежних сил надломленного духа.

Совсем ребяческие, старые тона,
Наивность слов простых, давным-давно известных,
Зовут прошедшее воспрянуть ото сна,
Явиться в обликах живых, хоть бестелесных.

И счастье прежних дней, и яркость прежних сил, —
То именно, что в нас свершило всё земное,
Вдруг из таинственно открывшихся могил
Сквозь песню высится: знакомое, живое...

* * *

Я помню, помню прошлый год!
Чуть вечер спустится, бывало,
Свирель чудесная звучала,
Закат пылавший провожала,
Встречала розовый восход.

Короткой ночи текст любовный
Ей вдохновением служил;
Он так ласкал, он так пленил,
Он так мне близок, близок был —
Совсем простой, немногословный.

Свирель замолкшая, где ты?
Где ты, певец мой безымянный,
Быть может, неба гость желанный,
Печальный здесь, а там избра́нный
Жилец небесной высоты?

Тебе не надобно свирели!
И что тебе, счастливец, в ней,
Когда, вне зорь и вне ночей,
Ты понял смысл иных рѐчей
И мировые слышишь трели...

* * *

Во сне мучительном я долго так бродил,
Кого-то я искал, чего-то добивался;
Я переплыл моря, пустыни посетил,
В скала́х карабкался, на торжищах скитался...

И стал пред дверью я открытою... За ней
Какой-то мягкий свет струился издалека;
От створов падали столбы больших теней;
Ступени вверх вели, и, кажется, высоко!

Но что за дверью там, вперед как ни смотри —
Не видишь... А за мной — земного мира тени...
Мне голос слышался... Он говорил: «Умри!
И можешь ты тогда подняться на ступени!..»

И смело я пошел... И начал замирать...
Ослепли, чуть вошел я в полный свет, зеницы,
Я иначе прозрел... Как? Рад бы передать,
Но нет пригодных струн и нет такой цевницы!..

* * *

Кому же хочется в потомство перейти
В обличьи старика! Следами разрушений
Помечены в лице особые пути
Излишеств и нужды, довольства и лишений.
Я стар, я некрасив... Да, да! Но, боже мой,
Ведь это же не я!.. Нет, в облике особом,
Не сокрушаемом ни временем, ни гробом,
Который некогда я признавал за свой,
Хотелось бы мне жить на памяти людской!
И кто ж бы не хотел? Особыми чертами
Мы обрисуемся на множество ладов —
В рассказах тех детей, что будут стариками,
В записках, в очерках, за длинный ряд годов.

И ты, красавица, не названная мною, —
Я много, много раз писал твои черты, —
Когда последний час ударит над землею,
С умерших сдвинутся и плиты, и кресты, —
Ты, как и я, проявишься нежданно,
Но не старухою, а на заре годов...
Нелепым было бы и бесконечно странно —
Селить в загробный мир старух и стариков.

* * *

Как в рубинах ярких — вкруг кусты малины;
Лист смородин черных весь благоухает;
В теплом блеске солнца с бархатной низины
Молодежи говор звучно долетает.

Почему-то — право, я совсем не знаю —
Сцену вдруг из Гете вижу пред глазами!
Праздник, по веселью в людях, замечаю!
Молодежь гуляет... в парочках... толпа́ми...

В юности счастливой смех причин не ищет...
Кончена обедня, церкви дверь закрыта, —
Вижу, ясно вижу: черный пудель рыщет...
Это — Мефистофель? Где же Маргарита?

Юность золотая, если бы ты знала,
Что невозвратимо волшебство минуты,
Что в твоем грядущем радостей так мало,
Что вконец осилят долгой жизни путы, —

Ты была б спокойней... Можно ль так смеяться,
Возбуждая зависть старших поколений!
Берегла б ты силы, — очень пригодятся,
Чуть настанут годы правды и сравнений...

* * *

Полдень прекрасен. В лазури
Малого облачка нет,
Даже и тени прозрачны, —
Так удивителен свет!

Ветер тихонько шевелит
Листьев подвижную сеть,
Топчется, будто на месте,
Мыслит: куда полететь?

Он, направленья меняя,
Думает думу свою:
Шквалом ли мне разразиться
Или предаться нытью?

* * *

На коне брабантском плотном
И в малиновой венгерке
Часто видел я девицу
У отца на табакерке.

С пестрой свитой на охоте
Чудной маленькой фигурой
Рисовалася девица
На эмали миньатюрой.

Табакерку заводили
И пружинку нажимали,
И охотники трубили
И собак со свор спускали.

Лес был жив на табакерке;
А девица всё скакала
И меня бежать за нею
Чудным взглядом приглашала.

И готов я был умчаться
Вслед за нею — полон силы —
Хоть по небу, хоть по морю,
Хоть сквозь вечный мрак могилы...

А теперь вот здесь, недавно, —
Полстолетья миновало, —
Я опять девицу видел,
Как в лесу она скакала.

И за ней, как тощий призрак,
С котелком над головою
Истязался на лошадке
Барин, свесясь над лукою.

Я, девицу увидавши,
Вслед ей бешено рванулся,
Вспыхнув злобою и местью...
Но, едва вскочил, запнулся...

Да, не шутка полстолетья...
Есть всему границы, мерки...
Пусть их скачут котелочки
За девицей с табакерки!..

* * *

Ты любишь его всей душою,
И вам так легко, так светло...
Зачем же упрямством порою
Свое ты туманишь чело?

Зачем беспричинно, всечасно
Ты радости портишь сама
И доброе сердце напрасно
Смущаешь злорадством ума?

Довольствуйся тем, что возможно!
Поверь: вам довольно всего,
Чтоб, тихо живя, нетревожно,
Не ждать, не желать ничего...

* * *

Нет, верба́, ты опоздала,
Только к марту цвет дала, —
Знай, моя душа сызма́ла
Впечатлительней была!

Где же с ней идти в сравненье!
Не спросясь календаря,
Я весны возникновенье
Ясно слышу с января!

День подрос и стал длиннее...
Лед скололи в кабаны...
Снег глубок, но стал рыхлее...
Плачут крыши с вышины...

Пишут к праздникам награды...
Нет, верба, поверь мне, нет;
Вешним дням мы раньше рады,
Чем пускаешь ты свой цвет!

* * *

Гуляя в сияньи заката,
Чуть видную тень я кидал,
А месяц — в блистании злата —
Навстречу ко мне выплывал.

С двух разных сторон освещаем,
Я думал, что был окружен
Тем миром, что нами незнаем,
Где нет ни преград, ни сторон!

Под теплою, мягкою чернью
В листве опочивших ветвей
Сияла роса мелкой зернью
Недвижных, холодных огней.

Мне вспомнились чувства былые:
Полвека назад я любил
И два очертанья живые
В одном моем сердце носил.

Стоцветные чувства светились,
И был я блаженством богат...
Но двое во мне не мирились,
И месяц погас, и закат!

* * *

Нет, не от всех предубеждений
Я и поныне отрешен!
Но всё свободней сердца гений
От всех обвязок и пелен.

Бледнеет всякая условность,
Мельчает смысл в любой борьбе...
В душе великая готовность
Свободной быть самой в себе;

И в этой правде — не слащавость,
Не праздный звук красивых слов,
А вольной мысли величавость
Под лязгом всех земных оков...

* * *

Любо мне, чуть с вечерней зарей
Солнце, лик свой к земле приближая,
Взгляды искоса в рощу бросая,
Сыплет в корни свой свет золотой;

Багрянистой парчой одевает
Листьев матовый, бледный испод...
Это — очень не часто бывает,
И вечернее солнце — не ждет.

* * *

Помню: как-то раз мне снился
Генрих Гейне на балу;
Разливалося веселье
По всему его челу...

Говорил он даме: «Дама,
Я прошу на польку вас!
Бал блестящ! Но вы так бледны,
Взгляд ваш будто бы погас!

Ах, простите! — я припомнил:
Двадцать лет, как вы мертвы!
Обращусь к соседке вашей:
Вальс со мной идете ль вы?

Боже мой! И тут ошибка!
Десять лет тому назад,
Помню, вас мы хоронили;
Устарел на вас наряд.

Ну, так к третьей... На мазурку! —
Ясно вам: кто я такой?»
— «Как же, вы — вы Генрих Гейне:
Вы скончались вслед за мной...»

И неслись они по зале...
Шумен, весел был салон...
Как, однако, милы пляски
Перешедших Рубикон!..

* * *

Могучей силою богаты
За долгий, тяжкий зимний срок,
Набухли почки, красноваты,
И зарумянился лесок.

А на горах заметны всходы,
Покровы травок молодых,
И в них — красивые разводы
Веснянок нежно-голубых.

Плыву на лодке. Разбиваю
Веслом остатки рыхлых льдов,
И к ним я злобу ощущаю —
К следам подтаявших оков.

И льдины бьются и ныряют,
Мешают веслам, в дно стучат;
Подводный хор! Они пугают,
Остановить меня хотят!

А я весь — блеск! Я весь — спокоен...
Но одинок как будто я...
Один я в поле — и не воин...
Мне нужно песню соловья!

* * *

Я видел Рим, Париж и Лондон,
Везувий мне в глаза дымил,
Я вдоль по тундре Безземельной,
Везом оленями, скользил.

Я слышал много водопадов
Различных сил и вышины,
Рев медных труб в калмыцкой степи,
В Байдарах — тихий звук зурны.

Я посетил в лесах Урала
Потемки страшных рудников,
Бродил вдоль щелей и провалов
По льдам швейцарских ледников.

Я резал трупы с анатóмом,
В науках много знал светил,
Я испытал в морях крушенье,
Я дни в вертепах проводил...

Я говорил порой с царями,
Глубоко падал и вставал,
Я богу пламенно молился,
Я бога страстно отрицал;

Я знал нужду, я знал довольство, —
Любил, страдал, взрастил семью
И — не скажу, чтобы без страха, —
Порой встречал и смерть свою.

Я видел варварские казни,
Я видел ужасы труда;
Я никого не ненавидел,
Но презирал — почти всегда.

И вот теперь, на склоне жизни,
Могу порой совет подать:
Как меньше пользоваться счастьем,
Чтоб легче и быстрей страдать.

Здесь из бревенчатого сруба,
В песках и соснах «Уголка»,
Где мирно так шумит Нарова,
Задача честным быть легка.

Ничто, ничто мне не указка, —
Я не ношу вериг земли...
С моих высоких кругозоров
Всё принижается вдали.

* * *

Порою между нас пророки возникают,
Совсем, совсем не так, как думаете вы,
Их в этот мир вещать не степи посылают,
Сиянье не блестит с избра́нной головы.

Нет в наши дни у нас пророков по призванью,
Им каждый может быть, — пустыня ни при чем;
Вдруг замечается — в противность ожиданью —
Огонь, светящийся на том или другом.

Ничтожнейший из нас в минуту ту иль в эту
Пророком может быть; случайно он постиг
Большую истину, и он вещает свету...
Знать, огненный к нему с небес сошел язык...

И скажет он свое, и быстро замолкает,
И, бедный, может быть, всю жизнь свою прождет:
Вот-вот сойдет язык, вновь пламя заиграет...
И, в ожидании, он, чающий, умрет...

* * *

Велик запас событий разных
И в настоящем и в былом;
Историк в летописях связных
Живописует их пером.

Не меньше их необозримы
Природы дивные черты,
Они поэтом уловимы
При свете творческой мечты.

Но больше, больше без сравненья,
Пестрее тех, живей других
Людского духа воплощенья
И бытия сердец людских.

Они — причина всех событий,
Они — природы мысль и взгляд,
В них ткань судеб — с основой нитей
Гнилых и ветхих зауряд...

* * *

Раз один из фараонов
Скромный дом мой посетил;
Он, входя, косяк у двери
Длинным схентом зацепил.

Бесподобная фигура!
Весь величественно-груб,
Поражал он ярким цветом
Красной краски страстных губ.

Хрустнул стул, чуть он уселся;
Разговор у нас пошел
На различные предметы:
Как он с Гиксом войны вел,

Как он взыскан был богами,
Как он миловал, казнил,
Как плотинами хотел он
Укротить священный Нил,

Как любил он страстно женщин...
Чтоб свободней говорить,
Попросил меня он двери
Поплотнее затворить.

И пошел он, и пошел он...
Ощущаю в сердце страх
Повторять всё то, что слышал
При затворенных дверях.

Удивительное сходство
С нами... Та же всё канва:
Из времен «Декамерона»
И деянья, и слова!

* * *

Ветер несется могучий...
Груди такой не сыскать!
Места ей надо — сломает
Всё, что придется сломать!

Сосны навстречу! Недвижны
Розовой грудью стволов...
Знать: грудь на грудь! Так и нужно!
В мире обычай таков...

Кто-то в той свалке уступит?
Спрячься за камни: не трусь!
Может быть, камни придушат,
Сгинешь... а я сохранюсь!

* * *

Качается лодка на цепи,
Привязана крепко она,
Чуть движет на привязи ветер,
Чуть слышно колышет волна.

Ох, хочется лодке на волю,
На волю, в неведомый путь,
И свернутый парус расправить,
И выставить на ветер грудь!

Но цепь и крепка, и не ржава,
И если судьба повелит
Поплыть, то не цепь оборвется,
А треснувший борт отлетит.

* * *

Припаи льда всё море обрамляют;
Вдали видны буран и толчея,
Но громы их ко мне не долетают,
И ясно слышу я, что говорит хвоя́.

Та речь важна, та речь однообразна, —
Едва колеблет длинный ряд стволов,
В своем теченьи величава, связна
И даже явственна, хоть говорит без слов.

В ней незаметно знаков препинаний,
В ней всё одно, великое одно!
В живых струях бессчетных колебаний
Поет гигантское, как мир, веретено.

И, убаюкан лаской и любовью,
Не слыша стонов плачущей волны,
Я, как дитя, склоняюсь к изголовью,
Чтоб отойти туда, где обитают сны.

* * *

В древней Греции бывали
Состязанья красоты;
Старики в них заседали,
Старики — как я да ты.

Дочь твоя — прямое диво,
Проблеск розовой зари;
Всё в ней правда, всё красиво...
Только — ей не говори!..

Запах мирры благовонной,
Сладкий шепот тишины,
Лепет струйки полусонной
В освещении луны;

Голос арфы, трель свирели,
Шум порханья мотыльков
Иль во дни святой недели
Дальний звон колоколов...

Вот те тонкие основы,
На которых, может быть,
Можно было б ткать покровы —
Красоту ее прикрыть.

* * *

Совсем примерная семья!
Порядок, мир... Чем не отрада?
Но отчего вдруг вспомнил я
Страничку из судеб Царьграда:

По лику мертвого царя
Гуляют кистью богомазы,
И сурик, на щеках горя,
Румянит крупные алмазы;

Наведена улыбка губ,
Заштукатурены морщины...
А всё же это — только труп
И лицевая часть картины!

* * *

Как ты чиста в покое ясном,
В тебе понятья даже нет
О лживом, злобном или страстном,
Чем так тревожен белый свет!

Как ты глупа! Какой равниной
Раскинут мир души твоей,
На ней вершинки — ни единой,
И нет ни звуков, ни теней...

* * *

Вы побелели, кладбища граниты;
Ночная оттепель теплом дохнула в вас;
Как пудрой белою, вы инеем покрыты
И белым мрамором глядите в этот час.

Другая пудра и другие силы
Под мрамор красят кудри на челе...
Уж не признать ли теплыми могилы
В сравненьи с жизнью в холоде и мгле?

* * *

Вот с крыши первые потеки
При наступлении весны!
Они — что писанные строки
В снегах великой белизны.

В них начинают проявляться
Весенней юности черты,
Которым быстро развиваться
В тепле и в царстве красоты.

В них пробуждение под спудом
Еще не явленных мощей,
Что день — то будет новым чудом
За чудодействием ночей.

Все струйки маленьких потеков —
Безумцы и бунтовщики,
Они замерзнут у истоков,
Не добежать им до реки...

Но скоро, скоро дни настанут,
Освобожденные от тьмы!
Тогда бунтовщиками станут
Следы осиленной зимы;

Последней вьюги злые стоны,
Последний лед... А по полям
Победно глянут анемоны,
Все в серебре — назло снегам.

* * *

Мои мечты — что лес дремучий,
Вне климатических преград,
В нем — пальмы, ели, терн колючий,
Исландский мох и виноград.

Лес полн кикимор резвых шуток,
В нем леший вкривь и вкось ведет;
В нем есть все измененья суток
И годовой круговорот.

Но нет у них чередованья,
Законы путаются зря;
Вдруг в полдень — месяца мерцанье,
А в полночь — яркая заря!

* * *

Мысли погасшие, чувства забытые —
Мумии бедной моей головы,
В белые саваны смерти повитые,
Может быть, вовсе не умерли вы?
Жизни былой молчаливые мумии,
Время Египта в прошедшем моем,
Здравствуйте, спящие в тихом раздумии!
К вам я явился светить фонарем.
Вижу... как, в глубь пирамиды положены,
Все вы так тихи, так кротки теперь;
Складки на вас шевельнулись, встревожены
Ветром, пахнувшим в открытую дверь.
Все вы взглянули на гостя нежданного!
Слушайте, мумии, дайте ответ:
Если бы жить вам случилося заново —
Иначе жили бы вы? Да иль нет?
Нет мне ответа! Безмолвны свидетели...
Да и к чему на вопрос отвечать?
Если б и вправду они мне ответили,
Что ж бы я сделал, чтоб снова начать?
В праздном, смешном любопытстве назревшие,
Странны вопросы людские порой...
Вот отчего до конца поумневшие
Мумии дружно молчат предо мной!
Блещет фонарь над безмолвными плитами...
Всё, что я чую вокруг, — забытье!
Свод потемнел и оброс сталактитами...
В них каменеет и сердце мое...

* * *

О, будь в сознаньи правды смел...
Ни ширм, ни за́весей не надо...
Как волны дантовского ада
Полны страданий скорбных тел, —
Так и у нас своя картина...
Но только нет в ней красоты:
Людей заткала паутина...
В ней бьются все — и я, и ты...

* * *

Какое дело им до горя моего?
Свои у них, свои томленья и печали!
И что им до меня и что им до него?..
Они, поверьте мне, и без того устали.
А что за дело мне до всех печалей их?
Пускай им тяжело, томительно и больно...
Менять груз одного на груз десятерых,
Конечно, не расчет, хотя и сердобольно.

* * *

Всюду ходят привиденья...
Появляются и тут;
Только все они в доспехах,
В шлемах, в панцирях снуют.

Было время — вдоль по взморью
Шедшим с запада сюда
Грозным рыцарям Нарова
Преградила путь тогда.

«Дочка я реки Великой, —
Так подумала река, —
Не спугнуть ли мне пришельцев,
Не помять ли им бока?»

«Стойте, братцы, — говорит им, —
Чуть вперед пойдете вы,
Глянет к вам сквозь льды и вьюги
Страшный лик царя Москвы!

Он, схизматик, за стенами!
Сотни, тысячи звонниц
Вкруг гудят колоколами,
А народ весь прахом — ниц!

У него ль не изуверства,
Всякой нечисти простор;
И повсюдный вечный голод,
И всегдашний страшный мор.

Не ходите!» Но пришельцам
Мудрый был не впрок совет...
Шли до Яма и Копорья,
Видят — точно, ходу нет!

Всё какие-то виденья!
Из трясин лесовики
Наседают, будто черти,
Лезут на́ смерть, чудаки!

Как под Дурбэном эстонцы
Не сдаются в плен живьем
И, совсем не по уставам,
Варом льют и кипятком.

«Лучше сесть нам над Наровой,
На границе вьюг и пург!»
Сели и прозвали за́мки —
Магербург и Гунгербург.

С тем прозвали, чтобы внуки
Вновь не вздумали идти
К худобе и к голоданью
Вдоль по этому пути.

Старых рыцарей виденья
Ходят здесь и до сих пор,
Но для легкости хожденья —
Ходят все они без шпор...

* * *

Вдоль Наровы ходят волны;
Против солнца — огоньки!
Волны будто что-то пишут,
Набегая на пески.

Тянем тоню; грузен невод;
Он по дну у нас идет
И захватит всё, что встретит,
И с собою принесет.

Тянем, тянем... Что-то будет?
Окунь, щука, сиг, лосось?
Иль щепа одна да травы, —
Незадача, значит, брось!

Ближе, ближе... Замечаем:
Что-то грузное в мотне;
Как барахтается, бьется,
Как мутит песок на дне.

Вот всплеснула, разметала
Воды; всех нас облила!
Моря синего царица
В нашем неводе была:

Засверкала чешуею
И короной золотой,
И на нас на всех взглянула
Жемчугом и бирюзой!

Все видали, все слыхали!
Все до самых пят мокры...
Если б взяли мы царицу,
То-то б шли у нас пиры!

Значит, сами виноваты,
Недогадливый народ!
Поворачивайте ворот, —
Тоня новая идет...

И — как тоня вслед за тоней —
За мечтой идет мечта;
Хороша порой добыча
И богата — да не та!..

* * *

По берегам реки холодной —
Ей скоро на зиму застыть —
В глубоких сумерках наносных
Тончайших льдин не отличить.

Вдруг — снег. Мгновенно забелела
Стремнина там, где лед стоял,
И белым кружевом по черни
Снег берега разрисовал.

Не так ли в людях? Сердцем добрым
Они как будто хороши...
Вдруг случай — и мгновенно глянет
Весь грустный траур их души...

* * *

Какая ночь убийственная, злая!
Бушует ветер, в окна град стучит;
И тьма вокруг надвинулась такая,
Что в ней фонарь едва-едва блестит.

А ночь порой красотами богата!
Да, где-нибудь нет вовсе темноты,
Есть блеск луны, есть прелести заката
И полный ход всем чаяньям мечты.

Тьма — не везде. Здесь чья-то злая чара!
Ее согнать, поверь, под силу мне:
Готовы струны, ждет моя гитара,
Я петь начну о звездах, о луне.

Они всплывут. Мы озаримся ими —
Чем гуще тьма, тем будет песнь ясней,
И в град, и в вихрь раскатами живыми
Зальется в песне вешний соловей.

* * *

Как эти сосны древни, величавы,
И не одну им сотню лет прожить;
Ударит молния! У неба злые нравы,
Судьба решит: им именно — не быть!

Весна в цветах; и яблони, и сливы
Все разодеты в белых лепестках.
Мороз ударит ночью! И не живы
Те силы их, что зреть могли в плодах.

И Гретхен шла, полна святого счастья,
Полна невинности, без мысли о тюрьме, —
Но глянул блеск проклятого запястья,
И смерть легла и в сердце, и в уме...

* * *

Ты тут жила! Зимы холодной
Покров блистает серебром;
Калитка, ставшая свободной,
Стучит изломанным замком.

Я стар! Но разве я мечтами
О том, как здесь встречались мы,
Не в силах сам убрать цветами
Весь этот снег глухой зимы?

И разве в старости печальной
Всему прошедшему не жить?
И ни единой музыкальной,
Хорошей думы не сложить?

О нет! Мечта полна избытка
Воспоминаний чувств былых...
Вот, вижу, лето! Вот калитка
На петлях звякает своих.

Июньской ночи стрекотанье...
И плеск волны у берегов...
И голос твой... и обожанье, —
И нет зимы... и нет снегов!

* * *

Твоя слеза меня смутила...
Но я, клянусь, не виноват!
Страшна условий жизни сила,
Стеной обычаи стоят.

Совсем не в силу убежденья,
А в силу нравов, иногда
Всплывают грустные явленья,
И люди гибнут без следа,

И ужасающая драма
Родится в треске фраз и слов
Несуществующего срама
И намалеванных оков.

* * *

Высо́ко гуляет ветер,
Шевелит концы ветвей...
Сильф воздушный, сильф прекрасный,
Вей, красавец, шибче вей!

Там тебе простор и воля;
Всюду, всюду — светлый путь!
Только книзу не спускайся,
Не дыши в людскую грудь.

Станешь ты тоскою грузен,
Станешь вял, лишишься сна;
Грудь людская, будто улей,
Злых и острых жал полна...

И тебя, мой сильф воздушный,
Не признать во цвете лет;
Побывав в болящей груди,
Обратишься ты в скелет;

Отлетев, в ветвях застрянешь
Сочлененьями костей...
Не спускайся наземь, ветер,
Вей, мой сильф, но выше вей!..

* * *

Как робки вы и как ничтожны, —
Ни воли нет, ни силы нет...
Не применить ли к вам, на случай,
Сельскохозяйственный совет?

Любой, любой хозяин знает:
Чтобы траве пышней расти,
Ее скосить необходимо
И, просушив, в стога свезти...

* * *

«Пара гнедых» или «Ночи безумные» —
Яркие песни полночных часов, —
Песни такие ж, как мы, неразумные,
С трепетом, с дрожью больных голосов!..

Что-то в вас есть бесконечно хорошее...
В вас отлетевшее счастье поет...
Словно весна подойдет под порошею,
В сердце — истома, в душе — ледоход!

Тайные встречи и оргии шумные,
Грусть... неудача... пропавшие дни...
Любим мы, любим вас, песни безумные:
Ваши безумия нашим сродни!

* * *

Нет, не могу! Порой отвсюду,
Во тьме ночной и в свете дня,
Как крики совести Иуду —
Мечты преследуют меня.

В чаду какого-то кипенья
Несет волшебница дрова,
Кладет в костер, и песнопенья
Родятся силой колдовства!

Сгорает связь меж мной и ими,
Я становлюсь им всем чужой
И пред созданьями своими
Стою с поникшей головой...

* * *

Было время, в оны годы,
К этим тихим берегам
Приплывали финикийцы,
Пробираясь к янтарям.

Янтари в песках лежали...
Что янтарь — смола одна,
Финикийцы и не знали;
Эта мудрость нам дана!

И теперь порой, гуляя
Краем моря, я смотрю:
Не случится ль мне, по счастью,
Подобраться к янтарю.

Говорит мне как-то море:
«Не трудись напрасно, друг!
Если ты янтарь отыщешь, —
Обратишь его в мундштук.

Он от горя потускнеет...
То ли было, например,
Попадать на грудь, на плечи
Древнегреческих гетер!..

Отыщи ты мне гетеру,
А курить ты перестань,
И тогда тебе большую
Янтарем внесу я дань».

С той поры хожу по взморью,
Финикийцем жажду быть,
Жду мифической гетеры,
Но — не в силах не курить...

* *

Здравствуй, товарищ! Подай-ка мне руку.
Что? Ты отдернул? Кажись, осерчал?
Глянь на мою, — нет ей места в гостиной;
Я, брат, недаром кустарник сажал.

Старый товарищ! Печальная встреча!..
Как искалечен ты жизнью, бедняк!
Ну-ка, пожалуй в мой дом, горемыка...
Что? Не желаешь? Не любо! Чудак!

Выпьем с тобой... Как? И пить ты не хочешь?
Просишь на выпивку на руки дать;
Темное чувство в тебе шевельнулось?..
Что за причина, чтоб мне отказать?

Гордость? Стыдливость? Сомнение? Злоба?
Коль потолкуем — причину найду...
Да не упрямься, мы юность помянем,
Дочку увидишь мою... — «Не пойду».

И отошел он по пыльной дороге,
Денег он взял, не сказав ничего...
Разных два мира в нас двух повстречались...
Камнем бы бросить... Кому и в кого?

* * *

Меня в загробном мире знают,
Там много близких, там я — свой!
Они, я знаю, ожидают...
А ты и здесь, и там — чужой!

«Ему нет места между нами, —
Вольны умершие сказать, —
Мы все, да, все, живем сердцами,
А он? Ему где сердце взять?

Ему здесь будет несподручно,
Он слишком дерзок и умен;
Жить в том, что осмеял он, — скучно,
Он не захочет быть смешон.

Всё им поруганное — видеть,
Что отрицал он — осязать,
Без права лгать и ненавидеть
В необходимости — молчать!»

Ты предвкуси такую пытку:
Жить вне злословья, вне витийств!
Там не подрежет Парка нитку,
Не может быть самоубийств!

В неисправимости былого,
Под гнетом страшного ярма,
Ты, бедный, не промолвишь слова
И там — не здесь — сойдешь с ума!

* * *

На сценах царские палаты
Вдруг превращают в лес и дол;
Часть тащат кверху за канаты,
Другую тянут вниз, под пол.

Весной так точно льдины тают:
Отчасти их луч солнца пьет,
Отчасти в глубь земли сбегают,
Шумя ручьями теплых вод!

Знать, с нас пример берет природа:
Чтоб изменить черты лица
И поюнеть к цветенью года —
Весну торопит в два конца...

* * *

Вконец окружены туманом прежних дней,
Всё неподвижней мы, в желаньях тяжелей;
Всё у́же горизонт, беззвучнее мечты,
На всё спускаются завесы и щиты...

Глядишь в прошедшее, как в малое окно;
Там всё так явственно, там всё озарено,
Там светят тысячи таинственных огней;
А тут — совсем темно и, что ни час, темней...

Весь свет прошедшего как бы голубоват.
Цвет взглядов юности! Давно погасший взгляд!
И сам я освещен сиянием зари...
Заря в свершившемся! Любуйся и смотри!..

Как ясно чувствую и как понятно мне,
Что жизнь была полней в той светлой стороне!
И что за даль видна за маленьким окном —
В моем свершившемся, чарующем былом!

Ведь я там был в свой час, но я не сознавал.
И слышу ясно я — мне кто-то прошептал:
«Молчи! Довольствуйся возможностью смотреть!
Но, чтоб туда пройти, ты должен умереть!»

* * *

Соловья живые трели
В светлой полночи гремят,
В чувствах — будто акварели
Прежних, светлых дней скользят!

Ряд свиданий, ряд прощаний,
Ряд божественных ночей,
Чудных ласк, живых лобзаний...
Пой, о, пой, мой соловей!..

Пой! Греми волнами трелей!
Может быть, назло уму,
Эти грезы акварелей
Я за правду вдруг приму!

Пой! Теперь еще так рано,
Полночь только что прошла,
И сейчас из-за тумана —
Вот сейчас — она звала...

* * *

Эта злая буря пронеслась красиво —
Налетела быстро, быстро и пропала;
Ясный день до бури, ясный — вслед за нею,
Будто этой бури вовсе не бывало.

Но она промчалась далеко недаром:
Умертвила сосну многовековую,
Повалила наземь, обнажила корни...
Плачу я над нею, глубоко тоскую!

Ну, так усыхайте, девственные корни!
Нет, не пережить вам, корни, обнаженья!
Ты, хвоя́, рассыпься пожелтелым прахом, —
Ты ведь не осилишь злого приниженья!

Плачь, душа, плачь горько по сосне убитой!
Лейтесь, лейтесь, слезы, молчаливо-дружно...
Это — над собою сам хозяин плачет...
Говорят, что бури этой было нужно!..

* * *

Бежит по краю неба пламя,
Блеснули по морю огни,
И дня поверженное знамя
Вновь водружается... Взгляни!

Сбежали тени всяких пугал,
И гномов темные толпы
Сыскали каждая свой угол,
И все они теперь слепы́;

Не дрогнет лист, и над травою —
Ни дуновенья; посмотри,
Как всё кругом блестит росою
В священнодействии зари.

Душа и небо, единеньем
Объяты, некий гимн поют,
Служа друг другу дополненьем...
Увы! на несколько минут.

* * *

Как думы мощных скал, к скале и от скалы,
В лучах полуденных проносятся орлы;
В расщелинах дубов и камней рождены,
Они на краткий срок огнем озарены —
И возвращаются от светлых облаков
Во тьму холодную родимых тайников, —

Так и мои мечты взлетают в высоту...
И вижу, что ни день, убитую мечту!

Всё ту же самую! Размеры мощных крыл,
Размах их виден весь!.. Но кто окровянил
Простреленную грудь? Убитая мечта,
Она — двуглавая: добро и красота!..

* * *

Лес густой; за лесом — праздник
Здешних местных поселян:
Клики, гул, обрывки речи,
Тучи пыли — что туман.

Видно издали — мелькают
Люди... Не понять бы нам,
Если бы не знать причины:
Пляска или драка там?

Те же самые сомненья
Были б в мыслях рождены,
Если б издали, случайно
Глянуть в жизнь со стороны.

Праздник жизни, бойня жизни,
Клики, говор и туман...
Непонятное верченье
Краткосрочных поселян.

* * *

Славный снег! Какая роскошь!..
Всё, что осень обожгла,
Обломала, сокрушила,
Ткань густая облегла.

Эти светлые покровы
Шиты в мерку, в самый раз,
И чаруют белизною
К серой мгле привыкший глаз.

Неспокойный, резкий ветер,
Он — закройщик и портной —
Срезал всё, что было лишним,
Свеял на землю долой...

Крепко, плотно сшил морозом,
Искр навеял без числа...
Платье было б без износа,
Если б не было тепла,

Если б оттепель порою,
Разрыхляя ткань снегов,
Как назло, водою талой
Не распарывала швов...

* * *

Как на свечку мотыльки стремятся
И, пожегши крылья, умирают, —
Так его бесчувственную душу
Тени мертвых молча окружают.

Нет улик! А сам он так спокоен;
С юных лет в довольстве очерствелый,
Смело шел он по широкой жизни
И идет, красиво поседелый.

Он срывал одни лишь только розы,
Цвет срывал, шипов не ощущая;
В чудный панцирь прав своих закован,
Сеял он страданья, не страдая.

О, господь! Да где же справедливость?
Божья месть! Тебя не обретают!
Смолкли жертвы, их совсем не слышно,
Но зато — свидетели рыдают...

* * *

Во мне спокойно спят гиганты,
Те, что вступали с небом в бой:
Ветхозаветные пророки,
Изида с птичьей головой;

Спят те, что видели Агóру
И посещали Пританей,
Те, что когда-то покрывали
Багряной сенью Колизей;

Почиют рати крестоносцев,
Славянский сонм богатырей,
И ненавистный Торквемада
В кругу чернеющих друзей;

Спят надушённые маркизы,
Порой хихикая сквозь сон,
И в русском мраморе, в тивдийском,
Положен спать Наполеон.

И все они, как будто зерна
В своих скорлупках по весне,
В свой срок способны раскрываться
И жить, не в первый раз, во мне!

И что за звон, и что за грохот,
И что за жизненность картин,
Тогда несущихся по мыслям, —
Им счета нет — а я один!

Какая связь меж всеми ими
И мной? Во тьме грядущих дней
Какое место будет нашим
В грядущих памятях людей?

О нет! Не кончено творенье!
Бог продолжает создавать,
И, чтобы мир был необъятней,
Он научил — не забывать!

* * *

Тьма непроглядна. Море близко, —
Молчит... Такая тишина,
Что комаров полночных песня —
И та мне явственно слышна...

Другая ночь, и то же море
Нещадно бьет вдоль берегов;
И тьма полна таких стенаний,
Что я своих не слышу слов.

А я всё тот же!.. Не завишу
От этих шуток бытия, —
Меня влечет, стезей особой,
Совсем особая ладья.

Ей всё равно: что тишь, что буря...
Друг! Полюбуйся той ладьей,
Прочти названье: «Всё проходит!»
Ладьи не купишь, — сам построй!

* * *

Погасало в них былое,
Час разлуки наступал;
И, приняв решенье злое,
Наконец он ей сказал:

«Поднеси мне эту чашу!
В ней я выпью смерть свою!
Этим связь разрушу нашу —
Дам свободу бытию!

Если это не угодно
Странной гордости твоей,
Волю вырази свободно,
Кинь ты чашу и разбей!»

Молча, медленно, высóко
Подняла ее она
И — быстрей мгновенья ока
Осушила всю до дна...

* * *

Мой стих — он не лишен значенья:
Те люди, что теперь живут,
Себе родные отраженья
Увидят в нем, когда прочтут.

Да, в этих очерках правдивых
Не скрыто мною ничего!
Черты в них — больше некрасивых,
А краски — серых большинство!

Но если мы бесцветны стали, —
В одном нельзя нам отказать:
Мы раздроблённые скрижали
Хоть иногда не прочь читать!

Как бы ауканье лесное
Иль эха чуткого ответ,
Порой доходит к нам былое...
Дойдет ли к внукам? Да иль нет?

* * *

Полдень декабрьский! Природа застыла;
Грузного неба тяжелую высь
Будто надолго свинец и чернила
Всюду окрасить любовно взялись.

Смутные мысли бегут и вещают:
Там, с поднебесной, другой стороны
Светлые краски теперь проступают;
Тучи обласканы, жизни полны.

Грустно тебе! Тяжело непомерно,
Душу твою мраком дня нагнело...
Слушай, очнись! Несомненно, наверно
Где-нибудь сыщешь и свет, и тепло.

* * *

В чудесный день высь неба голубая
Была светла;
Звучали с церкви, башню потрясая,
Колокола.

И что ни звук, то новые виденья
Бесплотных сил...
Они свершали на землю схожденья
Поверх перил.

Они, к земле спустившись, отдыхали
Вблизи, вдали...
И незаметно, тихо погасали
В тенях земли...

И я не знал под обаяньем звона:
Что звук, что свет?
Для многих чувств нет меры, нет закона
И прозвищ нет!..

* * *

Заката светлого пурпурные лучи
Стремятся на гору с синеющей низины,
И ярче пламени в открывшейся печи
Пылают сосен темные вершины...

Не так ли в Альпах горные снега
Горят, когда внизу синеет тьма тенями...
Жизнь родины моей! О, как ты к нам строга,
Как не балуешь нас роскошными дарами!

Мы силами мечты должны воссоздавать
И дорисовывать, чего мы не имеем;
То, что другим дано, нам надо отыскать,
Нам часто не собрать того, что мы посеем!

И в нашем творчестве должны мы превозмочь
И зиму долгую с тяжелыми снегами,
И безрассветную, томительную ночь,
И тьму безвременья, сгущенную веками...

* * *

А! Ты не верила в любовь! Так хороша,
Так явственно умна и гордостью богата,
Вся в шелесте шелков и веером шурша,
Ты зло вышучивала и сестру, и брата!
Как ветер царственный в немеряной степи,
Ты, беззаботная, по жизни проходила...
Теперь, красавица, ты тоже полюбила,
Насмешки кончились... Блаженствуй и терпи!

* * *

Кто утомлен, тому природа —
Великий друг, по сердцу брат,
В ней что-нибудь всегда найдется
Душе звучащее под лад.

Глядишь на рощу; в колыханьи
Она шумит своей листвой,
И, мнится, будто против воли
Ты колыханью рощи — свой!

Зажглись ли в небе хороводы
И блещут звезды в вышине,
Глядишь на них — они двоятся
И ходят также и во мне...

* * *

Как вы мне любы, полевые
Глубокой осени цветы!
Несвоевременные грезы,
Не в срок возникшие мечты!..

Вы опоздали в жизнь явиться;
Вас жгут морозы на заре;
Вам в мае надобно родиться,
А вы родились в октябре...

Ответ их: «Мы не виноваты!
Нас не хотели опросить,
Но мы надеждою богаты:
К зиме не будут нас косить!»

* * *

Не может юноша, увидев
Тебя, не млеть перед тобой:
Ты так волшебна, так чаруешь
Средневековой красотой!

И мнится мне: ты — шателéнка;
По замку арфы вкруг звучат,
К тебе в плюмажах и беретах
С поклоном рыцари спешат.

И я в раздумьи: как бы это
И мне, с лоснящимся челом,
В числе пажей и кавалеров
Явиться в обществе твоем?

И я решил: стать звездочетом,
Одеться в бархат — тьмы темней,
На колпаке остроконечном
Нашить драконов, сов и змей;

Тогда к тебе для гороскопа, —
Чтоб остеречь от зол и бед, —
В полночный час в опочивальню
Я буду призван на совет.

Тогда под кровом ночи звездной,
Тебе толкуя зодиак,
Я буду счастлив, счастлив... Только
Боюсь, чтоб не слетел колпак!

* * *

Славный вождь годов далеких!
С кем тебя, скажи, сравню?
Был костер — в тебе я вижу
Сиротинку-головню.

Всё еще она пылает...
Нет, не то! Ты — старый дуб,
В третьем царствованьи крепок
И никем не взят на сруб.

Много бурь в тебе гудело,
И, спускаясь сверху вниз,
Молний падавших удары
В ленту черную свились.

Всё былое одолел ты
От судеб и от людей;
Не даешь ты, правда, цвета,
Не приносишь желудей...

Но зато листвою жесткой
Отвечать совсем не прочь
И тому, что день подскажет,
Что тебе нашепчет ночь!..

Голоса́ твоей вершины —
В общей музыке без слов —
Вторят мощным баритоном
Тенорам молодняков...

* * *

Не знал я, что разлад с тобою,
Всю жизнь разбивший пополам,
Дохнет нежданной теплотою
Навстречу поздним сединам.

Да! .. Я из этого разлада
Познал, что значит тишина, —
Как велика ее отрада
Для тех, кому она дана...

Когда б не это, — без сомненья,
Я, даже и на склоне дней,
Не оценил бы единенья
И счастья у чужих людей.

Теперь я чувства те лелею,
Люблю, как ландыш — близость мхов,
Как любит бабочка лилею —
Заметней всех других цветов.

* * *

Гляжу на сосны, — мощь какая!
Взгляните хоть на этот сук:
Его спилить нельзя так скоро,
И нужно много, много рук...

А этот? Что за искривленье!
Когда-то, сотни лет назад,
Он был, бедняга, изувечен,
Был как-нибудь пригнут, помят.

Он в искривлении старинном
Возрос — и мощен, и здоров —
И дремлет, будто помнит речи
Всех им подслушанных громов.

А вот вблизи — сосна другая:
Ничем не тронута, она,
Шатром ветвей не расширяясь,
Взросла — красива и стройна...

Но отчего нам, людям, ближе
И много больше тешат взор
Ветвей изломы и изгибы
И их развесистый шатер?

* * *

Не померяться ль мне с морем?
Вволю, всласть души?
Санки крепки, очи зорки,
Кони хороши...

И несчитанные версты
Понеслись назад,
Где-то, мнится, берег дальний
Различает взгляд.

Кони шибче, веселее
Мчат во весь опор...
Море места прибавляет,
Шире кругозор.

Дальше! Кони утомились,
Надо понукать...
Море будто шире стало,
Раздалось опять...

А несчитанные версты
Сзади собрались
И кричат, смеясь, вдогонку:
«Эй, остановись!»

Стали кони... Нет в них силы,
Клонят морды в снег...
Ну, пускай другой, кто хочет,
Продолжает бег!

И не в том теперь, чтоб дальше...
Всюду — ширь да гладь!
Вон как вдруг запорошило...
Будем умирать!

* * *

Здесь роща, помню я, стояла,
Бежал ручей, — он отведен;
Овраг, сырой дремоты полный,
Весь в тайнобрачных — оголен
Огнями солнца; и пески
Свивает ветер в завитки!

Где вы, минуты вдохновенья?
Бывала вами жизнь полна,
И по мечтам моим счастливым
Шла лучезарная волна...
Всё это с рощей заодно
Куда-то вдаль унесено!..

Воскресни, мир былых мечтаний!
Воскресни, жизнь былых годов!
Ты заблести, ручей, волнами
Вдоль оживленных берегов...
Мир тайнобрачных, вновь покрой
Меня волшебною дремóй!

* * *

Серебряный сумрак спустился,
И сходит на землю покой;
Мне слышно движение лодки,
Удары весла за горой...

Пловец, мне совсем неизвестный,
От сердца скажу: добрый путь!
На труд ли плывешь ты, на радость,
На горе ли, — счáстливым будь!

Я так преисполнен покоя,
Я так им богат, что возьми
Хоть часть, — мне достанет делиться
Со всеми, со всеми людьми.

* * *

Молчи! Не шевелись! Покойся недвижимо...
Не чуешь ли судеб движенья над тобой?
Колес каких-то ход свершается незримо,
И рычаги дрожат друг другу вперебой...
Смыкаются пути каких-то колебаний,
Расчеты тайных сил приводятся к концу,
Наперекор уму без права пожеланий,
И не по времени, и правде не к лицу...
О, если б, кажется, с судьбою в бой рвануться!
Какой бы мощности порыв души достиг...
Но ты не шевелись! Колеса не запнутся,
Противодействие напрасно в этот миг.
Поверь: свершится то, чему исход намечен...
Но, если на борьбу ты не потратил сил
И этою борьбой вконец не изувечен, —
Ты можешь вновь пойти... Твой час не наступил.

* * *

Какая засуха!.. От зноя
К земле все травы прилегли...
Не подалась ли ось земная,
И мы под тропик подошли?

Природа-мать — лицеприятна;
Ведь, по рассказам, не слыхать,
Чтобы в Сахаре или в Коби
Могли вдруг льдины нарастать?

А здесь, на севере, Сахара!
Край неба солнце обожгло;
И даже море, обезумев,
Совсем далеко вдаль ушло...

* * *

Не храни ты ни бронзы, ни книг,
Ничего, что из прошлого ценно,
Всё, поверь мне, возьмет старьевщик,
Всё пойдет по рукам — несомненно.

Те почтенные люди прошли,
Что касались былого со страхом,
Те, что письма отцов берегли,
Не пускали их памятей прахом.

Где старинные эти дома —
С их седыми как лунь стариками?
Деды где? Где их опыт ума,
Где слова их — не шутки словами?

Весь источен сердец наших мир!
В чем желать, в чем искать обновленья?
И жиреет могильный вампир
Урожаем годов оскуденья...

* * *

Над глухим болотом буря развернулась!
Но молчит болото, ей не отвечает,
В мох оно оделось, в тину завернулось,
Только стебельками острых трав качает.

Восклицает буря: «Ой, проснись, болото!
Проступи ты к свету зыбью и сверканьем!
Ты совсем иное испытаешь что-то
Под моим могучим творческим дыханьем.

Я тебя немного, правда, взбаламучу,
Но зато твои я мертвенные воды
Породню, чуть только опрокину тучу,
С влагою небесной, с детищем свободы!

Дам тебе вздохнуть я! Свету дам трясине!
Гром мой, гром веселый, слышишь, как хохочет!»
Но молчит болото и, погрязши в тине,
Ничего иного вовсе знать не хочет.

* * *

Порой, в октябрьское ненастье,
Вдруг загорится солнца луч,
Но тотчас быстро погасает, —
Туман так вязок, так тягуч.

И говорит земля туману:
«Не обижай моих красот!
Я так устала жарким летом,
В моих красотах недочет.

Я так бессильна, так помята,
Глаза сиянья лишены,
Поблекли губы, косы сбиты,
А плечи худы и бледны.

Закрой меня! Но день настанет,
Зимой успею отдохнуть,
Поверь мне, я сама раскрою
Свою окрепнувшую грудь!»

Сказала, и, закрывши очи,
Земля слабеющей рукой
Спешит, как пологом, туманом
Прикрыть усталый облик свой.

* * *

Люблю я время увяданья...
Повсюду валятся листы;
Лишась убора, умаляясь,
В ничто скрываются кусты;

И обмирающие травы,
Пригнувшись, в землю уходя,
Как будто шепчут, исчезая:
«Мы все вернемся погодя!

Там, под землей, мы потолкуем
О том, как жили, как цвели!
Для собеседований важных
Необходима тишь земли!»

* * *

О, неужели же на самом деле правы
Глашатаи добра, красот и тишины,
Что так испорчены и помыслы, и нравы,
Что надобно желать всех ужасов войны?

Что дальше нет путей, что снова проступает
Вся дикость прежняя, что, не спросясь, сплеча,
Работу тихую мышленья прерывает
И неожиданный, и злой удар бича...

Что воздух жизни затхл, что ржавчина и плесень
Так в людях глубоки и так тлетворна гниль,
Что нужны: пушек рев, разгул солдатских песен,
Полей встревоженных мерцающая пыль...

Людская кровь нужна! И стон, и бред больницы,
И сироты в семьях, и скорби матерей,
Чтоб чистую слезу вновь вызвать на ресницы
Не вразумляемых другим путем людей, —

Чтоб этим их поднять, и жизни цель поставить
И дать задачу им по силам, по плечу,
Чтоб добрый пастырь мог прийти и мирно править
И на торгующих не прибегать к бичу...

* * *

Горит, горит без копоти и дыма
И всюду сыплется по осени листва...
Зачем, печаль, ты так неодолима,
Так жаждешь вылиться и в звуки, и в слова?

Ты мне свята, моя печаль родная, —
Не тем свята ты мне, что ты — печаль моя;
Тебя порою в песне оглашая,
Совсем неволен я, пою совсем не я!

Поет во мне не гордость самомненья...
Нет, плач души слагается в размер,
Один из стонов общего томленья
И безнадежности всех чаяний, всех вер!

Вот оттого-то кто-нибудь и где-то
Во мне отзвучия своей тоске найдет;
Быть может, мной яснее будет спето,
Но он, по-своему, со мной одно поет.

* * *

Меня здесь нет. Я там, далеко,
Там, где-то в днях пережитых!
За далью их не видит око,
И нет свидетелей живых.

Я там, весь там, за серой мглою!
Здесь нет меня; другим я стал,
Забыв, где был я сам собою,
Где быть собою перестал...

* * *

Я плыву на лодке. Парус
Режет мачтой небеса;
Лебединой белой грудью
Он под ветром налился.

Море тихо, волны кротки
И кругом — везде лазурь!
Не бывает в сердце горя,
Не бывает в небе бурь!..

Я плыву в сияньи солнца.
Чем не рыцарь Лоэнгрин?
Я совсем не стар, я молод,
И плыву я не один...

Ты со мною, жизнь былая!
Ты осталась молода
И красавицей, как прежде,
Снизошла ко мне сюда.

Вместе мы плывем с тобою,
Белый парус тянет нас;
Я припал к тебе безмолвный...
Светлый час, блаженный час!..

По плечам твоим высоким
Солнце блеск разли́ло свой,
И знакомые мне косы
Льнут к волнам своей волной.

Уст дыханье ароматно!
Грудь, как прежде, высока...
Снизойди к докучным ласкам
И к моленьям старика!

Что? Ты плачешь?!. Иль пугает
Острый блеск моих седин?
Юность! О, прости, голубка...
Я — не рыцарь Лоэнгрин!

* * *

Здесь всё мое! — Высь небосклона,
И солнца лик, и глубь земли,
Призыв молитвенного звона,
И эти в море корабли;

Мои — все сёла над равниной,
Стога, возникшие окрест,
Река с болтливою стремниной
И всё былое этих мест...

Здесь для меня живут и ходят...
Мне — свежесть волн, мне — жар огня,
Туманы даже, те, что бродят, —
И те мои и для меня!

И в этом чудном обладанье,
Как инок, на исходе дней,
Пишу последнее сказанье,
Еще одно, других ясней!

Пускай живое песнопенье
В родной мне русский мир идет,
Где можно — даст успокоенье
И никогда, ни в чем не лжет.

* * *

Что тут писано, писал совсем не я, —
Оставляла за собою жизнь моя;
Это — куколки от бабочек былых,
След заметный превращений временны́х.

А души моей — что бабочки искать!
Хорошо теперь ей где-нибудь порхать,
Никогда ее, нигде не обрести,
Потому что в ней, беспутной, нет пути...

СТИХОТВОРЕНИЯ

II

НОЧЬ

Есть страшные ночи, их бог посылает
Карать недостойных и гордых сынов,
В них дух человека скорбит, изнывает,
В цепи́ несловимых, томительных снов.
Загадочней смерти, душнее темницы,
Они надавляют бессильную грудь,
Их очерки бледны, их длинны страницы —
Страшимся понять их, к ним в смысл заглянуть.
А сил не хватает покончить мученья,
Ворочает душу жестокая ночь,
Толпой разбегаются, вьются виденья,
Хохочут и дразнят, и прыгают прочь.

Затронут на сердце все струны живые,
Насилу проснешься, — всё тихо во мгле,
И видишь в окошке, как тени ночные
Дозором гуляют по спящей земле.
Стена над кроватью луной серебрится,
И слышишь, как бьется горячая кровь,
Попробую спать я, авось не приснится,
Чудовищный сон тот не выглянет вновь.
Но тщетны надежды, плетутся мученья,
Ворочает душу жестокая ночь,
Толпой разбегаются, вьются виденья,
Хохочут и дразнят, и прыгают прочь.

Но ночь пролетела, восток рассветает,
Рассеялись тени, мрак ночи исчез,

Заря заалела и быстро сметает
Звезду за звездой с просветлевших небес.
Проснешься ты бледный, с померкнувшим взором,
С души расползутся страшилища прочь;
Но будешь ты помнить, как ходят дозором
Виденья по сердцу в жестокую ночь.

РИМУ

Далека ты от нас, недвижима,
Боевая история Рима;
Но над повестью многих страниц
Даже мы преклоняемся ниц!

А теперь в славном Риме французы
Наложили тяжелые узы,
И потомок квиритов молчит
И с терпением сносит свой стыд!..

* * *

Я видел свое погребенье.
Высокие свечи горели,
Кадил непроспавшийся дьякон,
И хриплые певчие пели.

В гробу на атласной подушке
Лежал я, и гости съезжались,
Отходную кончил священник,
Со мною родные прощались.

Жена в интересном безумьи
Мой сморщенный лоб целовала,
И, крепом красиво прикрывшись,
Кузену о чем-то шептала.

Печальные сестры и братья
(Как в нас непонятна природа!)
Рыдали при радостной встрече
С четвертою частью дохода.

В раздумьи, насупивши брови,
Стояли мои кредито́ры,
И были и мутны и страшны
Их дикоблуждавшие взоры.

За дверью молились лакеи,
Прощаясь с потерянным местом,
А в кухне объевшийся повар
Возился с поднявшимся тестом.

Пирог был удачен. Зарывши
Мои безответные кости,
Объелись на сытных поминках
Родные, лакеи и гости.

* * *

Скажи мне, зачем ты так смотришь
Такими большими глазами,
Скажи мне, зачем ты так плачешь
И грудь надрываешь слезами?

Ты можешь рыдать сколько хочешь,
И слез ведь надолго достанет,
Любовь проходящее чувство,
Потешит, помучит, обманет.

Зачем утешаться мечтою?
Не лучше ль рассудку поверить
И то, что так бедно и мало,
Огромною мерой не мерить?

Теперь мы друг друга так любим
И счастливы очень, так что же?
Мне каждый твой взгляд, каждый волос
Всех благ, всех сокровищ дороже.

Дороже! но, может быть, завтра
На новую грудь припаду я,
И в том же, и так же покаюсь
Под праздничный звук поцелуя.

В МОРОЗ

Под окошком я стою
И под нос себе пою,
И в окошко я гляжу,
И от холода дрожу.

В длинной комнате светло,
В длинной комнате тепло.
Точно сдуру на балу,
Тени скачут по стеклу.

Под окошками сидят,
Да в окошки не глядят,
Знать, на улицу в окно
И глядеть-то холодно́.

У дверей жандарм стоит,
Звонкой саблею стучит,
Экипажи стали в ряд,
Фонари на них горят.

А на небе-то черно,
А на улице темно.
И мороз кругом трещит...
Был и я когда-то сыт.

ИЗ ГЕЙНЕ

В ночь родительской субботы,
Трое суток пропостившись,
Приходил я на кладбище,
Причесавшись и побрившись.

Знаю я, кому придется
В этот год спуститься в землю,
Кто из смертных, из живущих,
Кувырнется, захлебнется.

Кто-то лысый — полосатый,
В красных брюках, в пестрых перьях,
Важно шел петушьим шагом,
Тонконогий и пузатый.

Кто-то длинный, очень длинный,
В черном фраке, в черной шляпе,
Шел, размашисто шагая,
Многозвездный, многочинный.

Кто-то, радостями съеден,
В туго стянутом корсете,
Раздушен и разрумянен,
Проносился вял и бледен.

Шли какие-то мундиры,
Камергеры, гоф-фурьеры,
Экс-жандармы, виц-министры,
Пехотинцы, кирасиры.

Шли замаранные люди,
Кто в белилах, кто в чернилах,
Шли забрызганные грязью,
Кто по шею, кто по груди.

Шли — и в землю опускались. . .
Громко каркали вороны,
На болоте выла вьюга
И лягушки откликались.

НА КЛАДБИЩЕ

Я лежу себе на гробовой плите,
Я смотрю, как ходят тучи в высоте,
Как под ними быстро ласточки летят
И на солнце ярко крыльями блестят.
Я смотрю, как в ясном небе надо мной
Обнимается зеленый клен с сосной,
Как рисуется по дымке облаков
Подвижной узор причудливых листов.

Я смотрю, как тени длинные растут,
Как по небу тихо сумерки плывут,
Как летают, лбами стукаясь, жуки,
Расставляют в листьях сети пауки...

Слышу я, как под могильною плитой,
Кто-то ежится, ворочает землей,
Слышу я, как камень точат и скребут
И меня чуть слышным голосом зовут:
«Слушай, милый, я давно устал лежать!
Дай мне воздухом весенним подышать,
Дай мне, милый мой, на белый свет взглянуть,
Дай расправить мне придавленную грудь.
В царстве мертвых только тишь да темнота,
Корни цепкие, да гниль, да мокрота,
Очи впавшие засыпаны песком,
Череп голый мой источен червяком,
Надоела мне безмолвная родня.
Ты не ляжешь ли, голубчик, за меня?»

Я молчал и только слушал: под плитой
Долго стукал костяною головой,
Долго корни грыз и землю скреб мертвец,
Копошился и притихнул наконец.
Я лежал себе на гробовой плите,
Я смотрел, как мчались тучи в высоте,
Как румяный день на небе догорал,
Как на небо бледный месяц выплывал,
Как летали, лбами стукаясь, жуки,
Как на травы выползали светляки...

* * *

Ходит ветер избочась
Вдоль Невы широкой,
Снегом стелет калачи
Бабы кривобокой.

Бьется весело в гранит,
Вихри завивает,

И, метелицей гудя,
Плачет да рыдает.

Под мостами свищет он
И несет с разбега
Белогрудые холмы
Молодого снега.

Под дровнишки мужика
Всё ухабы сует,
Кляче в старые бока
Безотвязно дует.

Он за валом крепостным
Воет жалким воем
На соборные часы
С их печальным боем:

Много близких голосов
Слышно в песнях ваших,
Сказок муромских лесов,
Песен дедов наших!

Ходит ветер избочась
Вдоль Невы широкой,
Снегом стелет калачи
Бабы кривобокой.

МОИ ЖЕЛАНЬЯ

Что за вопросы такие? Открыть тебе мысли и чувства!..
Мысли мои незаконны, желания странны и дики,
А в разговорах пустых только без толку жизнь выдыхаешь.
Право, пора дорожить и собой и своим убежденьем, —
Ум прошутить, оборвать, перемять свои чувства нетрудно.
Мало ли, как я мечтаю, и многого в жизни хочу я!..

Прежде всего мне для счастья сыскать себе женщину надо.
Женщина вся в нежном сердце и в мягкости линий,

Женщина вся в чистоте, в непорочности чувства;
Мне не философа, мне не красавицу нужно; мне нужны
Ясные очи, коса до колен и подчас поцелуи.
С этакой женщиной труд будет легче и радость полнее.

Я бы хотел отыскать себе близких по цели и сердцу,
Честных людей, прозревающих жизнь светлым оком
рассудка.
С ними сходясь, в откровенных беседах часы коротая,
Мог бы я силы свои упражнять, проверять свои мысли.
Словом живым заменил бы я мертвые речи печати;
Голос из книги — не то, что живой, вызывающий голос.

Я бы хотел, взявши в руки свой посох, спокойно пуститься
Тем же путем, по которому шло человечество в жизни.
С Желтой реки до священных лесов светлоструйного
Ганга,
С жарких пустынь, где в конических надписях камни
пестреют,
Шел бы я рядом развалин столиц азиатских народов;
Снес свой поклон пирамидам и гордо-задумчивым
сфинксам.
В рощах Эллады, на мраморных плитах колонн
Парфенона
Мог бы я сесть отдохнуть, подошедши к Эгейскому морю,
Прежде чем следовать берегом моря за ходом народов,
Прежде чем сжиться с историей Рима и с жизнью
Европы.

Я бы хотел, обратившись на время в печатную книгу,
В книгу хорошую, полную силы и смысла живого,
Слиться с народом; себя позабыв, утонуть в нем,
стереться,
Слушать удары тяжелого пульса общественной жизни,
Видеть во всей наготе убеждения каст и сословий;
Выведать нужды одних, утешать их во время движенья,

. . .

Стать на виду у других .

Я бы хотел, проходя по широкой, бушующей жизни,
Сердцем ответить на всё, пережить всё, что можно,
на свете,
Всем насладиться душою, и злом и добром человека,
Светлым твореньем искусства, и даже самим
преступленьем,
Ежели только оно не противно той истине светлой,
Смыслу которой законы и люди так часто враждебны.

Я бы хотел, умирая, весь скарб своих сил и познаний,
Весь передать существу молодому, богатому жизнью;
Пусть бы он начал с того, чем я кончил свой труд
и печали,
Пусть бы и он и преемник его умирали для внуков
С чистою совестью, светлою мыслью и полным
сознаньем.

Я бы хотел после смерти, свободен, бесстрастен и вечен,
Сделаться зрителем будущих лиц и грядущих событий;
Чувствовать — мыслью, недвижно дремать в созерцаньи
глубоком,
Но не ворочаться к жизни, к ее мелочной обстановке
Из уваженья к себе и к ошибкам прошедшего века!

ОН НЕ ЛЮБИЛ ЕЩЕ

Он не любил еще. В надежде благодати
Он шел по жизни не спеша,
И в нем дремала сладким сном дитяти
Невозмущенная душа.

Еще пока никто своим нескромным оком
Его мечты не подстерег,
Еще он сам в служении высоком
Своей лампады не зажег.

И как зато хорош, и как далек сомненья
Его неведенья покой!
Он жаждет слов, он чутко ждет движенья
И блещет жизнью молодой.

Он незнаком страстям... Так статуя Мемнона,
Молчанье строгое храня,
Сидит, чернея в звездах небосклона,
И жадно ждет прихода дня.

Обильная роса холодной ночи юга
Живою свежестью кропит,
С заботой нежною ласкающего друга,
Спокойно стынущий гранит.

Но только первый луч падет ему на плечи,
Дымясь, зажжется степь вокруг, —
Немой Мемнон, на ласку светлой встречи,
Издаст живой и полный звук.

* * *

Ночь. Темно. Глаза открыты,
И не видят, но глядят;
Слышу, жаркие ланиты
Тонким бархатом скользят.
Мягкий волос, набегая,
На лице моем лежит,
Грудь, тревожная, нагая,
У груди моей дрожит.
Недошептанные речи,
Замиранье жадных рук,
Холодеющие плечи...
И часов тяжелый стук.

ЗАПЕВКА

Ох! ударь ты, светлый мой топор!
Ох! проснись ты, темный, темный бор,
Чтобы знали, что идет работа горячо,
Разминается могучее плечо.

Ты ль рука людская не сильна!
Застонали, плачут ель, сосна...
Понастроим мы высоких теремов,
Лодок, бочек, колыбелей и гробов.

Повалились сосенка да ель!
Им мягка родных ветвей постель...
Уж с чего начнем мы строиться, с чего?
Вы скажите, братцы, что нужней всего?

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Да, удивительные, право, шутки света
Есть в пейзаже зимнем, нам родном!
Так иногда равнина, пеленой снегов одета,
Богато зарумяненная солнечным лучом,
Какой-то старческою свежестью сияет.
Речонка быстрая, что по равнине протекает
И, кольцами, изгибами крутясь,
Глубокою зимой не замерзает, —
Вступает с небом в цветовую связь!

Небес зеленых яркая окраска
Ее совсем невероятно зеленит;
По снегу белому она, зеленая, бежит,
Зеленая, как изумруд, как ряска...

И так и кажется тогда, что перед нами
Земля и небо шутят, краски обменяв:
Сияет небо, свой румянец снегу передав,
Цвет зелени полей — он принят небесами,
И, как бы в память прошлого, как след следа,
Бежит по снегу белому зеленая вода.
О! если б можно было вам, равнины неба,
Приняв в себя все краски лета и весны,
Взять наши горести, сомненья, нужду хлеба —
Отдав взамен немного вашей тишины
И вашего покоя... нам они нужны!



СТИХОТВОРЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

БОГИНЯ ТОСКИ

Своей спокойною вечернею волною
К моим ногам ласкается река,
И, мнится мне, богиней над водою
Ко мне из волн является Тоска...

В ее очах, и ласковых и скромных,
Нет светлых звезд, нет яркого огня,
И слышу я: «Я доля душ бездомных,
Богиня всех увидевших меня!

Люблю тебя! Ведь ты со мной сроднился;
Кто ж из людей остался мне чужим?
Богиня я! Кто предо мной склонился,
Тому нельзя склониться пред другим.

Я всех веду различными путями;
У всех людей я та же, да не та!
Властна дарить особыми страстями,
Я тоже мощь, я тоже красота!

Я не ищу других богинь величья,
И мне чужда их гордая семья,
Мне не дано особого обличья,
Не дождалась особых храмов я!

Совсем не так, как у другой богини,
Моей сестры, родившейся в волнах,
С огнем страстей, не знающих святыни,
И с поволокой в млеющих глазах,

Но я не меньше, чем она, красива,
Умею я ласкать и обнимать,
Я не хитра, я вовсе не спесива
И, как волна, способна укачать!

Твоя всегда без лжи и без сомненья,
Тебе везде, и в день, и в ночь, верна.
Твои, твои мне любы вожделенья!..
Да, я тебе богиня и жена!

Возьми меня, возьми на все лобзанья,
Я так прекрасна в складках темноты,
Я научу любить свои страданья,
Умчусь с тобой в живых путях мечты!

Люби меня и поклонись богине!
Все боги, все, поблекли и прошли,
А я живу и властвую поныне,
Я — самоцвет, я — адамант земли!

Возьми меня! возьми меня скорее!
Во мне очаг особенных страстей!
Не ведал мир, кто б был меня сильнее,
И смерть отрадна на груди моей...

Спускаю я над ними покрывало...
Я льну к тебе просящею волной!
Лишь потому, что ночь опять настала,
Венчаюсь я, мой избранный, с тобой!

Нам — смерть зари, нам — ночи нарожденье,
Нам — тихих кладбищ бледные огни,
Нам — привидений смутное хожденье,
Нам — в тьме ночной светящиеся пни...

Ты не дерзаешь? Ну, так я дерзаю!
К тебе сама на ложе нисхожу,
Тебя беру я, грею и ласкаю...
О, ты узнаешь, как я извожу!..»

ЦЫГАНКА

Потрясая бубенцами,
Позументами блестя,
Ты танцуешь перед нами,
Степи вольное дитя!

Грудь — подвижна, плечи — живы!
Взгляды жгучих, черных глаз —
Это дерзкие призывы
К страсти каждого из нас...

Но под пологом палатки,
В сокровенный час ночной,
Кто ж отважится на схватки
С непокорною тобой?

Знаю кто! Вот там в сторонке,
Руку сунув за кафтан,
Смотрит вслед красивой женке
Темно-бронзовый цыган.

Этот... Он отдернет полог
Мускулистою рукой...
Будет сон ваш тих и долог
Под палаткою родной...

Как смеешься ты над нами,
Степи вольное дитя,
Потрясая бубенцами,
Позументами блестя!

* * *

Смотрит тучка в вешний лед,
Лед ее сиянье пьет.
Тает тучка в небесах,
Тает льдина на волнах.

Облик, тающий вдвойне,
И на небе и в волне, —
Это я и это ты,
Оба — таянье мечты.

* * *

Упала молния в ручей.
Вода не стала горячей.
А что ручей до дна пронзен,
Сквозь шелест струй не слышит он.

Зато и молнии струя,
Упав, лишилась бытия.
Другого не было пути...
И я прощу, и ты прости.

* * *

«Ты поклянись, — она его просила, —
И верен будь тому, что изречешь,
Что этой песни — в ней большая сила —
Ты никому, как мне, не запоешь.

Не запоешь, когда ко мне на смену
Придет другая с новой красотой,
И я утрачу прелести и цену
Перед твоей окованной мечтой.

Другие песни пой, коль запоются,
Кому, и где, и как — мне всё равно.
Но лишь бы этой песне вновь проснуться
И повториться не было дано.

С меня писал ты, я тебя ласкала,
Я, я низала нити чудных снов,
Я с нею вместе чувством трепетала...
Спускала с плеч последний свой покров.

Та песнь моя! вся, вся без исключенья...»
Он клятву дал... и наконец запел,
Когда в час смерти, в облике виденья
Ее он вновь пришедшую узрел.

РЕЦЕПТ МЕФИСТОФЕЛЯ

Я яд дурмана напущу
В сердца людей, пускай их точит!
В пеньку веревки мысль вмещу
Для тех, кто вешаться захочет!

Под шум веселья и пиров,
Под звон бокалов, треск литавров
Я в сфере чувства и умов
Вновь воскрешу ихтиозавров!

У передóхнувших химер
Займу образчики творенья,
Каких-то новых, диких вер
Непочатого откровенья!

Смешаю я по бытию
Смрад тленья с жаждой идеала;
В умы безумья рассую,
Дав заключенье до начала!

Сведу, помолвлю, породню
Окаменелость и идею,
И праздник смерти учиню,
Включив его в Четьи-Минею.

БЫТЬ ЛИ ПЕСНЕ?

Какая дерзкая нелепость
Сказать, что будто бы наш стих,
Утратив музыку и крепость,
Совсем беспомощно затих!

Конечно, пушкинской весною
Вторично внукам, нам, не жить:
Она прошла своей чредою
И вспять ее не возвратить.

Есть вёсны в людях, зимы глянут,
И скучной осени дожди,
Придут морозы, бури грянут,
Ждет много горя впереди...

Мы будем петь их проявленья
И вторить всем проклятьям их;
Их завыванья, их мученья
Взломают вглубь красивый стих...

Переживая злые годы
Всех извращений красоты —
Наш стих, как смысл людской природы,
Обезобразишься и ты;

Ударясь в стоны и рыданья,
Путем томления пройдешь.
Минуешь много лет страданья —
И наконец весну найдешь!

То будет время наших внуков,
Иной властитель дум придет...
Отселе слышу новых звуков
Еще не явленный полет.

* * *

Перед большим успокоеньем,
Когда умру я, но не весь,
Покой тот с истым наслажденьем
Мной предвкушается и здесь.

Покой в отсутствии желаний,
В признаньи мощности судьбы,
Покой вне дерзостных исканий,
Вне всяких странствий и борьбы!

Бой кончен! Поднято забрало!
Чего здесь в жизни ожидать?!
Какое дивное начало
Тому, что может мне предстать!

Да, радость смерти предвкушая,
Мой ум спокойный не дерзнет
Куда-то вновь пойти мечтая,
Куда-то вновь смотреть вперед.

Но я боюсь еще, что можно
Вернуться нéжданно назад,
Когда и дерзко и безбожно
Зажжет мне душу женский взгляд!

Покров покоя я откину
И, словно эллин древних дней,
Бесстыдно оправдаю Фрину,
Чуть только выйдет из зыбей.

* * *

Зыбь успокоенного моря
Идет по памяти моей...
Я стар. И радостей и горя
Я вызвал много у людей.

Я вызывал их, но невольно,
Я их не мог не вызывать...
Ведь и земле, быть может, больно
Пространства неба рассекать!

А всё же двигаться ей надо...
Мы тоже движемся, летим!
В нас зло смеются силы ада
И горько плачет херувим.

И только изредка мы властны,
Случайно, правда, не всегда,
Бывать к судьбáм людей причастны,
Как у машины провода.

Вот так и я! Болев душою
Над горем брата своего,
Я хлеба не давал порою,
Но я не отравлял его!

Я мог бы быть гораздо хуже,
Служа судьбе проводником...
Все знают: вслед великой стуже
Морозец кажется теплом!

Он не несет окоченения,
Он может даже согревать,
И для весеннего цветенья
Стволы и почки сохранять.

Да! Много сеял я несчастья!
Но я далеко не из тех,
Кто любит зло из любострастья,
В ком воплощен и ходит Грех!

В РОЩЕ

Слушай, сосна! Расскажи мне былину!
Я уловлю ее в шуме ветвей!
Про заколдованный лес, про долину
Сказочных битв, всех древнейших древней!
Правда ли, будто здесь прежде живали
Люди забытые, сродные нам;
Всё, даже имя свое, потеряли
И отошли к завершившимся снам?
Так же, как мы, знали злобу и горе,
Были свободны в ограде тюрьмы;
Нежность, любовь зажигались в их взоре
И умирали они так, как мы?
Правда ль, что в некое время, когда-то,
Жил тут неведомый волхв иль друид;
Сердце его было страстью объято,
Жрицу любил, был любим и убит?
Правда ль, что в память того преступленья
Был тут воздвигнут большой мавзолей,

Синее море несло песнопенья
К камням подножья с волна́ми зыбей?
Море теперь так далёко сбежало;
Край, прежде людный, совсем позабыт!
Памяти память — и ту посвевало
Время... свевает и дальше бежит.
Вижу: сосна головою кивает —
Будто бы: да! — говорит мне в ответ.
Эту былину от прадедов знает,
Слышала, чуть появилась на свет!

Правда ли, дальше сосну вопрошаю,
Будто бы вслед нам, чуть срок подойдет,
Море прильет к опустелому краю,
Новая жизнь на песках зацветет?
Новые сосны взрастут между вами,
Новые люди вослед нам придут,
И, обвеваемы новыми снами,
Тот же печальный вопрос зададут?
Будут опять увлекаться любовью!..
Ненависть, злоба, позор и печаль
Им, нас сменившим, покажутся новью;
Новая будет заманивать даль.
Будут они и мечтать и молиться,
Верить в исход из тяжелой тюрьмы,
Будут не ведать того, что случится,
И ошибутся во всем, как и мы?

Нет мне ответа! Но вижу я ясно:
Буря подходит, глубоко темна...
Низко спускается! Изжелта-красно
В недрах той бури злорадной до дна!
Вьются пески и закудрились шквалы,
Взвизгнули вихри из облачной мглы...
Дрогнули сосны! Велики и малы
Вкруг закачалися все их стволы!
Тьма громоносная тень обложила!
Воздухом душным дышать тяжело!!
Первая молния тьму озарила!..
Буря, раскрыв огневое чело,
Шла под раскатами мощного грома,
В диком величьи кругом грохоча,

Сонмом теней и огнями влекома,
Всё, ею сбитое, следом влача!
Видел я смутно, как сосны валились!
Думалось мне: гибель им оттого,
Что к человеческой мысли склонились
В поисках тайн бытия своего!
Что не затем им даны сердцевины,
Чтобы им нашим сердцам подражать;
Могут, пожалуй, шептать их вершины —
Только не смеют со смыслом шептать!

И смертоносная буря промчалась,
Стало кругом будто утром светать...
Роща кругом буреломом валялась!
Нет! ей былины своей не сказать!

* * *

И холодной волной по железным бортам
Разбивается зыбь океана!
Только в меру ль ему и его глубинам
Сердца бедного жгучая рана?!.

Нет! Плывет по тебе не живой богатырь,
Чтоб прославить красу боевую...
Нет! Останки везут, и темна твоя ширь
И баюкает мощь не живую!

Что мне в том, что я мал и что мир так велик,
И что я побежденным остался!
Всё ж я соколом был, к поднебесью привык
И к нему сколько мог порывался.

Да, я мал! Да, я слаб! Но велик был любить
И велик неисходной тоскою...
И тебе, океан, той тоски не покрыть
Всею черной твоей глубиною!

ЛЕЗГИН

Свершивши раннюю молитву,
Пока проснется генерал,
Старик-лезгин кряхтит и чистит
Полуаршинный свой кинжал!

На лезвии, в сияньи солнца,
В насечках букв — Корана стих;
Старик как будто видит что-то
В клинке, сквозь пальцы рук своих...

Из-под папах в кустах — винтовки
По русским целятся войскам...
Вон дымки выстрелов, вон пушки,
Вон генералы, вон — имам!..

Дымится дуло пистолета,
Лезгин сует его в кабур,
Глядит: на этот раз удача —
Упал и корчится гяур...

Спешат в аул... Победа, радость!
Там блеск чарующих очей,
Там — вин холодные кувшины,
Там песни старых узденей...

Кинжал дрожит... Другие виды...
И длинный ряд живых картин...
Перед лицом воспоминаний
Расхорохорился лезгин!

Забыл, что больше нет Кавказа,
Нет тех времен, нет тех людей!
Явились в жизнь ключи Боржома;
Есть нефть, но нет жрецов огней!

Клокочет жизнь неудержимо,
Бушует сердце старика...
Но вдруг — звонок, — мечты исчезли
От генеральского звонка!

Кинжал в ножнах. Собравши платье,
Лезгин торопится служить
И к генеральской папироске
Подносит спичку закурить!

РАУТ

И раут был блестящ! Вся зала
Сияла множеством огней...
Владыкам бирж и капитала
И представителям властей —

Повсюду лживые приветы,
Пожатья рук, любезность слов,
Недобрых взглядов рикошеты,
И блеск эмалей орденов...

А с женских плеч в лучах пылали,
Стремясь былое наверстать,
Алмазы, что в земле лежали
И утомились света ждать...

Казалось мне — певцов эстрада,
В цветах и искрах хрусталя,
Плыла, как некая громада,
Как яркий призрак корабля!

И к этим людям всякой власти,
Будя их мысли и сердца,
Сквозь листья пальм, как бы сквозь снасти,
Благовестила песнь певца.

Звучит мечтательная лира,
С ней заодно звучат слова,
И блещет свет иного мира
Сквозь их живыя кружева.

О! Сколько было тут химеры,
Как он кичился — нищ и наг, —
Как перерос свои размеры
Пустых людей ареопаг.

А пестун вечного значенья,
Глашатай чувства всех времен,
Певец, — ведь он для развлеченья
За деньги петь здесь приглашен!

Они ему рукоплескали,
И титулованный мирок
Сплеча оценивал скрижали,
Которых и прочесть не мог...

Тут вечное ничтожным стало,
Атланта с ног сшибал пигмей...
Корабль! Корабль! Отдай причала
И уплывай — скорей, скорей...

В АББАТСТВЕ СЕН-ДЕНИ

А! Вот он наконец, дворец успокоенья,
Хранитель царственных могил,
Где под двойной броней гранита и сомненья
Лежат без прав и даже без движенья
Властители народных сил.

Какая высота! Крепки и остры своды,
Под ними страшно простоять,
И если из гробов в короткий час свободы
Встают покойники на призывы природы
И тянутся, — им есть где погулять.

И сыро и свежо. Темны углы собора,
По ним и чернь годов, и копоть залегла,
А в куполе вверху, свободны от надзора,
Сошлись на долгий спор, на подпись приговора
И шепчутся прошедшие дела.

За перспективою мельчая, умаляясь,
Стоят ряды готических столбов;
В цветные стекла радугой врываясь,
Свет вечера играет, расстилаясь
Дорожками узорчатых ковров.

Одеты мрамором, в чехлах, под вензелями,
Гробницы королей прижались к алтарю,
Лампады теплятся спокойными огнями,
Храм населяется вечерними тенями,
И сонный день приветствует зарю.

Что, если бы теперь, по воле провиденья,
Из-под гранита проросли
Прошедшие дела, как странные растенья,
И распустили бы во имя сожаленья
Свои завитые стебли?

Что, если бы теперь каменья засквозили
Зевнули рты готических гробниц,
И мертвецов коронных обнажили,
И тихим светом осветили
Черты, как смысл, отживших лиц?

Вы жили, короли, вас Франция питала,
Чудовищная мать чудовищным сосцом,
Веками тужилась, все силы надрывала,
От вас отплаты, службы ожидала —
Вы отплатили каждый мертвецом.

Скажите, короли: под мехом багряницы
Пришлось ли вам хоть раз когда-нибудь
На площади взволнованной столицы
Средь торжества, с парадной колесницы
По-человечески вздохнуть?

Пришлось ли вам хоть в шутку усомниться
В себе самом, смотря на пышный двор,
Могли ли вы слезой не прослезиться,
Могли ли сердцу не позволить биться,
Когда рука черка́ла приговор?

Был светлый день, — оков перегоревших
Народ не снес, о камни перебил
И трупы королей своих окоченевших,
В парчах и в золоте истлевших,
Зубами выгрыз из могил.

Был мрачный день, — народ остановили,
Сорвали шапки с бешеных голов,
Систематически и мерно придушили,
А трупы королей собрали и сложили
В большую кучу в склеп отцов.

И я бы мог, спустившись в склеп холодный,
Порыться в куче тех костей
И брать горстями прах негодный,
Как пыль дорог, как пыль дорог — свободный,
Давно отживших королей.

И в этой-то пыли, и в этом сером прахе
Смешав Людовиков с Францисками в одно,
Лежат династии в молчании и страхе
Под вечным топором, на бесконечной плахе,
И безнадежно и давно.

И всякий рвет и рубит то, что хочет,
Своим ножом от королевских тел;
Король-мертвец в ответ не забормочет,
Когда потомок громко захохочет
Над пустотой прошедших дел.

Темно. Очерчены неясными чертами,
Белеют остовы готических гробниц,
Лампады теплятся спокойными огнями,
А у меня скользят перед глазами
Немые образы без лиц...

* * *

Чудесный сон! Но сон ли это?
Так ясен он, так ощутим!
В мельканьи трепетного света
Он, как ваянье, недвижим!

Мне снилась юность золотая
И милой женщины черты
В расцвете радостного мая...
Скажи! Признайся! Это ты?

Но как мне жаль, что я старею,
Что только редко, иногда,
Дерзаю бледную лилею
Окрасить пурпуром стыда.

Гостепріимчески и мирно приютили,
А прахъ Карла собрали и сложили
Въ остывшую кучу во скитъ отцевъ.

И я съ моей отпущенный въ [illegible]
Карлъ [illegible] въ кучѣ тѣхъ костей,
А братъ [illegible] прахъ [illegible]
Какъ [illegible] дорогъ, какъ [illegible] дорого, свободы
Давно отжившихъ королей.

И въ этой-то землѣ, и въ этомъ страшномъ прахѣ
Смѣшали Людовиковъ съ Французами въ одно.
Лежатъ династіи въ молчаніи и страхѣ,
Подъ вѣчнымъ потолкомъ, на безконечный [illegible].
И безразлично и давно.

И всякій цвѣтъ и рубины только камней.
Сняли наружно отъ Карловскихъ знамёнъ,
Карлъ мертвецъ, и этотъ не благодарный
Когда потопленъ громко заключенный
Подъ опустѣлыми громадами дней.

Теперь Очерченъ высокими чертами
Блистаетъ остовъ готическихъ громадъ.
[illegible] —
А уличныхъ [illegible] передъ [illegible]
Живые образы будущихъ — — — — —

К. Случевскій.

* * *

Она — растенье водяное
И корни быстрые дает
И населяет голубое,
Ей дорогое царство вод!

Я — кактус! Я с трудом великим
Даю порою корешок,
Я неуклюж и с видом диким
Колол и жег что только мог.

Не шутка ли судьбы пустая?
Судьба, смеясь, сближает нас.
Я — сын песков, ты — водяная.
Тс! тише! то видений час!

* * *

Снежною степью лежала душа одинокая,
Только порою заря в ней румянец рождала,
Только безмолвная лунная ночь синеокая
Отблеском жизни безмолвную степь наводняла!

Чует земля: степь в угрюмом молчании мается.
Дай-ка, подумала, тихо дохну я туманами...
Доброю стала земля! Ось к весне наклоняется,
Степь обнажилась и вся расцветилась тюльпанами!

Так ли, не так, наяву иль во сне быстротающем,
В сказке, не в сказке, но некою злой ворожбою
Ты наклонилась ко мне своим взглядом блистающим...
Дрогнула степь, я цвету, я алею тобою...

* * *

Учит день меня:
Не люби ее!
Учит ночь меня:
Всё ее — твое!

Я с ума схожу
В этих да и нет!
Ночь! цари одна!
Гасни, солнца свет.

* * *

Когда я ребенком был, мал,
Я солнце в воде уловлял,
И, блестки хватая в реке,
Мечтал сохранить их в руке!

Я жил! Жизнь осилила грудь...
И вновь я хочу зачерпнуть
Тех искр с их чудесным огнем,
Что зыблются в сердце твоем!

Чуть только коснусь — пропадут!
И капли, что слезы, бегут
С руки... и в тебе так темна
Погасшая вдруг глубина.

* * *

Налетела ты бурею в дебри души!
В ней давно уж свершились обвалы,
И скопились на дне валуны, катыши
И разбитые вдребезги скалы!

И раздался в расщелинах трепетный гул!
Клики радостей, вещие стоны...
В ней проснулся как будто бы мертвый аул,
Все в нем спавшие девы и жены!

И гарцуют на кровных конях старики,
Тени мертвые бывших атлетов,
Раздается призыв, и сверкают клинки,
И играют курки пистолетов.

* * *

Ты, красавица лесная,
Чудный ландыш, бледный лик!
Молча я тебя срываю
В лунном свете, в чудный миг!

Что же делать? Я не властен!
Знаю я — зачахнешь ты.
Смерть — за то, что ты душиста,
Смерть — во имя красоты!

* * *

Сегодня день, когда идут толпами
На гробы близких возлагать венки...
О, не скупись последними цветами!
Не пожалей движения руки!

На грудь мою клади венок твой смело!
Вторично ей в любви не умирать...
Как я любил... как страсть во мне горела...
Из-под венка, поверь мне, не узнать.

* * *

И мнилось мне, как прежде, вновь
В годах прошедших я вращался...
Мечтал, грустил, узнал любовь...
И обожал и сомневался...

Да! ты одна смелее всех
В тайник сознанья проникала!
Меня с ума сводил твой смех...
Я обмирал — чуть обнимала...

Прошло! Дебрь старости сильна!
В ней нет, не может быть прогалин!
И я, как Марий средь развалин,
Сижу и ожидаю сна!

* * *

Ярко вспыхивают розы,
Раскрываясь по кустам,
И горят в лучах полудня,
Пламенея тут и там.

Отцветут они, погаснут
Быстро, вслед одна другой,
Осыпая лепестками
Куст колючий, но родной...

Я ревнив, моя голубка!
Верь, не быть тебе ничьей:
На груди моей цвела ты
И осыплешься на ней!

* * *

Топчутся волны на месте;
С ветром играет река;
Ветер проносится с моря,
Станет река глубока!

Быстро река обмелела,
Ветер идет верховой...
Люди реке подражают...
То же со мной и с тобой!

* * *

Я ясно сознаю, что часто надо мной —
Над помышленьями, никак не над душой, —
Проходит облако; вдруг думы оттенит
И придает всему нежданно новый вид!

Сквозь что-то будто бы идет тревожный свет...
И краски новые бегут, которых нет.

И ты, красавица! мне мнилось, будто вдруг,
Знак святости твоей, дискообразный круг
Над головой твоей, кто б думать это мог,
Преобразился вдруг в вакхический венок!

* * *

Не Иудифь и не Далила
Мой идеал! Ты мне милей
Той белой грудью, что вскормила
Твоих двух маленьких детей!

Девичья грудь — она надменна,
Горда! ее заносчив взгляд!
Твоя — скромна и сокровенна
И мне милее во сто крат!

Она мной чуется так ярко,
Сквозь ткань одежд твоих светла...
Предупредил меня Петрарка:
Лаура девой не была.

ДИКИЙ ЦВЕТОК

Дикий цветок, ты меня полюбила
И в беззастенчивой страсти твоей
Светом горячей любви окаймила
Скорбные пустоши старческих дней!

Дикий цветок, я тогда не заметил,
Как эта страсть родилась, как цвела;
Видно, слепым был, не в пору ответил —
Вижу теперь, как она убыла...

Ты говоришь мне: «О, как я любила!
Как я любила... нет, ты бы не мог...»
Правда твоя! ты мне очи открыла...
Не осыпайся, мой дикий цветок!

* * *

Люблю я в комнате сиянье хрусталей.
Вдруг, не́жданно блеснут то в том углу, то в этом.
Сверкают, яркие, из сумрачных теней
Зеленым, пурпурным иль темно-синим цветом.

И тут же гаснут все; но вот опять блестят,
Чуть с места я сойду; и снова погасают...
Не так ли и в тебе на мой тревожный взгляд
Они нежда́нные повсюду возникают?

О! пожалей меня! Где стать, ты мне скажи,
Чтоб все они в тебе, все сразу засияли...
Чтоб не смеялись вслед... не прибегали к лжи
И были скромными... а, главное, молчали!

ИЗ БАЙРОНА

* * *

Ты расстанешься с жизнию трудною,
Чаши полной коснувшись едва,
И над прахом парчой изумрудною
По весне разрастется трава;
Роза, первенец года, распустится,
Зацветет над могилой твоей,
Низко, низко ветвями опустится
Кипарис-меланхолик над ней.

Часто грусть над струею ласкающей
Наклониться над прахом придет,
И ее рой видений летающий
Чутким сном усыпит, обовьет.
Те ей дороги будут мечтания,
Она будет тихонько ходить,
С осторожностью, полной внимания,
Будто может твой сон пробудить.

Но оставим всё это; напрасные
Слезы будем ли мы проливать,
И пред смертью немой и бесстрастною
Снисхожденья себе ожидать?
Да и эта уверенность в мнении
Помешает ли падать слезам,
Посмотри, проповедник забвения,
Ты, ты бледен, ты плачешь и сам.

7 января 1857

ИЗ ВИКТОРА ГЮГО

* * *

Со дня на день живешь, шумишь под небесами,
По книгам держишь речь с былыми мудрецами —
С Виргилием и Дантом. Ну, а там
Поедешь погулять по избранным местам,
В трактире, посмеясь, готовишься к ночлегу,
А взгляды женщины в вас вносят мысль и негу;
Любимый искренно — безумно любишь сам!
Рад слушать песни птиц, скитаясь по лесам;
Проснешься поутру — семья давно одета;
Она целует вас и ждет от вас привета!
За завтраком журнал, и каждый божий день
С любовью — ненависть, с трудом мешаешь лень!
А там приходит жизнь, жизнь, полная волнений,
В собранья вносишь мысль и ждешь от них
решений;
Пред целью близкою, перед игрой судьбы
Мы слабы и сильны, мы деспоты-рабы.
Волна в семействе волн, дух в вечном колебаньи,
Всё, всё проносится то в смехе, то в рыданьи.
Идешь и пятишься, скользит, скользит нога...
А там загадка — смерть: безмолвна и строга.

4 апреля 1857

ИЗ ОГЮСТА БАРБЬЕ

IL PIANTO[1]

Да! грустно на земле одно лишь зло встречать,
Настраивать свой стих на стон и вопль кручины,
На ясных небесах бег тучи подмечать,
В лице смеющемся отыскивать морщины.
Счастливы вы, кому дано в удел
В искусстве знать одно лишь наслажденье!

[1] Плач (итал.). — *Ред.*

Но я! когда бы мне возможно было пенье
О неге и любви, когда бы я запел
О милой девушке, мечтательной и стройной,
О да! и у меня, живой и беспокойный,
Родился бы свой мир и зароились сны;
Я пел бы вас, луга, и вас, красы весны,
И в песнях бешеных, в капризах вдохновенья
Я перешел бы жизнь без грома и волненья.

Но голос внутренний, он говорит в поэте,
Что каждому из нас дана и роль на свете,
Что каждый из людей, отпущенных земле,
Несет клеймо судьбы в груди и на челе;
И должен человек, наперекор желанью,
Идти путем своим и следовать призванью;
И встречному поклон! неопытную руку
Ему подай ты, друг, но кто он — не смотри;
Иди, иди вперед, неси и труд и скуку,
Жди ночи, а за ней — загадочной зари.
Я лекарь, и меня судьба к тому призвала;
Моя больница — мир. Я поднял одеяло,
И, чтоб от гноя ран не пострадал больной,
Я пальцы наложил на раны и на гной!

29 мая 1857

СМЕХ

Г. Е. Б — ву

Всё потеряли мы. Старинный смех, и ты,
Лишенный смелости и честной остроты,
Наследья прадедов, под небом наших дней
Струею звонкою не брызжешь из грудей;
Ты, чуждый зависти и местью не отмечен,
Ты бросил этот свет, забыт и скоротечен.
А как ты был любим, счастливый, звонкий смех!
Теперь ты хил и слаб; ты грустен в час потех;
И губы под тобой и сжаты и бледны,
И лихорадочно, насильно сведены.

Отброшена любовь, и песня не клеится, —
Где людям хохотать и в хохоте забыться!

С румянцем на щеках, за чашей круговой,
Красавец не поет подруги молодой;
Пред мирным очагом к жене не льнет супруг;
Не носится, крича, в счастливой пляске круг;
Нет шума и острот, игры кругом не видно;
В цинизме тонем мы, так жалко, так бесстыдно;
Повсюду льется желчь; морщины, сухость лбов.

Да! чтоб дойти до нас в одежде ледяной,
Где шел ты, старый смех, дорогою какой?
Нам долго слышался: неистово кляня,
Могучий голос твой скользил из-под щебня.
Тобою, старый смех, в страданьях холодея,
Прощался и Вольтер, слезы пролить не смея...
А ты, смех обезьян, смех нынешний, больной,
Тяжелый молоток в руках толпы пустой!
Париж тобой пленен, тебя он полюбил,
И в этой-то любви всё славное сгубил!

Крепись, крепись, талант, родившийся для спора,
С зародышами сил, с желанием простора!
Крепись, я говорю, твоя замолкнет песнь,
Не проскользнет она сквозь ржавчину и плеснь!
Напрасно мысль твоя, томимая сомненьем,
Захочет вынестись прекрасным вдохновеньем —
Насмешка грубая, ревнива ко всему,
Что ясно и свежо по чувству и уму,
Завидуя, она сразит тебя вначале,
И падшая душа в бессильи и печали,
В восторге искреннем желавшая взлететь
И гимн, свой первый гимн, бессмертию пропеть,
Мелькнувшая на миг прекрасною зарницей, —
Опустит голову, склони́т свои ресницы,
Очутится опять в грязи и на полу,
Запугана, пойдет к знакомому углу,
Крыло подбитое влача, теряя перья,
Чтоб пасть до времени от грусти и безверья!

18 мая 1857

ЧАН

В. П. П — у

Есть яма грязная, есть чан, изделье ада;
Его зовут Париж. Тверда его ограда;
Он, как могильный склеп, уродливо сложен,
Водою тинистой и желтой окружен;
Он, как волкан какой в живучести своей,
И тянет, и сосет нарывы наших дней;
В него испорченность, в него разврат земли
Протоки с давних пор струям своим нашли;
И льешь ты, адский чан, на мир наш иногда
Излишек накипи и грязи, и стыда.

И редко в то жерло стыдливое светило
Лучами светлыми доверчиво скользило;
Нет! высоко взнеслись над мрачной глубиной
И шум, и стук, и треск, как пена над волной;
И там никто не спит; и мозг там человека
Натянут, как струна, гаданиями века;
Живет один на трех; в своем распутстве мрут;
До гроба перегнив, потом в гробах гниют.

В Париже снесено так много алтарей,
Потухло столько звезд, не выполнив путей,
Так много пало вер, до цвета не созрев,
Так много сгнило сил, пробиться не успев,
Так много с смертию носилось колесниц,
Так много прав пошло на долю жалких лиц,
Так много сил людей, так много веры в них
Полопалось, треща, одни сменив других, —
Что бедный человек, лишенный лучших дел,
В почтеньи к золоту забыться захотел.

Промчались сотни лет порывов и волнений,
Дрожаний без числа и тщетных заблуждений,
И вер непризнанных, и тронов королей,
Рассыпанных песком по зелени полей.
И время, тот старик, что страшною косою
И всех и всё разит, не трогаясь мольбою,
То время, что снесло тебя, развратный Рим,

Две тысячи годов промчалось по своим
Широким колеям — и что же повстречало?
Разврат и бедствие, как прежде то бывало.

Как прежде жалкий бред, как прежде шум и стук,
Распластанная власть — добыча сотен рук,
Как прежде гонится добро пустой толпою,
Как прежде золото всё двигает собою,
Насмешка прежняя над верою отцов,
И жажда фокусов, актеров и бойцов,
И наглость с роскошью являются бесстыдно,
Безнравственность во всех, повсюду очевидна
Чудовищность греха, в сиянии порок,
И людям всё равно, кто низок, кто высок!

Да! твой народ, Париж, на удивленье света,
И желт и перетерт, как старая монета;
Как уличный крикун, горланя целый день,
Шатается один, взлюбив всем сердцем лень,
Бьет по пути собак, и углем, где случится,
Он сделать надписи позорной не стыдится,
Он в мать свою плюет, постыла вера в нем,
Не знает неба он в безверии своем,
Безумной вольности отросток поврежденный,
Пятнадцать лет погряз в пороке совершенно.

А между тем он храбр, он грудью смерть встречает,
Ни порох, ни картечь гуляку не смущает;
«Свобода!» — клич его, в руках его пальник,
А если пасть судьба — он падает велик.
Но если раз мятеж промчался перед дверью,
Инстинктом зла объят и преданный безверью,
Подхвачен с радостью безумною толпой,
Он граждан не щадит, он рушит их покой,
Он мечется в крови, и сердце сладко бьется,
Готовя месть и смерть кому ни попадется.

Париж! Твои сыны готовы жизнь отдать,
Чтоб было чем шутить, чтоб было что ломать,
И мысль истории французского народа
У мира на глазах темнеет год от года.

Три дня его валы стучатся в облака,
Чтобы упасть потом с бессильем старика.
Единственный народ! в тебе слиты́ с рожденья
Восторженность идей и стойкость убежденья,
Ты и добру и злу оброки приносил,
Тебя нельзя не чтить — но и понять нет сил!

Есть яма грязная, есть чан, изделье ада;
Его зовут Париж. Тверда его ограда;
Он, как могильный склеп, уродливо сложен,
Водою тинистой и желтой окружен;
Он, как волкан какой в живучести своей,
И тянет, и сосет нарывы наших дней;
В него испорченность, в него разврат земли
Протоки с давних пор струям своим нашли;
И льешь ты, адский чан, на мир наш иногда
Излишек накипи и грязи, и стыда.

12 июня 1857

ИЗ МАРТИНА ОПИЦА

ПЕСНЯ

Пойдем-ка на гулянье
В зеленый, темный бор!
Там птичек щебетанье
Несется с ближних гор.

Как им не веселиться?
Свобода им дана;
Их песенка домчится
К тем, для кого она.

Меня же не услышат,
Хоть начал бы кричать:
Та, кем все чувства дышат,
Не хочет песен знать.

Счастлив, кто, петь умея,
Как птиц летучий хор,
Живет, тоской не млея,
И чувствует простор.

Хоть и для вас порою
Есть клетка при окне,
Но я. . . я пойман тою,
Что не добра ко мне.

Из клетки, из неволи
Вам можно улететь,
А мне из тяжкой доли
Не выйти — умереть!

ИЗ ФРИДРИХА ФОН ГАГЕДОРНА

ЧУВСТВО ВЕСНЫ

Вы, краски луговые!
Ты, вновь одетый лес!
О, будьте мне родные,
Вы, краски луговые!
Как и моя Мария,
Полны живых чудес
Вы, краски луговые,
Ты, вновь одетый лес!

Ты, тишина святая!
Ты, воздух, полный чар!
Завидна в праздник мая
Ты, тишина святая!
Во мне и в ней вскормляя
Любви высокий дар,
Ты мил мне, воздух мая,
Ты, воздух, полный чар!

О, быстрые мгновенья!
Украсьтесь в день весны

Восторгом наслажденья
Вы, быстрые мгновенья!
В любви для изученья
Лобзанья нам даны.
О, быстрые мгновенья,
Украсьтесь в день весны!

ИЗ ЛЮДВИГА ТИКА

НОЧЬ

Безмолвна ночь; погас восток.
    По смолкнувшим полям
Проходит путник, одинок,
    И плачется к звездам:

«На сердце грусть — болеть ему!
    Я одинок брожу;
Откуда я, куда, к чему
    По миру прохожу?

    Вы, звезды огонечки,
    На лоне темной ночки,
    Вверяюсь сердцем вам,
    Ночных небес звездам!»

И вдруг кругом него звучит —
    Зашевелилась ночь,
К нему звездами говорит
    И гонит горе прочь:

«О человек, ты близок нам!
    И ты не одинок!
Будь тверд. Поверь своим очам,
    Засветит вновь восток!

    А до зари, до света
    С улыбкою привета,
    Прилежно будем мы
    Светить тебе из тьмы».

ПОЭМЫ

В СНЕГАХ

Памяти А. А. Григорьева

1

Ой ты наш хмурый, скалистый Урал!
Ты ль не далеко на север взбежал?
Там, в Татарве, из степей вырастая,
Тянешься к острым рогам Таганая,
До Благодати горы, до Высокой,
Дальше, всё дальше, к пустыне глубокой,
Рослые горы в холмы обращаешь,
Плоскими тундрами к морю сползаешь
И разбегаешься в крае пустом,
Спящем во тьме шестимесячным сном...
Слева Европа, а справа Сибирь...
Как ни прикинешь — великая ширь!
Там реки темные, реки могучие
Катят холодные волны кипучие,
Льются по тундрам, под гнетом тумана,
В темную глубь старика Океана,
Гложут работою струй расторопных
Мамонтов древних в мехах допотопных;
Тут, к Каме, к Волге, со скатов Урала,
Речек не сотня одна побежала,
Речки прилежные и тороватые
Двигать колеса заводов зубчатые
И уносить до неведомых стран
Тысячи барок, расшив и белян!

Там — дебри мертвые, тишь безотрадная,
В рудах богатства лежат неоглядные;
Здесь — руды в медь и чугун обращаются,
Камни шлифуются и ограняются!
Там — летом быстрым по груди могучей
Даль обрастает травою пахучей,
Почки выходят, цветы зацветают,
Вышли без нужды — не впрок увядают,
Некому срезать их, в копна сложить,
Сыплется семя, чтоб без толку сгнить;
Тут, где великая степь развернулась,
Гладь черноземная вдаль потянулась,
Копна, скирды и стога поднимаются,
Точно как умное войско равняются,
И разлеглись на пространствах больших
Села вдоль улиц широких своих!

Может, в Европе, а может, в Сибири,
Вдоль по безмолвной, немеряной шири,
Берегом озера, желтым, сыпучим,
Слева обставлена бором дремучим,
Вдоль по пологому скату отрога
В гору бежит ни тропа, ни дорога...
Как сиротинка забыта, одна,
Бледным вьюном пробегает она.
Тут незаметно, а там повидней,
Вертится, вьется у камней и пней;
Шла она степью, пробьется и бором,
Спорит, безумная, с мощным простором!
Не на бумаге ее сочинили,
Не на казенные деньги взводили,
А родилась она где-то сама,
Делом каким-то, чьего-то ума,
В степи отважилась, в горы пустилась,
В темные пущи, в ущелья пробилась;
Лезет из мертвых, бездонных трясин
К светлым зазубринам горных вершин!
Лепится с краю мохнатых утесов,
Скачет без всяких мостов и откосов;
Так она странно и дерзко бежит,
В воздухе будто бы вьется, висит,
Так иногда высоко заберет,

Что у прохожего сердце замрет, —
И обрывается, гибнет тайком
В божьей пустыне, охваченной сном.

Что-то давно уж, дорога-змея,
Ты не встречала людского жилья,
А о ночлеге, что ты посетила,
Чай, ты, дорога, совсем позабыла.
Что за дорога? Кому тут пройти,
Тут, где людского жилья не найти?
Вьючные кони тебя протоптали,
Ноги людские топтать помогали;
К россыпям, к золоту, летней порой
Ездят охочие люди тобой,
Ездит всё ловкий, умелый народ...
Только как ранняя осень придет,
Вырастут ночи, морозы проглянут,
Горы совсем непролазными станут,
Самой дороги тогда не сыскать,
Будто ей любо, как сон, исчезать!
Любо, чтоб люди о ней позабыли,
Чтоб за песком золотым не ходили.
Чтобы не ездил тут ловкий народ,
Тот, что за золото всё отдает, —
Чтобы самой ей заснуть лежебоком
В белом снегу, бесконечном, глубоком,
Чистом, невинном, как грезы детей,
Полном одних только звезд да лучей!

Словно как в шубе, во мху и в коре,
Плотно прижавшись к песчаной горе,
Будто в защите у сильного друга,
Смотрит с пригорка ни дом, ни лачуга!
Лыком да ветками взад и вперед
Ветер по крыше без умолку бьет;
Вдоль по двору, за плетневым забором,
Воет и свищет и ходит дозором,
Лезет в трубу, будто ищет пути —
Как бы к огню отогреться пройти?
Точно как глаз, позабывший закрыться,
Смотрит окно у крылечка, косится;

Смотрит на то, как далеко кругом
Тянутся, стелются холм за холмом,
Как, бахромой обрубив небеса,
Высится дальних лесов полоса;
Как из-за красных, сосновых стволов,
В тихом безлюдье своих берегов,
Близкое озеро, мрачно чернея,
Вяло разводит волной, костенея,
Как разгулялись по озеру льдины,
Ходят гуськом, как живые морщины!
Ветер... туман... Из него, как из пыли,
Звезды на небо светить проступили,
А по окраинам спящей земли
Белые тучи слоями легли;
Так они низко на землю спустились,
Так успокоились, угомонились,
Так, что подумаешь: станет светать,
Ветер не в силах их будет согнать!
Сгонит, однако!.. Над низкой трубой
Вьется с лачуги дымок голубой;
Ветер его, подхвативши, несет
И на кусочки на воздухе рвет, —
И улетают, и тают они,
Мал мала меньше, как зимние дни...

Русь! Ты великий, могучий поток!
Вьются в тебе, как в стремнине песок,
Жизней людских сочетанья различные,
Только тебе лишь, единой привычные,
Только в тебе лишь одной вероятные,
Людям, чужим тебе, — малопонятные!
Вот и лачуга, что тут приютилась,
В степь, будто искра во тьму, схоронилась, —
Это особая в мире статья,
Новый, невиданный вид бытия!
Житель ее — невысокий мордвин,
Верст сотни на две живущий один.
Этот мордвин, этот домик, дорога
Значатся в описях разве у бога,
А для людей — их как будто бы нет,
Даром что много им от роду лет.
Мир их не знает и ведать не ведает,

Помнить не будет, когда и проведает;
Правда без плоти в них, быль без былья,
Опыт, набросок, порыв бытия,
Что-то, как воля судьбы, неминучее,
Что-то нескладно, но цепко живучее...

Стар ты, мордвин! Ты б лета свои знал,
Если б как должно их с детства считал,
Если б другие считать помогали, —
Кто ты, откуда, чем прежде был — знали;
Если б те годы, что прочь улетали,
Хоть бы на малость различны бывали!
Знал бы ты также: крещен ли ты был,
Как стал Андреем, где в церковь ходил, —
Если бы церкви да были поближе,
Поп поусердней, а бог сам — пониже...
Впрочем, порой ты и песни поешь.
Вот и теперь. Отточивши свой нож,
Лыжу ты режешь, испод ее гладишь —
То-то помчишься, коль ловко наладишь!
Ростом ты мелок и узок в плечах;
Кожа лоснится на желтых щеках;
Скулы широкие, толсты и сильны,
Ус жидковат, зато брови обильны;
Глаз твоих щурых совсем не обресть,
А на рубахе заплат и не счесть!
Белой была она, да посерела;
Больше всего в ней кайма уцелела,
Держится плотно, сроднившись с холстом,
Красною ниткой и синим шнурком.
Славный рисунок каймы у рубахи!..
Пояс, по поясу белые бляхи;
Ног из-за стружек совсем не видать.
Поздно же должен, старик, ты стругать!
Видно, короткого дня тебе мало!
Солнце за степью давно уж упало;
Светлые звезды по небу поплыли,
Жизнью безмолвною степь оживили.
Тихою песней твоей, старина,
Горенка вся с преизбытком полна!
Правда, что мало в той песенке толку,
Капает, будто родник, втихомолку,

Всё по одной да по той же звучит,
Дела не скажет, молчать не молчит...

Вот уж десятую зиму, Андрей,
Сам ты хоронишься в недра степей,
С Лайкой-собакой сам-друг проживая:
Лайка на волка похожа, седая...
Где ты и как ты до этого жил,
Скажет — кто ветер степной уследил!
Месяцев восемь, с излишком, пройдут,
Прежде чем люди опять подойдут.
Нанят ты с тем, чтобы быть тут и жить,
Ломы, кирки, решета сторожить,
Книги какие да счеты беречь,
В горенке темной протапливать печь,
Снегу лачуги сдавить не давать,
В стойла пустые волков не пускать.
Сам ты не знаешь, кем нанят ты был,
С кем договор на словах заключил?
Также и те, кто тебя нанимали,
С кем они дело имеют — не знали.
Даже и домик приземистый твой,
Бог его ведает, чей он такой?
Кем он поставлен, он тоже не знает:
Разных хозяев в себя принимает...

Новая это зима подошла.
Будешь ты ждать, чтоб и эта прошла,
Ждать, когда снова народ подойдет,
Пьяный, тревожный, беспутный народ!
Много их шляется той стороной
В жаркое лето, горячей порой!
В стойлах усталые кони храпят,
Люди, ночуя, вповалку лежат,
Водка и песни текут спозаранка,
Под вечер говор, чёт-нечет, орлянка,
Бабы... У многих припрятан тайком
Ценный мешочек с намытым песком:
Прячут и блестку, хранят и пылинку...
Зерна — с порошину, зерна — с крупинку...
Только как первая вьюга пройдет,

В горные щели снегов нанесет,
Вихри по степи, по озеру шквалы
Словно для шутки устроят провалы,
Южная птица умчится в испуге, —
Снова покинут, в забытой лачуге,
Схимником неким живешь ты один
В гробе открытом холмов и долин;
И над безмолвием тихой могилы
Движет зима безобразные силы!

Темная ночь по Сибири шагает,
Песню у печки Андрей напевает,
Мерно под песню уходит работа...
Слышит он: будто стучатся в ворота?
Лайка встревожилась, быстро вскочила,
Зубы осклабила, хвост наструнила.
Цыц! Не топырься! То ветер ревет,
Старою веткой по надолбе бьет;
Ветку бы срезать... И кто ж в эту пору
Пустится в путь по степному простору?
Снег не осел и как раз занесет...
Нет! То не ветер стучит у ворот.
Живо Андрей свой фонарь засветил,
Вышел к воротам, гостей опросил!
Слышит он: баба ему отвечает,
Просит пустить; говорит — умирает...
Отпер ворота. А ночь-то темна,
Даром что звездами вся убрана.
Свет фонаря в темноте замирает,
Черным крестом белый снег застилает.
Смотрит Андрей: на клюку опираясь,
Ветхой шубенкой едва прикрываясь,
Сжавшись с мороза, старуха стоит
И не шевелится, только глядит.
Ветер лохмотьями платья качает,
Стукает ими, как будто играет;
Снег, что наплечники, лег по плечам,
Иней к ресницам пристал и к бровям.
Сжатые губы старухи черны,
Щеки морозом слегка прижжены...
«Эк ты, родная! Иди поскорей!»

Тронул старуху рукою Андрей, —
Только старуха, как пень, покачнулась,
Молча всем телом на свет потянулась
И повалилась вперед головой,
Будто как мертвая, в снег молодой...

Зимнее солнце над степью всходило,
Яркий румянец на степь наводило;
Пышно сверкая, блестя, но не грея,
Золотом влилось в конуру Андрея;
В миски взглянуло, к ружью поднялось,
В низенькой кадке воды напилось,
В щель ее искру на дно заронило,
Всё осмотрело и всё осветило:
Белые стружки на темном полу,
Рыбу в лохани и лапти в углу.
К книжкам, на темную полку, всползало,
Даже заглавия книг прочитало:
Турнера — «Горное дело России»,
Штельцеля — «Опыты металлургии»,
Томик Некрасова, Милля — «Свобода»
И календарь исходящего года.
Лайке же солнце совсем досадило:
Прямо ей в морду так сильно светило,
Что недовольная Лайка проснулась,
Встала и несколько раз повернулась,
И, перейдя, улеглась под скамью,
Скалясь на грезу собачью свою...

Глаз не сомкнувши, над гостьей своей
Целую ночь провозился Андрей.
К утру старухе лицо пораздуло,
Гладко морщины по нем растянуло,
Яркая краска явилась на нем,
Пышет лицо необычным огнем.
Силы старуху совсем оставляли,
Губы чуть внятно молитвы шептали;
Было и так, что она не дышала,
Жизнь, уходя, на губах трепетала...
Что только могут без мудрой науки
Нищенский опыт да жесткие руки, —

Сделал Андрей. Утомился старик,
И подле печки под утро приник.

Солнце по небу тихонько идет,
Степь бесконечная свет его пьет.
В ночь миновавшую страшный мороз
Дню молодому подарки принес.
Озеро, стывшее с воплем вчера,
Скрыла сплошная, как саван, кора;
Груды летавшего с вечера снега
Стали, прикованы к месту ночлега;
Лес разоделся в тяжелую ризу
И поосел всеми ветками книзу...
Спят старики. Запоздавшего сна
Прочь не отгонит от них тишина;
День не принес стукотни и движенья,
Мирно свершаются их сновиденья.
«Ой! Как далеко до храма святого!..
Страннице время в дороженьку снова...»
Слышит Андрей... Поднялся, посмотрел...
Голос над ним, будто гром, прогудел, —
Так непривычен был голос людской
В этой лачуге и этой порой!
Сразу припомнил он стук у ворот,
Как он упавшую поднял, несет!
Вот она, тут... То она говорила...
Только что сила ей вдруг изменила,
Очи старухи глубоко закрылись,
Руки с шубенки тихонько скатились!
Поднял Андрей их, на грудь положил;
В печке погасшей огонь запалил,
В миску, на Лайку, на солнце взглянул —
И, потянувшись, широко зевнул.

Ежели лес молодой обгорит,
В нем запустенье недолго лежит.
Жизни в нем много! Чтоб выйти из пепла,
Ждать ей не нужно, чтоб сила окрепла;
Прет остриями побегов зеленых
Всюду из сучьев его опаленных;
Тут она почкой взойдет, там цветком,

Ей и от корня начать — нипочем!
Если же лес загоревшийся стар, —
Смертью проходит по лесу пожар,
В горьком дыму, трепеща и стеная,
Смрадом расходится мощь вековая;
В пене соко́в, в крупных каплях смолы
Ярко горят, разрываясь, стволы,
Будто бы груди, шипя, раскрывают,
Воздуха ищут, а где он — не знают!
Сыплются сучья, летят головни,
Стукаясь в камни и красные пни;
В уголь одежду свою обращая,
Лес исчезает, как греза живая!
И от подпочвы, где в темной земле
Жизнь под корнями роилась во мгле,
Вплоть до вершин, где над сочной листвой
Только крупнейший качал головой, —
Смерть водворяется в пепле, в золе.
Ох! Уж не так ли престать и земле
В срок, когда к призракам, в должный черед,
Призрак людей от земли упорхнет?
Впрочем, не русской, бурлацкой натуре
Треснуть в пожаре, осунуться в буре.
Много промчалось и дней и ночей, —
Встала старуха с полати своей.
Только залег в нее, будто чужой,
Кашель какой-то глубокий, сухой;
Только сама она как-то осела —
Всё же недаром в морозе горела!

2

Вышел порядок в лачуге иной —
Будто Андрей обзавелся женой!
С прежней хозяйкой — была она злая,
Прозвище было ей: жизнь холостая —
С юности ранней, господь ей прости,
Право — ну не было вовсе пути!
С новой иначе. Приперт в потолок,
Вывешен черный, как смоль, образок;

Значит, узнает сейчас, кто войдет,
Что не татарин, не жид тут живет.
Метлы, лопаты сошлись в стороне,
Скромно уставились в угол, к стене;
С прежней хозяйкой иначе бывало —
Всё, вишь, бросалось куда ни попало;
Этим бесчинствам теперь не бывать —
Всякому в доме места свои знать.
Ну а того, чтобы миска какая
Сутки валялась, мытья ожидая,
Лайку прельщая своим содержаньем, —
Стало у мисок давнишним преданьем!
Мелкому миру по щелям стены
Тягость открылась ужасной войны:
Как только праздник придет небольшой —
Ерзает тряпка с горячей водой,
Жжет беспощадно в потемках келейных
Многие тысячи счастий семейных,
Жжет... А Андрей не поймет, почему
Спится спокойней и слаще ему?
Шапка ли лезет, рубаха ль порвется,
Выйдут лучины иль жир изведется, —
Всякое горе хозяйка исправит,
Дела лежать никогда не оставит.
Даже на Лайку старуха ворчит,
И недовольная Лайка молчит!

Как-то никак старикам не случалось
Встретиться так, чтобы речь завязалась.
Скажут по слову, в глаза поглядят,
Скажут и снова упорно молчат!
Точно обоим, за долгим досугом,
Нечем им было делиться друг с другом
И ничего в их умах не созрело,
Что бы сказаться порой захотело?
К слову случилось Андрею узнать,
Что его гостью Прасковьею звать.
Но уж различны, как «я» и «не я»,
Шли и свершалися их бытия!
Разно начавшись, нигде не скрестившись,
Шли, чтобы кончиться, объединившись;
Точно две струйки — в единую слились,

Два ветерочка — в один превратились!
Жизнь старика вся бесцветна была,
Облачком в горных туманах прошла,
Мимо событий, сторонкою, с края,
Всюду и всё обходя, проскользая,
Вечно безличная, не очертилась,
И без остатка в степях схоронилась.

Ну, а Прасковья, напротив того,
Видела, ведала много всего.
Ярко очерчена, окаймлена,
Обрисовалася в жизни она!
Всяких епископов, митрополитов,
Схимников разных прославленных скитов,
С мертвыми главами на власяницах, —
Знала Прасковья и видела в лицах.
На Валааме, в Печорской, в Задонской,
В дальних Соло́вках и даже в Афонской, —
Всюду она самолично бывала
И монастырских квасов испивала.
Свет увидала она на Хопре;
Выросла в службах, на барском дворе;
Бабою сделаться ей не пришлось:
Дрянное дело замужство, хоть брось!
Позже в Москве в белошвейках училась
И с барчуками, бывало, водилась.
У балерины одной знаменитой,
Нынче вполне, даже сплетней, забытой,
В горничных год с небольшим проживала,
Феей, вакханкой ее одевала!..
Постники-схимники в черных скуфьях,
Ножки танцовщицы в алых туфлях,
Говор в кулисах, пиры до утра,
Память деревни, разливов Хопра,
Грубые шутки галунных лакеев,
Благословения архиереев,
Ладан, пачу́ли, Афон и кулисы,
Вкус просфоры и румяна актрисы —
Всё это как-то, во что-то слагалось,
Стало старухой, и то, что осталось,
Силой незримой в тайгу притащилось
И, обгорев на морозе, свалилось

В ноги к мордвину, вперед головой,
Старою льдиной на снег молодой!..

Как-то случилось, что пасмурным днем
Вьюга завыла по степи кругом.
Гулко помчались ее перекаты;
Снежные хлопья, толсты и косматы,
Воздух застлали, в окошко набились...
К печке молчать старики приютились.
Долго не двигаясь, оба сидели
Слушая рев и рыданья метели...
Ну, да пришлось же и им говорить:
«Я Верхотурье пошла посетить;
К дальней обители на покаянье,
Было такое мое обещанье...»
— «Да, Верхотурье, слыхал стороной,
Там, за горами, есть город такой...»
— «Есть и другой город, Пермью зовется;
К Перми народ пароходом везется.
Дальше, сказали, дорогой пойдешь,
Ближние горы когда перейдешь,
Там, где большая река побежит, —
Тут-от обитель сама и стоит.
Вышла в дорогу я ранней порой,
Только что по́чал народ с молотьбой.
Шла бы скорей, да частенько хворала,
Шла потому, что давно обещала.
Только не тот, видно, путь избрала!
Тут я семь суток болотцами шла,
Прежде чем хату твою повстречала.
Ну и не помню уж, как постучала...
Хлебушко вышел, не слушались ноги,
Знать бы вперед, что страна без дороги!
Я уж святую Варвару молила,
Чтобы не вдруг меня смерть посетила;
Чтобы покаяться время мне дать...
Стала заступница смерть отгонять!
Хату твою из земли подняла,
Словно не я, а она подошла!
Прямо на самом том месте явилась,
Где мне сырая могила открылась...

Значит, для смерти душа не созрела,
Грех мой не выхожен странствием тела!..»

Грех!.. Это слово чуть-чуть прозвучало
И, отделившись от прочих, — отстало...
Быстро и часто старуха крестилась...
Снежная вьюга всё яростней злилась!
В двери стучалась, окошком трясла,
Ревмя ревела, все петли рвала!
Будто бы грешные души какие,
Малые души и души большие,
Силы бесплотные, к аду присчитаны,
Не упокоены и не отчитаны,
Бились неистово и распинались,
В хату гурьбою ворваться старались!..

Красноречива, но с виду проста
Простонародья родная черта:
Тех не расспрашивать, к слову не звать,
Кто не желает чего рассказать.
Эту черту в нем столетья питали,
Многое с детства таить приучали;
Тут, да тогда, приходилось молчать,
Свой ли, отцовский ли стыд укрывать.
Ну и расспросов в народе не любят,
Редко о чем загалдят да раструбят...
Так и теперь со старухою было:
Грех, значит, есть, а какой — не открыла;
Сам же Андрей расспросить не хотел.
Только поутру, как день засерел,
Вышел он снег от дверей отгребсти,
Дров наколоть и воды принести;
К дому вернулся с дровами, глядит:
Крестик на двери наружной прибит!
Вспомнил он, как из метели вчерашней,
Друг друга резче, смелей, бесшабашней,
Клики гудели, росли и серчали,
Словно как духи какие стонали,
Чуяли грех! И сбегалися к двери
Будто на падаль полночные звери! —
Крестик теперь над дверями повешен:

Смолкнет нечистый, хотя он и бешен;
Крестик господень его остановит:
Он, хоть не слышно, а всё славословит!

Страшная, злая стояла зима!
В елях построив свои терема,
Резвых кикимор к ветвям пригвоздила,
Нежным снежком их хребты опушила;
Юрких русалок опасный народ
Спрятала в тину, в коряги, под лед;
Леших одних допустила бродить,
Робких людей по лесам обходить.
Дни обрубила зима не жалея!
Только что солнце заблещет краснея,
Вслед за ним тянется хмурая тьма:
«Я, — говорит, — заблещу и сама!..»
Ночь выступает во всю вышину,
Звезды сзывает гореть и луну,
И рассыпает, куда ни взгляни,
Зеленоватые блестки, огни...
Зимняя ночь! Ты глубоко светла!
Чья ж это ласка тебя нам дала?
Кто, в утешенье угрюмого края,
Дал тебя северу, ночь голубая?!
Только одна ты по росту степям,
Шире ты их — обняла по краям.
В вас, ночи долгие, ночи хрустальные,
Вволю наплакаться могут печальные,
Вволю натешиться могут распутные,
Вечными кажутся скорби минутные!
Мыслью, блуждающей мрачно, тревожно,
В вас до безумья додуматься можно!
А немоты в вас, глухого молчания —
Хватит с избытком покрыть все страдания!..
Это ль не милость судьба нам дала,
Чтобы по Сеньке и шапка была,
Чтобы да в том же краю процветали
Долгие ночи — большие печали!

Изо дня в день старики наши жили,
Чаще, чем прежде, они говорили.

Много того, что Андрей услыхал,
Он от рожденья и вовсе не знал.
Очень Прасковья его удивила,
Как в разговоре ему сообщила,
Будто во многих больших городах
Воздух какой-то горит в фонарях;
В те фонари ничего не вливают,
Ну, а как вечер придет — зажигают.
Слышал он также о царских смотрах,
Как ходит гвардия в красных грудя́х,
Как между войск у царя есть такие:
Птицы на шапках сидят золотые,
Сами солдаты в кольчуги закованы,
Лошади их серебром перекованы.
Спрашивал сам у Прасковьи Андрей:
Много ль видала железных путей,
Правда ль, что тянутся вдоль по ним паром,
Катятся вслед за большим самоваром?
Что называется новым судом?
Летом частенько он слышит о нем!
Как там в судах господа заседают,
Имя немецкое, всех защищают?
Также присяжных ему объясни:
Судьи не судьи, так кто же они?

Впрочем, не та и не эта затея
Больше всего занимала Андрея.
Больше любил он вопросы духовные!
Как богом созданы силы верховные?
Как бог нам душу, спасенье ей дал?
Всё это знать он хотел и — не знал.
Ну и была тут Прасковья готова
Всё объяснять хорошо и толково!
Тут она ясно как день излагала,
Не говорила ему, — а вещала.
Целые книги Четии-Миней
Все наизусть были ведомы ей.
Речи Прасковьи уверенны были:
Ею пророки, отцы говорили!
В сердце Андрея, из глуби сознанья,
Мало-помалу взросли очертанья,
И выступали чудесны, велики

Словом Прасковьи рожденные лики
Мучениц славных, церковных святителей,
Светских владык и святых небожителей...

«Каждому делу, господь так велит,
Тот или этот святой предстоит:
Пчел сохранить — так Зосиме молиться,
Флором и Лавром конь-лошадь хранится;
Трифон от тли и от червя спасает;
Воин Иван — воровство открывает;
Всё то, что криво да полно изъяну,
Всё то, что слепо, — Козьме и Демьяну;
Браки несчастные, сéмью разбитую
Ведают издавна Кирик с Уллитою;
Пьяных, загубленных водкою братий
Много спасает святой Вонифатий...»
Как же ты думал, Андрей, до сих пор,
Будто везде пустота и простор,
Если такое везде населенье,
Можешь ты вызвать, начавши моленье?
Как мог ты думать, что беден рожден,
Если все яхонты, жемчуг, виссон,
Те, что в святительских ризах блистают,
В митрах горят, — налицо здесь бывают?
Как мог ты думать, что в жизни темно,
Если всё небо святыми полно?!
Ярких венцов и оглавий блистающих
Больше гораздо, чем звезд, в нем мерцающих!
Вечная жизнь ожидает тебя,
Коль проживешь здесь, души не сгубя!..
И что дороже всего, что бесценно —
Всё это правда, и всё несомненно!

При разговорах таких о святыне,
Боге, душе, о спасенье в пустыне
Лайка-собака всегда пребывала
И разговоры отлично слыхала...
Пес был спокоен. В мозгу у него
Не пробуждали они ничего.
Лайку Прасковья не подкупала,
Лайка по-своему всё понимала.
Злое предчувствие в ней просыпалось,

Что-то недоброе, знать, собиралось!
«Не приходить бы старухе сюда,
Не приходить никогда, никогда!
Прежде Андрей меня, Лайку, любил.
Нынче Андрей меня, Лайку, забыл;
Гладить не гладит, ругать не ругает,
Будто нет Лайки, не замечает!
Вон и ружье, что на стенке висит,
Точно как палка какая, молчит;
В желтое ложе не брякнет кольцом,
Выстрелом степь не пробудит кругом!
Стыдно сказать: как сегодня светало,
Целых пять зайцев у дома гуляло!
А куропаток больших — вереницы
Ходят кругом, как домашние птицы!
Нынче дичинки поесть не дается,
Больше всё рыбка да рыбка печется.
Ну, да и разница тоже большая:
Мчаться ль за лыжами по лесу, лая,
Или у проруби темной лежать,
Видеть, как крючья начнут поднимать;
Бедный Андрей то отдаст, то потянет,
Сядет, нагнется, на корточки станет;
То вдруг затыкает палкой о дно...
Право, и жалко смотреть, и смешно!
Ну, да и разница вкуса большая:
Рыбьи головки иль птица лесная?
Есть ли что в рыбе-то, кроме костей?
Нет, изменился ты, братец Андрей!..
И не люблю я старуху Прасковью,
И поделом ей, что харкает кровью.
Чую: недоброе с нами случится...
Да не хочу я без толку сердиться:
Милым насильно не быть. Подождем.
Может, до лучшей поры доживем!»

Дни за короткими днями бежали,
Ночи так длинны, велики так стали,
Что уж им некуда больше расти,
Разве что дни целиком погребсти?
В срок, когда в людях средь мира крещеного
Праздник пришел сына божья рожденного, —

Свету везде в небесах поприбавилось;
Солнце как будто маленько оправилось...
«Ты вот, Прасковьюшка, мне объясни:
Как это вдруг да длинней стали дни?
И почему каждый год так бывает,
Что с Рождества много дня прибывает?»
— «Это, родимый мой, разно толкуют.
Божий сочельник, вишь, в небе ликуют.
Нынче, под праздник, сам бог Саваоф,
К грешному миру приходит из снов.
С богом и свет к нам на землю приходит...
Впрочем, господь и в другие дни ходит,
Ходит и грешных людей посещает,
Где он пройдет — чудеса проявляет!»
— «Что ты, Прасковья, прости тебя бог!
Кто ж это господа видеть-то мог?»
— «Старцы святители зрели отлично:
Ходит господь Саваоф самолично!
Ежели там, где незрим он идет,
Зло иль неправда навстречу встает, —
Божье присутствие всё возмущает;
Вечный порядок оно нарушает;
Грань между жизнью и смертью мутится,
И невозможное может случиться!
Ну и случается. Люди ж потом
Чудо постичь помышляют умом.
Так и теперь время свету прибавиться!
Чудо! Иначе откуда ж он явится?..
Чудом бы также, Андреюшко, было,
Если б здоровье мне что возвратило!
Кашель меня всю до сердца изводит,
Всё он сильнеет во мне, не проходит.
Крови я много от кашля теряю.
Ох! Доживу ли до лета, не знаю...
Грех бы мне только успеть замолить,
С совестью чистой глаза мне закрыть!»
В душу Андрея морозом пахнуло,
Больно так стало, в груди шевельнуло...
Лайка как будто бы что поняла:
Встала и в угол под лавку ушла...
Ясно, что Лайка хотела сказать:
«Надо и честь знать, пора умирать!..»

3

В жизни повсюду быль с сказкой мешаются,
Правда и ложь ежедневно братаются;
Вовсе достаточной нету причины,
Чтобы совсем не признать чертовщины.
Так это будет у нас и теперь:
Тот, кто согласен поверить, — поверь...
В дебри еловой, за ярким костром,
Месяцы-братья сидели кругом.
Все королевичи, все однолетки,
В пламя кидали трескучие ветки,
Копьями груду костра шевеля,
В ночь поджидали к себе Февраля.
А по рукам у них чаша ходила,
Пьяным медком языки разводила,
Шутка веселую шутку гоняла,
Братьям ни спать, ни молчать не давала.
Вспыхнул костер, огласилася даль,
Ветер пронесся, явился Февраль!..
Блещет алмазами древко копья,
Звездочка светит с конца острия,
Панцирь чешуйками льдинок покрыт,
Пояс в сосульках — что мехом обшит;
Щит и шелом на боках, крепко кованных,
Полны фигурок морозом рисованных,
Меч теплым таяньем полдней червлен...
Отдал Февраль своим братьям поклон.
«Шлют вам привет свой на многие лета
Наши родные с широкого света.
Бабушка наша, старушка Зима,
Видно, сердиться устала сама!
Встретилась у́ моря с младшей сестрой,
С младшей сестрой, светлоокой Весно́й;
Долго и тихо о чем-то шептались
И на прощании — поцеловались!
Матушка наша, вдовица Луна,
Так же, как прежде, грустна и одна.
Ясные Зорюшки, наши сестрицы,
В тихих светлицах, как прежде, — девицы,
Рядятся, шьют, что ни день молодеют,
Замуж хотят — женихов не имеют!

Парочка звезд, от любви и печали,
В Муромский лес втихомолку сбежали;
Будет поутру в звездах недочет:
Ветреный, влюбчивый, глупый народ!
Двух наших теток постигла невзгода:
Тетушку Утро — знобила погода,
Тетушка Ночь — опалила свой хвост...
Справили люди великий свой пост.
Время тебе, братец Март, выходить,
Выйди скорее Весну залучить!
В темной земле — там броженье идет,
В семечках дух недовольства живет,
Если нам мер никаких не принять,
Надо тогда возмущения ждать!»
Встал месяц Март. Наклонясь над костром,
Стал он ворочать поленья копьем.
Вскинулось пламя живей, веселей, —
Сдались морозы, и стало теплей.

Скоро, конечно, рассказ говорится,
Медленно самое дело творится.
Долго стояли еще холода.
Стала Прасковья не в меру худа.
С теплой полати она не вставала,
Лежа, молитвы день целый читала.
Было то к полночи, в марте, в конце;
Вышел Андрей постоять на крыльце.
Часто сюда выходил он стоять,
Чтобы Прасковьи ему не слыхать...
Ночь по Сибири давно уж ходила,
Ночь себе выхода не находила.
С самого вечера, вслед за зарей,
В небе рассыпался свет огневой;
Рос он, и креп, и столбы завивал:
Север ночное сиянье рождал!
В полном безмолвии белых степей
Бегали быстрые волны огней;
Разные краски по небу струились,
Из глубины его лились да лились...
Всюду курясь и широко пылая,
Служба на небе пошла световая!
Лес, в блеске розовом, ветви спустил,

Будто колена к земле преклонил;
Снежные горы алели горбами,
Как непокрытыми белыми лбами;
Жаркой молитвою утомлены
Звезды чуть теплились, мелки, бледны,
И не рождала ни звука, ни шума
Северной полночи яркая дума! ..

В жизнь свою много сияний ночных
Видел Андрей на степях снеговых,
Только прошли они все для него,
В сонном уме не подняв ничего.
Только теперь это иначе было:
Сердце сказалось и тут же изныло!
Ну и стоял уж он долго, молчал...
В небе пожар всё пространней пылал!
В этом пожаре, как степи краснея,
Двигались черные думы Андрея;
Память себя проявлять начинала,
Мало, а всё же кой-что рисовала;
Жизнь так бесцветна была и бледна —
Вдруг расцветилась, вспылала она,
Ну и опять побледнела, теряется...
Что ни толкуй, а старуха кончается!
Страждет уж очень! Не надо ль что ей?
Охает что-то не в меру сильней!

Баба не охала и не стонала,
Громче, чем прежде, молитву читала.
У образочка лампадка горела,
Горенка темная еле светлела;
Только всё белое, бывшее в ней,
Сразу заметил, вошедши, Андрей, —
Прочее всё стало ясно не сразу
К блеску сиянья привыкшему глазу.
«Кстати, родимый, пришел ты, пора!
Бог не позволит дожить до утра...
Боли не слышу, совсем полегчало,
Груди и ног будто вовсе не стало;
Вижу, покаяться срок подошел.
Коли б священник! .. Да бог не привел!

Ты вот, Андреюшко, грех мой возьмешь,
Будешь говеть — от меня и снесешь!»
Трудно старухе покаяться было;
Снять образок со стены попросила,
Свечку к нему восковую зажгла...
«Я, видишь, барину дочкой была!
Барская дворня не раз говорила,
Мать-то от барина многих родила;
Все перемёрли, лишь я оставалась;
С барской семьею играть призывалась.
Много нас было мальчишек, девчат!
Вот как теперь всех их вижу подряд...
Лет мне пятнадцать без малого было —
Горе большое господ посетило.
Продали всё, а людей распустили,
Барских детей по родным разместили.
Я на подводах в Москву послана́
И к белошвейке учиться сдана.
Грамотной, ловкой я девушкой стала!
Много чего я в ту пору видала!
Бога совсем, почитай, позабыла,
В церковь по целым годам не ходила!
Дочку, не в браке живя, прижила...
Доченька скоро затем умерла!
Ох! Коли б кончить тогда довелось?»
Остановиться Прасковье пришлось...

Если бы подле сидевший Андрей
С бо́льшим вниманьем следить мог за ней,
Он бы увидел, не видеть не мог,
Как покатились с морщинистых щек
Слезы без удержу, — слезы, не лгавшие,
Чуждые возгласов, кротко молчавшие,
Чуждые всяких порывов, рыданий,
Слезы великих и крайних страданий...
Долго Прасковья, всё плача, молчала;
С силой собравшись, она продолжала:
«Хоть далеко от родного села,
Всё же забыть я его не могла.
Если с Хопра только встретишь кого,
Спросишь, расспросишь, бывало, всего...
Так и тянуло туда погостить!

И собралась я Хопер посетить.
Там, на Хопре, город есть Балашов;
Он из уездных у нас городов.
Верст девяносто всего от села.
Девкой красивой тогда я была...
С почтой поехала. Как увидала
Город-то свой, я в телеге привстала,
В оба гляжу! А душа-то щемит!..
Ой, упадешь, — мне ямщик говорит.
Девять тут лет, говорю, не была я,
Девочкой вижу себя, вспоминая...
Церкви-то эти все мне знакомые,
Те же верхи у них, крыши зеленые...
Вон и дома у воды, у Хопра,
Улицы, почта и въезд со двора!..
Только вкатили во двор — побежала,
Дядю родного тотчас отыскала.
Кто, говорю, тут из барских детей?
Только один есть из всех сыновей,
Дочки повыбыли все... Я к нему...
В стареньком жил он и бедном дому...
Денег ему я на бедность дала...
Часто к нему заходить начала...»

Снова Прасковья в упор замолчала:
Как молодою была, вспоминала!
В стену глаза неподвижно уставила,
Будто по зрячему взгляд свой направила...
В горенке темной, в глазах умирающей,
С яркостью, правде вполне подобающей,
Мощным растеньем из чудного семени
Вышла, чуждаясь пространства и времени,
Призрак-картина! В ней всё побраталось,
В ней настоящее — прошлым казалось,
Прошлое — в будущность переходило,
Друг из-за дружки светилось, сквозило!
В диком порядке пылавшей картины
Позже последствий являлись причины,
Мелочи целое перерастали,
Краски звучали в ней, звуки пылали!
Всё это лилось, кружилось, мелькало,
Вон из размеров своих выступало,

Жизнь полувека в потемках горела...
Вот на нее-то Прасковья глядела...

Блещет Хопер... и село на Хопре...
Дети, играют они на дворе...
Тут же, назад она едет... Знакомые
Церкви, верхи на них, крыши зеленые...
Старенький дом... Любо в домике том!
Ходит туда она ночью и днем...
Ох! Не ходить бы туда, не ходить!
Ох! Не сестре бы так брата любить!
Щурит Прасковья глаза... Чуть глядит, —
Так ее яркость картины слепит...
Молодость! Ой ли! Ушла ли она?
Ты не потеряна — обронена!
Что, если б жить-то начать тебе снова?
Вслед ей рвануться Прасковья готова!
Выскочить, броситься в воду, в окошко!
Только бы в молодость, к ней, хоть немножко!..
Жарко!.. Фату расстегни! Да не рви!..
Ну, побежим-ка, братишка, лови!
Только б в Хопер нам с тобой не попасть,
Нынче широко разлился он, страсть!..
Где нам, Прасковья, с тобою бежать?
В пору кончаться, в могиле лежать...
Я уж в могиле, давно тебя жду!
Ладно, братишка, иду я, иду...
Гаснет картина, во тьме потонула!
И на Андрея Прасковья взглянула...

Видимо, жизнь из нее отбывала,
Голосом слабым она продолжала:
«Да, молода я, красива была...
Брата я кровного в грех привела...
Он-то не знал, что сестра я.., Я знала...
Облюбовала его, миловала...
Год только жил он, его схоронила...
Странницей сделалась, свет исходила...
В смертный мой час мне не лгать на духу:
Вольной я волей отдáлась греху...
Там, у себя, там, где воздух родной,
Люб мне мой грех был, великий, срамной!..

Но ты, Андреюшко, грех тот возьмешь,
Будешь говеть — его богу снесешь...
Может, господь бог Прасковью простит:
Грех в покаянье предсмертном открыт!
Быть в Верхотурье — не удостоиться...
Там Симеоновы мощи покоятся...
Брат, видишь, мой то же имя носил,
В детстве, в селе, он нам Сеничкой был...
Имя я это в мольбах поминаю!..
Что ж? Обещаешь, Андрей?»
— «Обещаю!»

И умерла она... Как же тут быть?
Горе великое с кем поделить?
Не приходила б ты в степь необъятную,
Не заводила б беседу приятную...
Ох! Уж была-то ты, радость, новинкою,
Стала ты, радость, слезой-сиротинкою!
Ох! На кого-то Андрея покинули,
Всю-то, без жалости, жизнь опрокинули!
Сердце щемит, пали в разум потемки,
Было-то, было — остались обломки!
Кто-то нас ждать будет, кто-то нас встретит?
Кто-то, как звать начнут, здесь я! ответит?
Да и зачем-то нам счастье дается?
Знать бы, не брать, коль назад отберется!
Горе ты наше, великое горе,
Стало ты, горе, большим на просторе!
Ох! Умерла ты! Зачем, почему?!
Плачет Андреюшко, тяжко ему.
А перед ним на скамейке остывшей
Тело лежало Прасковьи почившей.
И улыбалась она, хоть молчала,
Будто приятное что увидала,
Будто отмену великой печали
Вот-вот, теперь только ей обещали!..
«Радуйся, радуйся! — слышит она, —
Бедная грешница, ты — прощена!..»

Руки Прасковья, когда отходила,
Молча, крест-накрест, сама положила...
Сутки прошли и другие прошли,

Темные пятна по телу пошли,
Надо скорее старуху прибрать,
Гроб колотить и могилу копать.
Поднял Андрей ее, шубкой прикрыл,
Вынес в сенцы и к стене положил.
Он из рубахи своей холщевóй,
Белой, неношеной, с пестрой каймой,
Полной полосок, кружочков, крестов,
Телу старухи устроил покров;
Сено лесное подстилкой служило:
Много в нем моху зеленого было,
И из зеленого моха торчали
Сотни цветочков, что летом увяли...

Часто Андрей подле тела сидел:
Всё хоронить он его не хотел!
Вот уж и гроб был готов небольшой,
Ждет гроб неделю — стал плакать смолой!
Вот на соседнем, ближайшем холму
Вырыл Андрей помещенье ему,
Ветками он помещенье покрыл:
Ветер под ними гнездо себе свил!
Прежде, при жизни Прасковьи, бывало,
С ней говорил он порой очень мало;
Меньше чем прежде теперь говорит,
К телу подсядет, работу чинит́...
Холод Андреюшке службу служил,
Тело Прасковьи от порчи хранил.
С рук неподвижных, от щек, ото рта,
Мало-помалу сошла чернота;
Даже морщины сравнялись на коже,
Стала Прасковья как будто моложе.
Впрочем, Андрей ей в лицо не глядел:
Он у покрытого тела сидел.
Сколько он дней тем порядком провел,
Он не считал, да и счета б не свел.
Если б весна позабыла явиться —
Мог бы Андрей и с покойницей сжиться...
Только весна подойти не забыла,
Теплым туманом леса окропила,
Снег побежал, дали трещины льдины...
Стали чернеть на Прасковье морщины.

Время покойницу в гроб положить!
Нечего делать, пора хоронить!..
И на холме он ее схоронил.
Полдень весенний в могилу светил...
А как по гробу земля застучала,
Крышка его под землею пропала —
Много, без счета, горело над ней
Слез и весеннего солнца лучей...

Рано в ту пору весна наступила!
С неба сошла, из земли выходила!
В небе румяные зори горели,
Птицы свистали, чирикали, пели;
В воздухе влажном, в весенней теплыни,
Тихо задумались божьи пустыни...
А из земли в платьях, в юбочках новых
Шли мириады тюльпанов лиловых;
Сколько их, сколько везде проступало —
Точно тюльпанное царство настало!
В мраке темнейших, забытых углов
Говор раздался болтливых ручьев;
И над блистающей, светлой волной,
Как океан необъятно большой,
Бился незримыми глазу волнами
Запах весны, порожденный цветами!..

Холм у лачуги стоит одинок;
Крест на холме водружен невысок.
Степью безлюдной уходит Андрей,
С серою Лайкой, собакой своей,
Палка в руке и сума за плечами,
Переступает лениво ногами,
Точно идет он с грехом пополам.
В меру такая походка степям!
Будь их хоть вдвое, безбрежных степей,
Всех их тихонько отмерит Андрей!
Он безустанно, усердно идет:
Время такое — народ подойдет,
Ну, а народа он видеть не хочет,
Как бы уйти поскорее хлопочет.
Цель ему светит — обитель господня;
Цели он в жизни не знал до сегодня!

Ну, а теперь дело вовсе иное:
Он покаянье уносит чужое.
Дома, в лачуге, сидеть он не может:
Скука томит, одиночество гложет...
Так вот его в Верхотурье и тянет...
У Симеона молиться он станет;
А из обители прочь не погонят,
Будет там жить, а умрет — похоронят...

Месяц прошел. Населилась лачуга.
Просто не знала, что делать с испуга!
Тут собиралися разные люди,
С Руси великой, от Мери и Чуди!
В стойлах усталые лошади ржали,
Гости, ночуя, вповалку лежали;
Водка и песни текли спозаранка;
Под вечер говор, чёт-нечет, орлянка...
Много шло толков промежду гостей:
Что тут случилось? Где старый Андрей?
Ищут мордвина. Напрасно, исчез...
Видят могилу у выхода в лес...
Если он, точно, в могилу забрался,
Сам ли он, что ли, в нее закопался?

БЕЗ ИМЕНИ

(Времени крепостного права)

М. А. Загуляеву

1

Блеснувши чудом на шумящем рынке
Красивых женщин, — ты взяла умом.
Явилась в платье бедном и в косынке,
А через год был бархат нипочем!

Всё, что судьба рассудит дать порою
Отдельно, частью той или другой,
Чтобы царить над влюбчивой толпою, —
Тебе далось нескудною рукой.

Никто, как ты, не пел так сладкозвучно;
Твой смех — был смех; ум искрился всегда;
Не знала ты, что значит слово: скучно,
Ты шла, как в русле светлая вода.

Таким, как ты, стоят высоко цены!
Тебе бы место статуею в парк,
Хоть бы в хитон красавицы Елены,
Хоть в медный панцирь Иоанны д'Арк!

Когда бы ты нежданно проступила
В кругу законных жен и матерей,
Как свет небесный, ты бы вдруг затмила
Спокойный свет лампадочных огней!

Тебя они лишь изредка встречали,
Понять тебя, конечно, не могли.
Лишь кое-что украдкою слыхали
И приговор давно произнесли...

Ты в двадцать лет могла бы стать предметом
Любовных хроник разной новизны...
В день именин — он чтится полусветом —
Тобой на пир друзья приглашены.

Они все тут, и большинство — богатых;
Спустилась ночь, друзья — навеселе.
Забавней прочих — парочка женатых:
Они сидят с ногами на столе!

Красивых женщин ценные наряды
Наполовину цели лишены...
Веселых песен звучные тирады
Давно в движеньях все пояснены...

Вот и заря румянит стекла окон!
Всё нараспашку, чувства напоказ,
Но ни один неловкий, глупый локон,
Упавши на пол, не печалит глаз!

И ни одна красивая шнуровка
Не подавала права говорить:
«Ведь тут корсет — не тело: лжешь, плутовка!
Корсетов всяких можно накупить!»

Один князек, ее последний нумер,
Хозяин пира, шутки вызывал:
«Гм, милый князь! Ведь ты с обеда умер!
Зарок быть умным старой тетке дал!»

Но ни условья с теткой, ни зарока
На самом деле не было совсем.
А щеки бледны и тревожно око:
Он ждет чего-то, сумрачен и нем!

Ему обидно так и так ужасно ясно:
Любовь идет наперекор уму...
Он с ней живет, он с нею ежечасно...
Чего, чего недостает ему?..

Тому давно, в деревне позабытой,
Он с ней, дитёй, в дому отца играл.
Еще тогда, как в почке чуть открытой,
Прилив любви неясно подступал...

Барчук поил ее, девчонку, чаем,
Он был защитником и отводил толчки;
А ей казался он недосягаем:
Такими в сказках кажутся царьки.

Прошли года! Пути определились!
Совсем случайно странная судьба
Свела обоих... Встретились... слюбились...
Князек-барчук и бывшая раба!

И пир идет. С хозяйкою в сторонке
Старейший гость уселся, развалясь...
«Пусть их шумят и приступают к жженке!
Скажи, хозяйка, прóчна ль ваша связь?

Что платит он тебе? Я выдам вдвое!»
— «Нет, не хочу...» — «Ну, вот пакет, смотри:
Тут сорок тысяч... Море разливное!..
Срок — пять минут! Подумай и бери...»

И пять минут прошло... Слегка шатаясь,
Гость подошел к хозяину тогда:
«Я проиграл! Возьми пакет... Квитаюсь...
Вот дело в чем! Вот чудо, господа!..»

Гость рассказал. Все громко завопили...
Пари большое! Дерзко и смешно!
«Какие деньги!.. И они тут были...
Не взять таких — совсем, совсем смешно...»

А он был счастлив и, не замечая,
Какие шли сужденья о пари,
Ласкал ее, безмолвно обнимая,
Сияя в свете пламенной зари!

2

А ну-ка! Киньте камнем, кто посмеет?!
Не спросит вас летучее зерно,
Где пасть ему и как оно созреет?
И, наконец, созреет ли оно?!

Прошли три года. Далеко́, не близко,
В чужой стране и на чужих людя́х
Они спокойно жили, но без риска
Воспоминаний о прошедших днях.

«Когда же свадьба?» — спросит он, бывало,
Она в ответ твердила всё одно:
«Я вся твоя! Мой милый! Или мало?
Но свадьбе нашей быть не суждено.

Я так люблю, к тебе благоговею;
Что, если б мне пришлось к жене твоей
Пойти в прислужницы, — о, я была бы ею
И стерегла бы сон твоих ночей!

Но свадьбы не хочу! Я в этом, видишь,
Совсем крепка остатком сил своих...
Прикажешь, разве?! Нет, ты не обидишь...
Я помню стыд прошедших дней моих...»

И он любил любовью молчаливой;
Упреки скучные и даже злость порой
В ее любви глубоко терпеливой
Погасли все, как искры под водой.

День ото дня сердца полней сживались;
Разладам мелким не было причин;
Они ничем, ничем не обязались,
Исчезли в них раба и господин.

В нем для нее, бесспорно, воплотился
Царек из сказки, тот, что иногда
Ей окруженный пестрой дворней снился,
Богатый — и не любящий труда!

В ней для него как будто воскресала,
Как бы в чаду заговоренных трав,
И, возвращаясь, ярко проступала
Былая сладость безграничных прав...

И возвращалась с тою красотою,
Так просто, ясно, в очерке таком, —
Что обвевала детством и весною:
Он оживал в воскреснувшем былом.

Кружок друзей был мал. Но суть не в этом:
Он состоял из родственных людей,
Он состоял из оглашенных светом
Во имя тех или других идей.

С чужими трудно было обращенье,
Не то что страх, но и не то, что стыд, —
А робость всякого большого уклоненья,
Пока оно не смеет стать на вид!

Таких кружков живет теперь немало:
Их жизни проще, выгодней, складней...
Они растут в болезни идеала
Законных браков наших скучных дней...

3

И счастье их пределов бы не знало,
Свершалось в скромной, радостной тиши,
Когда бы память в ней не оскорбляла
Перерожденной заново души!

Чем больше в нем являлось обожанья,
Усталый дух был счастлив забытьем,
Тем резче в ней, на глубине сознанья,
Боролись мысли с прошлым бытием!

Она сильней задумываться стала,
Но целовала резче, горячей,
И что ни день, то краска щек спадала,
Но разгорался нервный блеск очей...

А он! Ничуть того не замечая,
Что перемена в ней произошла,
Был рад душой, узнав, что дорогая,
Она, она — ребенка зачала!

И он считал одну причину только,
Что кашель есть, сильнее худоба,
И, не тревожась за нее нисколько,
Мечтал о том, чтоб дочь дала судьба!

И вот, пока ему жилось прекрасно.
В ней, как-то вдруг, неумолимо зла,
Чахотка горла развилась опасно
И в ранний гроб стремительно влекла!

Чем ближе смерть к болевшей надвигалась
И чем страданья делались сильней,
Тем чаще совесть в бедной проявлялась
И выдвигала грех прошедших дней.

Лицо ее менялось! Проявлялись
Черты лица той девочки живой,
С которой в детстве часто так смеялись
И он, и братья резвою толпой!

Пять докторов в дому перебывало,
Пять докторов, и все они в очках;
И говорят ему: «В ней жизни очень мало,
Ей жить недолго и умрет в родах!»

Удар был страшен тем, что неожидан.
Бедняга вдруг мучительно прозрел!
Тоске глубокой головою выдан, —
Всем бытием своим осиротел.

Зовет она его к своей кровати
И говорит: «Мой милый, дорогой!
Теперь была бы свадьба очень кстати,
Теперь должна я стать твоей женой...

Затем, что если бы тебя спросило
Мое дитя о матери своей,
Ты скажешь, как тебя жена любила
От самых ранних, первых в жизни дней.

Что до того, как стала я женою,
Ты обо мне ни слова не слыхал...»
Пришел священник, и его с больною,
Как дóлжно быть, законно повенчал.

Родилась девочка. Слаба, бескровна!
Остатка сил в родах лишилась мать...
Она встречала смерть свою любовно,
Она устала думать и страдать.

То было утром, так часа в четыре...
Он, сидя в кресле у кровати, спал...
И видел он, что на веселом пире
Его незримый кто-то обнимал...

Сначала тяжесть грудь ему давила...
Палило щеки жаром, а потом
Живая свежесть этот жар сменила,
Дала покой и усладила сном...

Открыл глаза... Жена, как то бывало,
Его рукой вкруг шеи обняла...
Она, скончавшись, тихо остывала,
И разомкнуть объятья не могла...

В одном из наших, издавна заштатных,
Почти пустых степных монастырей
Лежит последний отпрыск прежде знатных
И бунтовавших при Петре князей...

Последний отпрыск — девушка больная,
Отец и мать лежат по сторонам;
Гранит, гробницы всех их покрывая,
Замшился весь и треснул по углам.

Два медальона... В стеклах пестрый глянец
И перламутр от времени блестят!
Портреты эти делал итальянец;
То — мать и дочь! Один и тот же взгляд!

И тот же след раздумья над очами,
И неземная в лицах красота...
И проступают, мнится, образами
Под осененьем черного креста...

ТОЖЕ НРАВСТВЕННОСТЬ

Ф. В. Вишневскому

Вот в Англии, в стране благоприличий,
Где по преданиям зевают и едят,
Где так и кажется, что свист и говор птичий,
И речи спикеров, и пискотня щенят
Идут по правилам! Где без больших различий
Желудки самые по хартии бурлят, —
Вот что случилось раз с прелестнейшей миледи,
С известной в оны дни дюшессой Монгомеди!

Совсем красавица, счастливая дюшесса
Во цвете юности осталась вдруг вдовой!
Ей с окончанием старинного процесса,
Полвека длившегося с мужниной родней,
Как своевременно о том кричала пресса,
Достался капитал чудовищно большой:
В центральной Индии права большого сбора,
Леса в Австралии и копи Лабрадора!

Таких больших богатств и нет на континенте!
Такой красавицы бог дважды не творил!
С ней встретясь как-то раз случайно в Агригенте,
Король Неаполя — тогда покойник жил, —
Как был одет — в штанах, в плюмаже, в яркой
ленте, —
Узрев, разинул рот, бессмысленно застыл,
И с самой той поры — об этом слух остался —
Тот королевский рот совсем не закрывался!

Дюшесса в Англии была высоко чтима.
Аристократка вся, от головы до пят,

Самой Викторией от детских лет любима,
С другими знатными совсем незауряд,
За ум свой и за такт, за блеск превозносима!
Сиял спокойствием ее лазурный взгляд,
И, как о рыцарше без страха и упрека,
Шла слава о вдове широко и далеко!

И возгордилися все предки Монгомеди,
В гробницах каменных покоясь под землей,
Такой прелестнейшей и нравственной миледи,
Явившейся на свет от крови им родной!
Французский двор тех дней, ближайшие соседи,
Мог позавидовать красавице такой —
Созданью грации, преданий, этикета
И ренты трех частей платившего ей света!

Дюшесса это всё, конечно, понимала,
И, как поведает об этом наш рассказ,
Себе не только то порою позволяла,
Что не шокировало самых строгих глаз, —
Но также многое, что в службе идеала
В британском обществе, почти как и у нас,
Не допускается, считаясь неприличным,
Пригодным челяди, лакеям и фабричным.

И стали говорить тихонько и секретно,
Кой-где, украдкою и в откровенный час,
Что герцогине той понравился заметно
Красавец писаный, певец, известный бас,
Что чувство это в ней совсем не безответно,
Но ловко спрятано от посторонних глаз;
Что года два назад в Помпее повстречались,
И что от той поры совсем не расставались.

Тот бас — красавцем был, и рослый, и могучий,
И в полном цвете лет, и в силе мастерства!
А голос бархатный, как бы песок зыбучий,
Был мягок и глубок! Когда он пел — слова
Осиливать могли оркестр и хор трескучий;
И чудно на плечах торчала голова,
Когда красивый рот пускал свою октаву!
И вправду он умел пускать ее на славу.

Бас в оперу попал, как говорят, от плуга!
Но был он не глупцом, со смéтливым умом,
Он скоро в обществе отборнейшего круга
Сумел не погрешать решительно ни в чем!
Совсем без ухарства, но также без испуга
Являлся он в любой, хоть в королевский, дом,
И скоро он прослыл по всем своим манерам
Вполне законченным, отменным кавалером.

С такими дéньгами, какие части света,
По дням, по месяцам, а чаще по третям,
К миледи птичками слетались, — слабость эта
Ее к басистому кумиру многих дам
Была, как песенка удачная, запета,
Неслась, как лодочка по шелковым волнам,
И обеспеченно, и вовсе неопасно,
От всех припрятана, но очень, очень ясно. . .

Она устроилась удачно и толково:
Имела в Лондоне различных пять квартир.
Все в полной роскоши отделаны ab ovo [1];
Одна красивей всех: до мелочей — Empire [2]!
Всё было в них всегда принять ее готово,
Царили в них во всех спокойствие и мир!
И там она себя служенью посвящала
Совсем обычного, другого идеала. . .

Хитрее всех других была одна квартира:
В нее вел узкий ход из церкви, и туда,
Из области молитв, смирения и мира,
Легко было пройти, укрыться без следа!
Пастóр был умницей, не признавал кумира,
Но был со слабостью к мирянам иногда!
Он был с дюшессою вполне, вполне любезен
И милостив к греху, да и семье полезен!

И с той же целию высокой герцогиня
Облюбовала вдов и нищенских детей!

---

[1] Здесь — от начала до конца (лат.). — *Ред.*
[2] Ампир. См. примечания. — *Ред.*

Благотворительность, как некая святыня, —
Так утверждали все — была по сердцу ей!
Своих обязанностей верная рабыня,
И в тусклом свете дня, и в темноте ночей,
Она по сиротам и вдовам разъезжала
И в эти именно объезды исчезала...

И шло прекрасно всё! Миледи оставалась
Непогрешимою, везде во всем вольна!
Она всегда, везде, повсюду принималась
И — уважением людей окружена —
Всегда величественно, кротко улыбалась,
Всегда бестрепетна, сознательно пышна,
И — как бы раут ни был горд, богат и знатен —
Без Монгомеди был он пуст и непонятен.

Ей много делалось повсюду снисхожденья,
От всех и вся, с различнейших сторон!
Так, если только ей пошлется приглашенье
На бал — тогда и бас туда же приглашен!
Конечно, как артист, не более, для пенья,
За что умел взимать большие куши он...
Держа себя всегда с совсем отменным тактом,
Он с ней не говорил ни слова по антрактам!

И всё бы это так, конечно, долго длилось,
Когда б не странный вдруг у женщины каприз!
К поступку дикому миледи устремилась!
Она поставила вдруг головою вниз
Все, все приличия... Ужасное случилось!
Она потребовала от него: женись!
Конечно, мощный бас за это ухватился
И где-то в Швабии, действительно, женился...

Увы, преступницей явилась Монгомеди!
Вернулась в Лондон с мужем; стали жить... Куда!
Не принимают больше славную миледи
Ни двор, ни прочие большие господа...
Добро: нашлись у них хорошие соседи —
Париж! Поехали, чтоб там вкушать плода
От утвердившихся законно отношений...
О факте можно быть весьма различных мнений!

ЭЛОА

Апокрифическое предание

М. П. Соловьеву

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Элоа.
Сатана.
Молох.
Умерший священник.
Монахи.
Хоры.
Тени.

1

Дикая местность у преддверья ада. Толпы неясных теней тянутся к красному свету. Слышится бесшабашная песня. Навстречу теням, со стороны красного света — Сатана, сопровождаемый Молохом. Тяга теней останавливается.

Сатана

Какое пенье? Как не на работе,
И до сих пор не на своих местах?

Молох

Занятий мало, князь! Ослабли вожжи!

Сатана
(к теням)

Неситесь прочь, влачитесь по подлунной
И учиняйте зла насколько можно!
Не оставляйте мне без посещенья
Ни одного угла! Ночь, как парник,

Дающий овощи, взращает злое.
Наутро полюбуемся плодами!
Поменьше шуму, но побольше дела:
И чтобы когти вас не выдавали!
Неситесь!

Тени молча уносятся.

Молох

Князь! Сегодня ты мрачней,
Задумчивее, чем всегда бываешь!
Уж не порадоваться ль новой брани?
Не скликнуть ль великие полки?

Сатана

То было делом увлечений ранних;
Не в этом суть борьбы, не в том победа!
И разве видно что по мне?

Молох

Заметно...
В речах не точен, и слуга́м твоим
Твои веленья часто непонятны,
И говор между слуг твоих идет...

Сатана

На то я князь, чтоб подлые рабы
Не смели понимать, чего я не желаю!..

(Делает Молоху знак рукою, и Молох удаляется.)

Туман холодный вьется, выползая,
И бесполезно глупо тратит влажность,
И в странных образах везде снует...
И он во мне, должно быть, князя чует,
Так льнет, так ластится! Какой я князь?
И бог, и я — мы два враждебных брата,
Предвечные эоны высшей силы,
Нам неизвестной, детища ее!..
Кряжи бессчетных гор передо мною...
Но если бы в горах не искривленья,
Не щели недр, провалы и утесы —
В них не было б той чудной красоты,

Где так любовны тени голубые,
А блеск заката пурпуром горит...
Мое созданье — эта красота,
Всегда везде присущая крушеньям!
А красота — добро! Я злобой добр...
А в этом двойственность... И ад, и небо
Идут неудержимо к разрушенью...
Лежит зерно: ему судьба расти!
Из оболочки и из содержанья,
Как бы из двух всегда враждебных сил,
Просунется росток! Не то же ль тут?
Зерно — мы оба! Только в раздвоенье
И в искренней вражде различий наших
Играют жизнь и смерть! Живые дрожжи!..
Но эта рознь в уступках обоюдных
Утрачивает смысл давным-давно!
Зло от добра порой неотличимо;
В их общей вялости болеет мир...
И сам я сбился и не отличаю,
Что божье, что мое? Не отличаю
Того, что было вправду, что случилось,
От смутной грезы духа моего!
Не может сгинуть зло: оно бессмертно!
Но в чистоте своей зло помутилось,
Густой отстой добра в него спустился,
А зло, как поросль длинная трясины,
На стеблях бесконечных, проникает
В добро — и кажется порой добром...

(Задумывается.)

Как это было? Да... припоминаю...
Не совершились времена тогда...
Природа мертвая была готова,
Но мысли и сознанья лишена.
Мысль оставалась ценным достояньем
Духовных сфер, и в них витали мы!
Когда же после множества исканий
И опытов и, так сказать, на ощупь
Мысль в человеке наконец пробилась,
В ней связка завязалась двух миров,
В них жилы общие какие-то сказались,
Помчалась мысль, как кровь по организму,

Переливаясь между тех миров,
И был начертан дальний путь развитья:
Чрез мысль — в бессмертье, и тогда-то нам —
И мне, и богу — человек стал нужен:
Он за кого — тот победит из нас.

(Замечает проносящуюся вдали Элоа.)

Опять! .. Опять она! Который раз!
Из ангелов бесчисленных юнейший,
Слезливейший из всех их, вместе взятых!
Над телом Лазаря Христос заплакал,
Устав с дороги, и одну слезу
В опаловом и самоцветном кубке
Подобострастно богу поднесли,
И бог велел слезе Христовой стать
Чистейшим ангелом, назвав — Элóа!
Образчик вечности его законов! ..
В законах — швы! .. Она в лазури скрылась,
А разглядеть ее поближе нужно.
Явись, Элоа!

Является призрак Элоа.

Жаль, что только призрак!
Таких могу я натворить без счета,
Она сама — совсем, совсем не то!
В ней сущность есть, и сущность та — печаль.

(Рассматривает призрак.)

Она совсем не то, что все толпы
Небесных жителей! По ней читаешь,
Какою скорбью вся она полна!
Улыбки глуповатой не имеет!
Всегда предпочитает пустыри
Пространствам, освещаемым звездáми,
К больной земле поближе хочет быть!
Да, поглядишь — роскошное созданье!
Не вывелись на небе мастера,
Художники красивых воплощений!
Какой прелестный строй роскошных линий!
Прекрасный призрак, полюби меня! ..
С тех пор, как прикоснулся я к Тамаре
И с нею в небо ангела пустил,

Мне женщины не по сердцу бывали...
Теперь сдается...

Вдали снова проносится Э л о а.

Вон она опять!
О нет, недаром эти появленья!

(К призраку)

Игра теней совсем бесплотных, бледных,
Обманный призрак, пропади скорей!

Призрак исчезает. Сатана проносится в сторону, противоположную полету Элоа.

2

Окраина земли. Скалы. Поздний вечер. Выясняется луна. С а т а н а, озираясь, взбирается на скалу. Кругом снуют совы и нетопыри.

С а т а н а

Что мечетесь кругом, иль места мало?
Сухими крыльями невмочь трещите!
Сгинь поскорей, полуночная сволочь!

Совы и нетопыри исчезают.

Мне кажется, ее я близко видел,
И если скалы тверды в очертаньях,
И гребни их не обратятся в щели —
Ей нет других путей, придет сюда!
Уж вот четыре раза с ней встречаюсь...
Блаженные меня все избегают,
Шарахаются в сторону, завидев!
А эта нет! Да, что-то есть такое
Необычайное, что в ней сказалось.
Сквозь облик призрачный в ней плоть я чую,
Есть сущность в ней, и сущность та — печаль!
А я — я князь печали! Мы сродни!
И если так случится, что она
Во мне приметит райское величье,
Она найдет в нас общую черту!
Ведь дочери людские, так бывало,
Сходились с ангелами, а она —
От человечества, она — слеза!



Да, да! Вперед! Дам пищу злоязычью.

Из-за скалы показывается Элоа. *Сатана останавливает ее знаком руки.*

Постой, скажи! Каким особым правом
Владеешь ты, чтоб выдержать мой взгляд?
Тебе не страшно длинные ресницы
Прелестных глаз и брови опалить?
Лазурный блеск твоих роскошных крыльев,
Он пострадает в отблеске багровом,
Так ярко окаймляющем меня?
Скажи, зачем ты здесь и не ко мне ли?

Элоа

В тот миг, как увидала я свет божий,
Скатилась я на саван гробовой;
Светил мне в сердце светоч погребальный,
И звук рыданья был мне пеленой!
С тех самых пор неясное влеченье
Меня манит к тоскующей земле, —
И ты, князь мрака, мне совсем не страшен,
Я родилась в тоске души; во мгле...

Сатана

Прелестнейшая речь в устах прелестных,
И, слушай я ее, — добрее б стал!
Что ты меня не избегала — знаю...
Но не подослана ль ко мне, — скажи?

Элоа

Нет! Мне пути никто не указует,
К тебе сама я избрала свой путь,
Я вольной волей встретиться хотела,
И встречу вновь тебя когда-нибудь.

Сатана

Ого! Такая мысль большая новость!
Но я свободен, мне запретов нет,
Тогда как ты в живом кольце запретов.
Я твоего желанья не пойму!
Или еще я мало доказал
Упорства своего непоборимость!
Поступок твой безумно смел, Элоа!

Придется отвечать эпитимьею...
Уж там, клянусь, известна встреча наша!
Нетопыри и совы полетели
С доносами! Поверь, мне жаль тебя!
Мой однолеток, бог...

Элоа

Остановись!
Мне жаль тебя, — ты, кажется, сказал?
Ты хорошо сказал и помни...

(Исчезает.)

Сатана

Где ты?
Но нет ее! Лишь эхо раскатилось,
И дряблые тела комет бродячих
Испуганно попрятались в пространства.
Она права: я пожалел ее!
Исчезла, как и я могу исчезнуть!
Мне не найти ее... Не хватит сил!

Сатана, глядя ей вслед, заволакивается туманом.

3

Яркий солнечный день. Монастырь в развалинах. Заброшенное кладбище. Элоа бродит между могил.

Элоа

Зачем господь в предвиденьи великом
Мне, дочери мгновенья, дал бессмертье?
Зачем между служительниц своих
Быть повелел и мне — рожденной грустью?
Зачем дал женский облик мне? Кому
Не знающий улыбки лик мой нужен?
Зачем, любя творца всем существом,
Близ князя мрака — я вполне спокойна?
В вопросах этих вовсе не сомненье —
Исканье богом избранных путей...

(Оглядывает кладбище.)

Забытый монастырь! Мне говорили,
Что тут являлся часто сатана,

Увлек монахов, обезлюдил кельи;
И колокол молчит, и службы нет...

Раздается звон колокола. Сатана входит в виде капуцина, с кропилом в руке.

Сатана

Вы, покойники уснувшие,
В неизвестном потонувшие,
Что вы к солнцу не выходите?
Солнца теплым не находите?
Наши грешные моления
Приближают час спасения...
Хорошо в земле сырой:
В ней покой, всегда покой...
Я хожу, вас поминаю,
Ваши кости окропляю
Освященною водой,
Взятой от мощей святой!
Ты сочись, вода, сочись,
Ты к костям их проберись
И глубоко под землей
Упокой их, упокой...

(Окропляет.)

Гром землетрясений,
Крики преступлений,
Мощный гул сражений,
    Залетев сюда, —
Да не пробуждают
Тех, что почивают,
Ложно не вещают
    Страшного суда.
Но по084 минованьи
Тяжкого призванья
Мертвого молчанья,
    Чуть вставать велят —
Из ростков сокрытых,
От греха омытых
И Христом привитых,
    Глянет божий сад...

(Окропляет.)

Ранней осени предвестники,
Стали лилии цвести!
Где-то божьи благовестники?
В мире их не обрести!..
Много злого совершается,
И не дремлет враг людской...
Спящий здесь да не пугается:
Я кроплю святой водой.

(Окропляет.)

Элоа

Хорошим делом занят ты, старик!

Сатана

Колокол замолкает.

Небесный ангел! Или дух земной
Ты, удостоивший меня вопросом?..
Скажи же мне: которым из имен
Тебя мне величать, мой гость блаженный?
Как настоятелю о виденном сказать?

Элоа

Элоа я.

Сатана

Ты дочь слезы Христовой!
На тело друга уронил Христос
Свою слезу — печаль души господней,
И стала ангелом та чистая слеза!
И это ты? И на закате дней
Тебя сподобился я, грешный, видеть?!

Элоа

Скажи: я думала, что монастырской
Здесь службы нет? Упразднена обитель
За старый грех, а между тем звонили,
И вот тебя за добрым делом вижу?

Сатана

Мы здесь чужие! Очень издалека!
Родная нам обитель погорела,

И мы искали новой. Отовсюду
Нас гнали, мы пришли тогда сюда,
Проведав о монастыре пустевшем,
И, с чистою надеждой на творца,
Свой страх превозмогли и поселились,
И нас хранит господь! Но разве ты
Не знала, что не чисто это место?
Ты, видно, посмелей других блаженных,
Ты даже князя мрака не боишься?

Элоа

Я не боюсь его! Мне мнится, в нем
Не всё, что было свято, то погасло,
И что к добру возврат ему возможен!

Сатана

Напрасный труд! Отверженец природы,
Он богу никогда не подчинится!
Нет лжи, к которой не способен он...
А разве, о! скажи мне, светлый ангел,
Так рассуждающих на небе много?

Элоа

Нет, я одна...

Сатана

Скажи: ты князя тьмы
Видала ли? Он в церкви намалеван:
Горящим пламенем обвит, с хвостом,
И безобразен он, проклятый!

Элоа

Нет!
В лице его, отмеченном печалью,
В глазах, горящих мыслью, и в движеньях
Былого светлое величье видно
И с божьим небом прежнее родство!
Но милостив господь!

Сатана

Ты мнишь, что небо
Простит когда-нибудь и преисподней?

Элоа

Она придет сама — когда познает!

Сатана

Что ж? Может быть! И ежели господь
Дал сына своего на искупленье,
Он дочерью его не поскупится,
Чтоб искупить в лице ее весь ад!
Князь мрака был от неба — ты от неба;
Печален он — и ты печальна, ангел,
И прелесть женская в тебе у места...
Крепись! Крепись! Собой искупишь ад!

Раздается звон колокола и проходят поющие монахи.

Монахи

К нашей трапезе обычной
Мы идем стезей привычной,
Богом трапеза дана
И крестом осенена!
Братья! Следуйте за нами
Тихо, мерными шагами...
Час полуденный настал,
Звучный колокол позвал...

Сатана

Чин монастырский строг, идти пора
И настоятелю о всем поведать!
Но, божий ангел! Есть у нас преданье...
Оно под спудом скрыто в письменах:
Загадка истины о том, как будет
Сам сатана на небо возвращен.

Элоа

А от кого, скажи, преданье это?

Сатана

Не знаю, ангел, но могу прочесть...

Элоа

Скажи: когда и где прочтешь преданье?

Сатана

Когда замолкнет всюду шум дневной,
И луч луны, с лучом заката слившись,
Пойдут к цветам, чтобы прилечь тихонько
В подушках их коронок ароматных;
Когда вдоль берегов реки соседней
Чуть слышно раздадутся поцелуи
Трепещущей волны и незабудок,
Когда заснет последний из монахов, —
Я буду ждать! Придешь ли?

Элоа

Да! Приду.

Сатана уходит вслед за монахами. Облик Элоа становится невидим в сияньи полуденного солнца.

4

Ясное утро. Элоа, задумавшись, несется по направлению к земле.

Элоа

«Когда его бессмертная полюбит
И, правду видя в лжи, обманет ложь. . .»
Вот что написано в старинном свитке,
О том, как небо сатану простит.
Я не пойму, что значит тут: полюбит?
И не искать ли в жалости любви?

Навстречу Элоа — души усопших. Она останавливает свой полет и прислушивается.

Хор только что умерших

Что гудит каким-то звоном?
Что живит погасший слух?
Мы несемся небосклоном,
Нам захватывает дух. . .

Элоа

Тоска земли еще их облекает,
И бледность смерти не сбежала с них,
С трудом как будто руки расправляют. . .
На лицах — слезы плакавших родных!

Хор только что умерших

Все толпой, не в одиночку,
В струнных звуках, в полный свет!
Мать, неси малютку дочку,
Брат — сестру и внучку — дед!
В тихом веяньи полета
Вереницею теней
Мчимся мы — и нет нам счета...
Только б вынестись скорей!

Элоа

Сознанье к бедным смутно возвратилось...
Как будто первым слух в них пробужден...
Они удивлены: как это всё случилось,
Как ужас смерти мог быть обойден?

Хор только что умерших

Мы смотрели, мы видали
Нас самих, в своих гробах,
И себя не узнавали
В обезличенных чертах!
Смерть теперь нас не пугает...
Нам не жаль поблекших лиц,
И надежда окрыляет
Сонм бессмертных верениц!

Элоа

Как много грусти в этих, что отстали!
Глядят назад! Их будто вниз влечет,
Туда, к земле, где бедных отпевали,
Где кто-нибудь из близких сердцу ждет...

Хор недавно умерших

Гляньте: ангел при дороге!
Ангел, верен ли наш путь?

Элоа

Верен! Вам не сбиться в боге!

Появляется Сатана.

Сатана

Вот и я... хочу взглянуть!

Хор только что умерших
(испуганно, завидя Сатану)

Все толпой, не в одиночку!
Не отстал бы кто из нас!

Сатана

Жмитесь! Жмитесь!.. гуще... в точку!
Солнца блеск вам вслед погас!..
Стойте ж вы! Куда спешите?
Дайте вас поразобрать!
Уменьшу я цифру в свите,
Если должное мне взять...

Умерший священник

Дух вражды с венцом бесславным!
С этой страшной высоты
Говорю как равный с равным,
Чуждый смерти, как и ты!
В жизни был я иереем,
И встречались мы с тобой...
Сгинь!..

Сатана
(обволакивая священника)

Помазанный елеем!
Ты-то именно, ты — мой!
Бледен... желт... хиротонисан...
Митрой венчан!

Элоа

Отпусти!

Сатана

У меня он в сердце вписан!
Сердце, что ли, разнести?!
Рассата́ниться мне, что ли?!
Нет! Не с этого конца
Начала! Убавь мне воли...
Обрати меня в глупца!

Сатана со священником исчезают.

Хор только что умерших

Дальше, шибче, с тихим звоном...
Стадом робких голубей
Унесемтесь небосклоном...
Лишь бы только поскорей!

(Отлетают.)

Элоа

Они промчались стадом голубиным...
Одной лишь жертвы нет, обречена!
Он взял ее, и он же был причиной...
Не в небе грозен он, но на земле!
Там он, по правде, и велик и страшен!
Там зреет мощь его... Убавить воли?!
Сказал он: да, но как же с этим быть?

(Проносится к земле.)

5

Степи. Совершенно ясный вечер после великой бури. Носится туман.

Элоа

Погаснувшего дня живое затемненье
Ложится думою на строгий лик степей;
Вступающая ночь несет успокоенье,
Упал туман на степь... Пей, алчущая, пей!

(Молится.)

Здесь, от лица земли и всех ее созданий,
Живым ходатаем за нужды бытия,
К тебе, в вечерний час, в степях без очертаний,
Отец мой, молится дочь бедная твоя!
Я тоже дочь земли... Великое общенье
Мое с тоской ты сам, создав меня, решил...
Я знаю: в жизни нет добра без преступленья
И не могло бы быть рождений без могил!
Я знаю, что́ путем мучений и кончины
Задумано тобой: мир, зреющий в борьбе,
Мир цельный в оны дни, теперь — две половины,
В бессмертье душ людских весь привести к тебе!
Но если ты найдешь, что миновали сроки
И выполнено злом — то, чем спасались мы?!.

Сомненья так сильны... и раны так глубоки...
Живого места нет... Помилуй духа тьмы!

Сатана появляется из потемневшей лазури и, сияя красотою в отблесках зари, останавливается перед Элоа.

Сатана

Из недр миров, из всех земных печалей
Я поднялся к тебе навстречу, как роса
С зарей навстречу солнца проступает...
Роса посохнет — ты меня отринешь!

Элоа

Когда добра хочу — зачем отрину?

Сатана

Ты вникни в смысл моих живых мучений.
Не несколько часов терзаюсь, распят...
Не тридцать только лет скитаюсь в ссылке...
Не временною жаждой изнываю...
Не на Голгофе только распят — всюду!
А справедливость божья не сыта.

Элоа

Не богохульствуй!

Сатана

В чем же богохульство?
Ведь если лик твой светлый так печален,
В твоей печали богохульство тоже,
Не на словах оно, зато на деле!
Зачем тоска твоя, коль всё прекрасно?
Зачем ты там, на небе, одинока,
Зачем ко мне взглянула? Отчего
Твой взгляд, в меня живым проникновеньем
Пройдя, огонь моих страданий гасит?
Перед тобой открыт я для любви...
И ты сама, при этом пышном слове
«Любовь» во всем становишься ясней!
Как бы с тем сло́вом в твой духовный лик
Путем каким-то плоть вдруг проникает...

(Подвигается к Элоа.)

Да, да! Любовью ты спасешь меня!

Склонилась слухом, приклонись и сердцем...
Твоею верою я буду верить!
Твоей святой печалью освящусь!
Мой ум больной в тебе покоя ищет...
В нем совокупность мощных сил кипит
И замышляет новое творенье!..
То новый мир! И так ясна ты мне,
И счастье полное так ощутимо...
Люблю тебя и этою любовью
Сам, отрицаясь, ад я сокрушаю!..
О, отвечай!

Элоа

На то господня благость.

Сатана

Без благости! В меня любовью веет...
Скажи: люблю...

Элоа

Я полюблю тебя!

Сатана

(склоняясь подле нее на колени)

Склоняюсь пред тобой всем мощным сонмом
Проклятий, шедших мне всегда вослед!
Служу тебе великим приношеньем
Всех отстраненных мной отныне бед!
Огонь блаженства мне туманит очи,
Ответь, дозволь!

Элоа

Мне не понять тебя!

Сатана

Зачем молчишь? Зачем не отвечаешь?
Зачем не льнешь, не клонишься ко мне?

Элоа

К чему? И что ж еще?

Сатана

О, будь моею...

Элоа

Я вся твоя и так...

Сатана

Не то, не то!..
Люби меня с забвеньем неразумным,
Люби объятьем, смелостью люби!
Так трепещи, как я! Дай обладанья...
Ты дай мне всю тебя...

Элоа

Ведь я твоя?!

По мановенью Сатаны по тверди небесной выясняются, в розовом свете, бессчетные облики служения любви.

Взгляни, пойми!.. Роскошные картины
Взошли, как кущи роз, по ночи голубой,
И рдеют небеса, с краев и до средины,
Служением любви и страстности живой!
Как цепи розовые тел и очертаний,
Мою вселенную обвившие кругом, —
Вы, в таинстве любви и в трепете дыханий,
Роскошно дремлете своим чудесным сном...
Пойми меня! Пойми! Ты счастье обретаешь...
Твой холод святости хотя на миг отбрось...

Облик Элоа начинает медленно бледнеть.

Но ты туманишься... бледнеешь... исчезаешь...

Сатана, не видя более Элоа, быстро поднимается.

Так, значит, одному из нас не удалось?!.
Ехидна дерзкая! Ты хитростно скользнула,
Впилась, проклятая, в больное сердце мне..
Я правду видел в лжи! Тут правда — обманула!
Бесполых жриц, как ты, — не нужно Сатане!

Сатана разгорается великим пламенем.

Вспылал мой ум ужасной жаждой!
И как растопленный металл,
Бежит во мне по жиле каждой
Зловещий грохот всех начал!

Вперед! И этот век проклятий,
Что на земле идет теперь, —
Тишайшим веком добрых братий
Почтет грядущий полузверь!
В умах людских, как язвы вскрытых,
Легенды быль перерастут,
И по церквам царей убитых
Виденья в полночи пойдут!
Смех... стоны... муки... им в насмешку,
Вовек!.. Пока, перед концом,
Я, с трубным гласом вперемежку,
Вдруг разыграюсь трепаком,
И под сильнейшие аккорды
Людскую тлю пошлю на суд, —
Пускай воскреснут эти морды,
А там, пока что разберут,
Вперед!..

Сатана уносится, и вместе с тем погасают видения. Небо остается совершенно голубым и чистым.

РАННИЕ РЕДАКЦИИ

«КОГДА БЫ КАК-НИБУДЬ ДЛЯ НАС ВОЗМОЖНЫМ СТАЛО...»

(Стр. 55)

1—6 Когда бы сопоставить то, что в мыслях и желаньях
Легло по жизни на огромных расстояньях
И было нами мыслимо и сделано давно, —
Как стра́нен будет вид подобного сближенья
Больших противоречий, ждущих разрешенья,
Которого не может быть дано...

В ЛАБОРАТОРИИ

(Стр. 56)

О нет! из темноты углов ее молчащих,
Из ма́шин и приборов, видных в ней,
Из аппаратов, вдоль шкапов стоящих,
Из полок с книгами не вызвать в жизнь теней.
Сквозь ряд реторт, вдоль проволок привода
Духовный мир являться не начнет,
И сильф, настигнутый струею кислорода,
В соединеньи новом пропадет!
О! сколько правды в мертвенности этой!
Но главный вывод беззаветно скрыт...
И рад бы, кажется, бред мысли подогретой
Принять за правду! Что ж она молчит?
Зачем не лжет под видом убежденья?
Не всё в природе цифры и паи?
Мир чувств не признает законов тяготенья,
И у фантазии законы есть свои...
От нас зависит то, чтоб свежестью пахнуло,
Чтоб в этом мертвенном, тяжелом забытьи
Тепло мечтанья затхлость шевельнуло
И подняло наверх легчайшие слои...

В БОЛЬНИЦЕ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ

(Стр. 58)

Еще один усталый ум погас,
И проявляется несвязными словами...
Теперь, безумец, он осмеивает вас,
Как в дни былые был осмеян ва́ми!

Слеза мирская нынче велика!
Смеется мир — безумные плодятся!
Смотрите вы, кому так жизнь легка,
Чтоб мрак, живущий в нем, не начал в вас спускаться...

Он ходит, этот мрак! он всюду между нас!
Он ближе к каждому, чем кажется порою...
Всё, всё кончается в тот беззаветный час,
Когда смущенный дух надломится борьбою.

И вам судьба друзей не отличать!
Не тех, что нужно, гоните, клянете...
Что, если здесь вы встретитесь опять?!
Вы смысла встречи тоже не поймете...

LUX AETERNA

(Стр. 58)

Когда свет месяца бесстрастно озаряет
Заснувший мир и всё, что в нем живет, —
Порою кажется, что свет тот проникает
В ограду кладбища, в старинный крестный ход,
Где, ни имен, ни времени не помня,
Как зерна в землю мертвых клал народ;
Где кучи памятников — что каменоломня:
Всё плиты, кирпичи для будущих работ!
Кресты и урны, гробы над гробами...
А клейма черепов на сложенных костях
Являются какими-то условными значками
На предназначенных для кладки кирпичах!..
Какое это будет зданье? Кто в него проникнет?
И личность наша пропадет или возникнет?

И мнится при луне, что мир наш — мир загробный,
Что мы уже в грядущей жизни и что мы
Не больше как послед других существ, подобный
Жильцам какой-то пересылочной тюрьмы!
И мнится: месяц светит мягкими лучами
На землю, как на Елисейские поля,
Где сами мы снуем бесплотными тенями,
Где воздух не живит, где не крепка земля!
Где над виденьем бытия земного,
Звездами, как росой полуночной покрыт,
Нас отделяя от всего былого,
Запретом стелется небес громадный щит!
И кажутся тогда понятны так и ясны
Стремленья вырваться — и что они напрасны...

В КИЕВЕ НОЧЬЮ

(Стр. 60)

Смотрю на город я с горы высокой. . .
Темнеют прорези церковных куполов
И груды острые столпившихся домов
По ночи месячной, совсем голубоокой;
И Днепр уносится! Его не слышу я:
Молчит за далью древняя струя!

Что ж? Разве месяц красоте причина?
Пустите вы его зеленые лучи
По той же голубой сияющей ночи
Скользить в пространствах! — Где же тут картина?!
Лучи куда-то молча убегут
И, ничего не встретив, пропадут.

Но там, где землю встретить им случилось,
Где лечь пришлось на то, что долгою борьбой
Так или иначе составилось, сложилось
И кое-как живет, промучено судьбой, —
Иное те лучи значенье получают:
Они чудесное, действительно, рождают!

Суть — в прахе! В пыли! А не в блеске их!
Суть в созданном землей, а в том числе и нами,
В трудах, отмеченных великими скорбями,
В покое мертвых сил под гнетом сил живых!
Вся суть в том чаяньи, в той грусти пониманья,
Что это всё взросло из тяжкого страданья,

Что тут воздвигнуты, поставлены людьми
Границы, очерки, решения, пределы,
Чему-то найден смысл, пополнены пробелы
И пересыпаны безмолвными костьми. . .
Но месяц здесь, конечно, ни при чем,
С своим бессмысленным серебряным лучом. . .

«СКАЖИТЕ ДЕРЕВУ: ТЫ ПЕРЕСТАНЬ РАСТИ. . .»

(Стр. 62)

Из жизни

Скажите дереву: ты перестань цвести,
Не пробивайся в жизнь листами молодыми,
С зарею не сквози лучами, не блести
В парче ночной росы алмазами живыми;

Ты не пускай в земле питательных корней,
Отростков молодых с молочной белизною. . .
Взгляни на тысячи кругом гниющих пней,
На сушь валежника с умершею листвою.

Ведь это всё в свой срок, так точно как и ты,
Стремилось в цвет и рост, зачем — не сознавало,
Ютило песни птиц и влажные цветы
В полдневный час не раз от жару защищало.

Прослушав, дерево той притчи не поймет. . .
Надеется цвести, зимою обмерзая. . .
А гордый человек, чуть злобный час придет,
С собою порешит, цветенья не желая.

НА РАУТЕ

(Стр. 65)

В немецком замке

Еще в старинном блеске обстановки,
В массивной роскоши сияет старый дом!
Из всех возможных форм корсетов и шнуровки
Никто, никто не смеет выйти в нем.
Еще глядят со стен старинные портреты
Всех представителей разросшейся семьи:
Есть в латах, в мантиях, есть даже эполеты,
Есть и духовные — виднеются скуфьи.
Вдоль лестниц — пальмы; люстры с хрусталями;
И если пир дается, то на нем
Прислуга движется, расшитая гербами,
Гремит оркестр с великим торжеством.
Как луг, колеблемый под ветром, гнутся шеи
Толпы гостей, нахлебников, родных;
Кругом хозяина толкаются пигмеи:
Старик умней и многим лучше их.
Людишки чахлые, — почти любой с изъяном!
Одно им нужно: жить, чтоб не тужить!
Здесь мальчик-с-пальчик был бы великаном,
Когда б по силе духа их сравнить. . .
А между тем всё то, что тешит взоры,
Всё это держится усильями подпор:
Не дом стоит — стоят его подпоры,
Пигмеи, гномы — составляют двор!
И может это всё в одно мгновенье сгинуть,
Упорно держится бог ведает на чем!
Не молотом хватить, — на биржу вексель кинуть —
И ты развалишься, блестящий старый дом.

В ТЕАТРЕ

(Стр. 66)

Они из гроба Фауста поднимают,
Они тень Гамлета печальную зовут,
Маркиза По́зу петь на сцене заставляют,
И тени с ужасом, стыдясь себя, поют.

Они свели на сцену Дон-Кихота,
Сказав ему: пляши на старость лет,
Верти танцовщиц и в прыжках без счета
Веди к концу нелепейший балет.

Уродов Буффа, в платьях с фонарями,
Преображенных в овощи земли,
В бутылки, — скачущих безумными скачками,
Они на свет, состряпав, извлекли!

Больной фантазии больные порожденья,
Одно других безумней и срамней,
Явились в жизнь плодами воспаленья
Душевных сил пролгавшихся людей.

Толпа валит... Причиною понятной
Все эти пошлости нетрудно объяснить:
Народ в нелепости ужасной, необъятной
Рад пошлость жизни как-нибудь забыть...

РАЗЛУКА

(Стр. 72)

Ты понимаешь ли последнее прости?
Мир старый рушится и новый возникает...
Отыщутся ли в нем заветные пути?
Весь в неизвестности лежит он и пугает.
А старый, прочный мир уходит в дым и прах!
Ряд ярких обликов томительно мятется
И тает, видимо сжигаемый, в лучах
Неудержимых слез... А в новом что найдется?
Жизнь будет ли сильна настолько, чтоб опять
Дохнуть живым теплом на душу ледяную?
Иль, может быть, начав, как прежде, созидать,
Обманута в себе, жизнь примет грезу злую
За правду и начнет вновь верить, вновь мечтать,
И, видя в обликах своих же измышлений
Святую истину, повергнется пред них,
Чтобы, под смех и свист подросших поколений,
Почтить живым огнем молитвенных стремлений
Ряд пестрых лжеикон, нисколько не святых.

«ШЛИ ПУТЕМ НЕВЕДОМЫМ...»

(Стр. 91)

13—20 И по ним-то крадутся
Путниками скромными
Чувства те, что кажутся
В мире чувств бездомными!

Без закона крадутся,
С мира пробавляются,
Нигде не прописаны,
Ходят да шатаются!

«ПО НЕБУ БЫСТРО ПОДНИМАЯСЬ...»

(Стр. 91)

По небу быстро поднимаясь,
Навстречу мчась одна другой,
Две тучи, ежась и свиваясь,
Готовы ринуться на бой.

Глядеть на них мне грустно стало:
Зачем им битвы на пути?
И разве в небе места мало,
Чтоб не столкнуться и пройти?

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

(Стр. 95)

4

В глухом безвременье печали
И в одиночестве немом
Все, все, как мы, свой век кончали
Каким-то странным полусном.

На сердце желчь; гнетет забота;
На всех путях — вразумлены;
Тоскливой осени дремота
Сменила веянья весны!

Кто нас любил — ушли в забвенье,
Те, кто нам чужд вполне, — растут...
Но это всё одно смятенье
В пределах дней, годов, минут!

Мы ждем и даже не тоскуем;
Для нас не может быть мечты:
Мы у прошедшего воруем
Его завядшие цветы.

Сплетаем их в венки, в короны,
Смеемся даже на пирах. . .
Совсем, совсем Анакреоны —
Увы!. в искусственных цветах.

НА РЕКЕ ВЕСНОЙ

(Стр. 125)

Последним льдом своим спирая
Судов высокие бока,
В тепле весны шипя и тая,
Готова тронуться река.

Она сбежит и в степь и в горы
Под легкой сенью облаков,
По дну ее пойдут узоры
Из разноцветных парусов.

Река сберет в свои алмазы
С лугов сбежавшие снега,
Она запомнит те рассказы,
Что ей нашепчут берега.

Она снесет, поток свободный,
К равнине моря голубой
И труп гуляки, труп холодный,
И ландыш, брошенный дитёй.

РАССВЕТ В ДЕРЕВНЕ

(Стр. 125)

Утро в деревне

Огонь! огонь! На небесах огонь!
Роса дымится, в воздух отлетая,
По грудь в реке стоит косматый конь,
Стоит и смотрит, уши навостряя.
По длинному селу, из легкой темноты,
Несутся весело и звонкий лай, и ржанье,
А за селом погост и мелкие кресты,
И церковь старая, как старое преданье.
Вот ставней хлопнули. Из низкого окна
Глядит старик в рубахе, с бородою;
А вот и девушка извилистой тропою,
Полуодетая, под обаяньем сна,
Выходит на реку, и ветер полусонный,
Домчавшись весело блестящею травой,
Ласкается к ноге и к груди молодой.

Восток горит и рдеет. Раскаленный
Поднялся шар из золотой пыли,
Раздалось пенье птиц над бесконечным сводом,
И тянет от полей гвоздикою и медом,
И цельной свежестью распаханной земли.

На солнце душно. Жар. Томительно и знойно
Сверкает высь безоблачных небес;
Под ветром утренним светло и беспокойно
Шумят хлеба, гудит сосновый лес;
И в даль лиловую уходят, нежно-сини,
Пологие холмы проснувшейся пустыни.

В ЛИСТОПАД

(Стр. 127)

Ночь светла, хоть звезд не видно,
Небо крыто облаками,
Роща темная бушует
И бичуется ветвями.

По дороге ветер вьется,
Листья скачут вдоль дороги,
Как бессчетные пигмеи
К Гулливеру, мне, под ноги.

И уж это, нет, не листья,
Это — маленькие люди:
Бьются всякими страстями
Эти крохотные груди;

Но не вижу я удобства
Быть над ними Гулливером:
Очень важно у пигмеев
Брать значеньем и размером!

И уж это не пигмеи!
Это — бывшие страданья,
Пересохшие мученья
И поблекшие желанья!

И уж как их ветер гонит,
Как безжалостно терзает!
Вся дорога змеем темным
Под роями их мелькает!

Нет конца змее великой. . .
Волновалась, копошилась,
В даль и темень уползала,
И не кончилась — но скрылась. . .

МЕФИСТОФЕЛЬ

НА ПРОГУЛКЕ

(Стр. 134)

29—44 «Нынче время наступило,
Новой тактике пора...
Что ж бы это с нами было,
Если б не было добра?!

Нет добра! А зло повсюду!!!
Но для истинной борьбы
Несомненно нужны худу
Добродетелей горбы!..

Будь же добр! И будут рады
Друг Молох и Баалим,
Ада стяги и громады,
Для которых я — режим!..»

И, покончив с этим пеньем,
Он ребенка положил
И своим благословеньем
В свертке тряпок осенил!

ПРЕСТУПНИК

(Стр. 135)

Вешают убийцу люди по-над площадью,
И толпа пришла, стоит, глазеет, необъятная!
Мефистофель тут же, он в толпе шатается...
Вдруг мелькнула мысль прелестная, приятная!!

Обернулся мигом, стал самим преступником;
На себя веревку ловко он набрасывает...
И какие штуки он ногами-то выкидывает?
Что за выкрутасы он, повешенный, выплясывает?!

А преступник рад-радехонек, — толпою пробирается..
Новый умысел в мозгу его тихонько созревает:
Как бы это чище, лучше сделать, он придумывает,
А уж как, чтоб не попасться, это-то он знает!

И доволен Мефистофель, так неска́занно доволен,
Что два дела сделал людям из приязни:
Нехороший человек отпущен им, стал волен,
И сохранена приятность смертной казни...

ШАРМАНЩИК

(Стр. 136)

9—24 Вдруг ты воспрянула, заговорила!
Полная фальши, скачками звучишь!
Время ли, что ли, тебя потрошило?
Нот не хватает — а всё говоришь!

Кто-то подслушал тогда! Ударенья
Резко сдаются на тех же местах,
Те, что когда-то в чаду вдохновенья
Вдруг замирали на милых устах!

Злая шарманка! ты бесчеловечна...
Точно напомнить явилась она
И доказать, что как блеск скоротечна
Сила любви, что она не вечна́!

Удержу нет! Всё пилит, всё хохочет,
Песня безумною стала сама,
Мысль, погасая, проклятья бормочет...
Не замолчишь ты — сойду я с ума!

ПОЛИШИНЕЛИ

(Стр. 142)

Вы видали ль на рынках, на тесьмах, на пружинках
Картонажные полишинели?
Чуть за нитку потянут, вдруг огромными станут!
Смотришь: съежились! ан — подлиннели...

Вот берет Мефистофель исторический профиль
Человека из очень почтенных,
И в народном сознаньи производит скаканье
На пружинках, совсем сокровенных.

Так, вот этот, поди-ка, что Иван ваш Великий
Перед ним, — почитай, зубочистка,
Генерал генералов, сто́ит всех пяти баллов,
Ум — палата! Душа в нем — артистка!

А сегодня открыли, всех и вся убедили,
Что и вовсе-то был он ничтожен!
Ел и пил слишком робко, да и глуп был как пробка,
Недостаточно был растревожен!

А вот этот? Сегодня, как у гроба господня
Бесноватый какой, прокаженный,
И поруган, и болен, и терпеть приневолен,
Весь слоновой болезнью прожженный!

Завтра — детище света! Муж большого совета,
Где и равный ему не найдется...
Возвеличился профиль! Дернул нить Мефистофель
И кривлянью фигурки смеется...

МЕРТВЫЕ БОГИ

(Стр. 156)

Памяти Гейне

Тихо раздвинув ресницы, как глаз бесконечный,
Смотрит на синее небо земля полуночи.
Все свои звезды затеплило чудное небо,
Месяц серебряный льет раскаленное пламя.
Свету-то, свету! Сияет окованный воздух,
Дремлет увлáженный лес, пересыпан лучами,
Длинными вздохами дышит уснувшее море,
Лезет волнами на берег; вода прибывает.
Будто из мрамора или из кости сложившись,

Идут высокие изжелта-белые тучи,
Месяц, ныряя за их набежавшие массы,
Золотом режет и яркой каймою каймит их.

Это не тучи! нет, нет — на ветрах полунóчи
С гор скандинавских, со льдов Ледовитого моря,
С Нила и с Ганга, из тихих лесов Миссисипи,
В лунных лучах налетают отжившие боги;
Тучами кажутся их колоссальные тени.
Очи закрыты, опущены длинные веки,
Низко одеты на царственных челах короны,
Белые саваны медленно вьются по ветру,
В мрачном молчании мчатся отжившие боги.

Вижу тебя, позабытого бога Валгаллы.
Мрачен, как север, твой образ, Одéн седовласый.
Вижу я меч твой и щит, а на матовом шлеме
Ярко пылает и светит звезда полуночи.
Тихо склонил ты, развенчанный, белую голову, вялой,
Дряхлой рукой заслонился от лунного света,
А на плечах богатырских несешь ты лопату.
Уж не могилу ли станешь копать, седовласый?
В небе копаться и рыться, старик, запрещают,
Да и идет ли лопата маститому богу Одену?

Ты ли, утопленник, сросшись осколками, снова
Мчишься по небу, Перун-Выдыбай страшноротый!
Как же обтер тебя, бедного, Днепр светловодный!
Светятся звезды сквозь тонко-прозрачное тело.
Полно, Перун, посмотри, ведь ты тащишь кастрюлю;

Разве припомнил былые пиры да попойки
В гриднях высоких, на княжьих дворах и охотах;
Полно, приятель, бросай-ка кастрюлю на землю,
Жителям неба, как слышится, пищи не надо,
Да и растут ли на небе припасы для кухни?

Как не узнать мне тебя, громовержец Юпитер?
Точно на троне, сидишь ты на свившейся туче,
Мрачные думы скопились в глубоких морщинах;
Чувствую снизу, какой ты холодный и мертвый.
Нет ни орла при тебе, ни небесного грома в деснице,
Мчится недвижно твоя меловая стату́я,
А на коленях качается детская люлька.
Бедный Юпитер, за сотни прожитых столетий
В сферах небесных, за райски невинные шашни,
Кажется, начал ты нянчить своих же мальчишек?
В розгу разросся давно обессиленный скипетр.
Что ты, Юпитер, да разве и в небе есть розги?

Много еще проносилось богов и божочков,
Мертвые боги с богами, готовыми к смерти:
Мчались на сфинксах двурогие боги Египта,
Шли фетиши́ и несли на плечах своих Ви́шну,
Кучей летели стозубые боги Сибири,
В чубах китайцев покоился Ли безобразный,
Пальмы и сосны, верблюды, брамины и маги,
Скальды, друиды, слоны, бердыши, крокодилы,
Густо смешавшись и плотно насев друг на друга,
Плыли по небу одною уродливой тучей.

Чья ж это тень одиноко скользит над землею?
Голая, дивная женщина, видно богиня.
Подняты за спину белые, нежные руки,
Вот покачнулася, на руки голову свесив,
Спину вогнула, рассыпались чудные косы;
Белую шею и груди торжественно выгнув,
Вся в серебре и в лучах ослепительных, лунных
Мчится она, тень печальная, тень молодая.

Кто ты, прекрасная? О, отвечай поскорее!
Ты Афродита? О нет, — Афродита старуха,
Смята, изношена очень, бледна, безволоса, беззуба.
Где Афродите? .. Зачем же, скажи, ты печальна?
Что в тебе ноет и чем ты страдаешь так сильно?
Может быть, стыдно тебе пролетать без одежды?
Может быть, холодно? Может быть. . . Слушай, виденье:
Если неправ я, когда ты сама Афродита,
Я расскажу тебе, чем ты больна и тосклива:
Боги состарились — ты молода и прекрасна,
Боги бессильны — а ты горяча, ненасытна. . .
Люди и боги роднились, ты знаешь сама, очень часто;
Слушай, спустись, и пока замерещится утро —

В ночь утомлю я богиню своей человеческой страстью,
Я покажу, чем земля привлекательней неба. . .
Старые боги, рогатые боги — мне жаль вас!

Дрогнула ночь, и забегали полосы света,
Мелкою зыбью подернулось спавшее море,
Тихо качнулись и тронулись белые тени,
Вспыхнула краска на бледных, безжизненных лицах,
Самые волосы мертвых богов покраснели,
Тянутся вниз и расплылись печальные тени,
В новую ночь унеслись, под другие созвездья,
Вечно бродящие, вечно печальные боги.

Да и чего не толкуют болтливые люди:
Будто бы дождик — богов рассыпает на землю,
Будто бы боги лежат после дождика грязью,
А человечество ходит по ним и старательно топчет.
Лгут — потому что никто из порядочных смертных
В грязь не выходит из дому, в грязи сапогов не марает.

НА ВОЛГЕ

(Стр. 190)

Одним из тех великих чудодействий,
Которыми ты, родина, полна,
В степях песчаных и солончаковых
Струится Волги мутная волна. . .
С запасом жизни, взятым на дорогу
Из дебрей и трясин, из северных болот,
По странам засухи, степных ветров и зноя
То жила жизни мощная течет!
От муромских лесов, от родины раскола,
Вдоль ряда целого святых монастырей,
Она подходит к капищам, к хурулам
Другого бога и других людей.
Вдоль розовых песков, окраиной пустыни,
Совсем вблизи кочевий калмыков,
У временных ватаг, обставленных сетями,
Кострами, лодками поволжских рыбаков;
Вплотную, бок о бóк, как будто для сравненья
С младенчеством культуры бытовой, —
Трудятся мáшины высокого давленья
На пароходах с топкой нефтяной.

С роскошных палуб, из кают богатых
В молчанье важное пылающих степей
Несется речь проезжих бородатых,
Проезжих бритых, взрослых и детей:
На той же палубе, чуть вечер наступает,
Совсем свободно, в подходящий час,
Себя еврей в молитве накрывает,
И исполняется татарином намаз;

И тут же, слушателей странно поражая
Скачками мыслей, знаньем языков, —
Столичный юноша, на службу отъезжая,
Толкует, ратует для будущих веков. . .

Какая смесь, каких сопоставлений?!
И та же, всё одна великая страна. . .
В чем разрешенье всех этих движений?
Где общая им цель? Дана ли им она?
Как знать? Но верно то, что форм переработки
Не даст нам форм других давно известный ряд:
Тут все они то длинны, то коротки.
И не придется ни одна на лад. . .
Нужна своя! . .

ПОСЛЕ КАЗНИ В ЖЕНЕВЕ

(Стр. 204)

Тяжелый день. . . ты уходил так вяло. . .
Я видел казнь: багровый эшафот
Давил своею тяжестью народ,
И солнце на топор сияло.

Казнили. Голова отпрянула, как мяч!
Стер полотенцем кровь с руки палач,
И эшафот поспешно разобрали;
Пришли пожарные и площадь поливали.

Тяжелый день. . . ты уходил так вяло. . .
Мне снилось: я лежал на страшном колесе,
Меня коробило, меня на части рвало,
И мышцы лопались, ломались кости все. . .

Я всё вытягивался в пытке небывалой
И, став звенящею, чувствительной струной,
К монахине какой-то исхудалой
На балалайку вдруг попал живой!

Старуха черная гнусила и хрипела,
Костлявым пальцем дергала меня,
«В крови горит огонь желанья» — пела,
И я вторил ей, жалобно звеня! . .

В СНЕГАХ

(Стр. 323)

Вместо последних 14 строк

Лайка же против такого решенья
Не подавала отдельного мненья;
Мир иль монашество, ей всё равно, —
К постной, мол, пище привыкла давно.

Вслед за Андреем дорогой бежит,
Тоже, знать, странствует, в оба глядит:
В первом селе, что в пути повстречали,
Лайку собаки совсем пощипали, —
Стала умней, не уходит назад!
Мрачный у Лайки, задумчивый взгляд:
«Что, брат Андрей, я тебе говорила, —
Нас не порядку Прасковья учила!
Жили с тобой мы спокойно и тихо,
Нас не томило ни горе, ни лихо!
Правда, премудрых вещей мы не знали...
Нынче с тобой мы учеными стали,
Чувства высокие в сердце несем
И рассуждаем о том да о сем!..
Прежде нам солнышко просто — светило;
Нынче к нам солнце заговорило:
— Я вам, смотрите, недаром свечу, —
Добрых за это деяний хочу!
Прежде, бывало, чуть вечер — храпим;
Нынче мы заполночь часто сидим,
Смотрим на звезды, молитвы читаем, —
Точно как будто бы что понимаем!..
Сам ты скажи: ну, пугались ли мы
Нечисти всякой, ползущей из тьмы?!
Нынче нас души, поди, посещают,
Всё, вишь, верховные — повелевают!
Гуси навстречу вон в небе летят! —
Прежде пустили бы просто заряд;
Нынче, куда! Предпочтем голодать:
Пятница, пост — и не смеем стрелять!
Даже забыл ты, голубчик, ружье!..
Эх, поросло, знать, по были былье!..
Тьфу! даже гадко в себя заглянуть!..
Разве что бросить тебя!.. Улизнуть?!
Жалко! хороший ты, братец, старик;
Добр был со мной! Да и я-то привык!..»
Так или вроде того рассуждала
Лайка и вслед за Андреем бежала.

Ну, а в пустыне с весенним теплом
Жизнь потянулась обычным путем.
Месяц прошел. Населилась лачуга, —
Просто не знала, что делать с испуга!
Снова собрались наносные люди,
Вышли от Руси, от Мери и Чуди!
В стойлах усталые лошади ржали,
Гости, ночуя, вповалку лежали;
Водка и песни текли спозаранка;
Под вечер говор, чет-нечет, орлянка...
Много шло толков промежду гостей:
Что тут случилось? Где делся Андрей?
Если он точно в могилу забрался, —

Сам ли он, что ли, в нее закопался?
Раз под шумок порывались разрыть,
Чтобы короче вопрос разрешить...
То-то б искатели тешиться стали,
Если б Прасковью они увидали?!

ЭЛОА

(Стр. 364)

5

Степи. Совершенно ясный вечер после великой бури. Носится туман.

Элоа

Погаснувшего дня живое затемненье
Ложится думою на строгий лик степей;
Вступающая ночь несет успокоенье;
Упал туман на степь... пей! алчущая, пей!

(Молится.)

Здесь, от лица земли и всех ее созданий,
Живым ходатаем за нужды бытия,
К тебе, в вечерний час, в степях без очертаний,
Отец мой, молится дочь бедная твоя!!
Я тоже от земли!! Великое общенье
Мое с тоской ты сам, создав меня, решил...
Я знаю: в жизни нет добра без преступленья
И не могло бы быть рождений без могил!
Я знаю, что́ путем мучений и кончины
Задумано тобой: мир, зреющий в борьбе,
Мир, распадающийся на две половины,
В судьбах бессмертья душ весь привести к тебе!!
Но если ты найдешь, что миновали сроки,
Что выполнило зло — то, чем спасались мы?!.
Сомненья так сильны... и раны так глубоки...
Живого места нет... Помилуй духа тьмы!

Сатана вырисовывается из потемневшей лазури и, сияя всею своею красотою в отблесках зари, становится перед Элоа.

Сатана

Я не пришел к тебе, Элоа, не принесся...
Из недр миров, из всех печалей и страданий,
Я проступил к тебе навстречу, как роса
С зарей навстречу солнца тихо проступает...
И солнце высушит росу, и ты отринешь!

Элоа

Когда добра хочу — зачем отрину я?

Сатана

Я изменил себе... я слаб перед тобою...
Не несколько часов каких-нибудь я распят...
Не тридцать лет каких-нибудь скитаюсь в ссылке...
Не временную жажду чувствую, казнимый...
Не на Голгофе только распят я — повсюду!!!
А справедливость не довольна, не сыта...

Элоа

Не богохульствуй!

Сатана

О, за что, как не за чувство
Признанья этого, ты лик печалишь свой
Ужасным видом отверженья? Отчего
Твое сочувствие, живым проникновеньем,
Во мне огонь моих страданий долгих гасит?
Перед тобой я открываюсь для любви...
И ты сама, смотри, при этом пышном слове
«Любовь!» яснеешь и рисуешься понятней,
Как будто с чувством этим в твой духовный лик
Путем каким-то тайным тихо плоть проникла...

(Подвигается к Элоа.)

Да, да! Любовью, верь мне, возвратишь меня!
Склонилась слухом ты — склонись ко мне и сердцем...
Твоею верою хочу и буду верить!
Твоей печалью освящу мою печаль!
Мой ум, мой бедный ум, в тебе покоя ищет...
В нем совокупность древле мощных сил клубит
И движет новое какое-то творенье!..
Родится новый мир! и так ясна ты мне,
И счастье полное так близко ощутимо...
Люблю тебя! и этою любовью, верь,
Я, отрицаясь сам, суть ада сокрушаю!..
О! отвечай! скажи!..

Элоа

На то господня благость.

Сатана

Без благости! в меня и так любовью веет...
Скажи же мне: люблю...

Элоа

Я полюблю тебя!

Сатана

(склоняясь подле нее на колени)

Склоняюсь пред тобой всем бесконечным сонмом
Проклятий, посланных моим делам вослед!
И льну, и вьюсь к тебе великим приношеньем
Тобой искупленных, мной несвершенных бед!

Блаженство новое мои туманит очи,
Ответь, пусти меня!..

Элоа

Мне не понять тебя.

Сатана

Зачем молчишь? зачем ты мне не отвечаешь?
Со страстным лепетом зачем не льнешь ко мне?

Элоа

К чему? И что ж еще?

Сатана

О! будь совсем моею...

Элоа

Я вся твоя и так...

Сатана

О! нет! не то, не то!
Люби, люби меня с забвеньем неразумным,
Люби объятьем, содроганием люби!
Так трепещи, как я! Дай обладать тобою..
Ты дай мне всю тебя...

Элоа

Я вся твоя, с тобой!

Хор ангелов

В тихом безветрии
Светлых пространств
Много у господа
Всяких убранств!
Ярче их, лучше их
В божьей тиши
Грезы неведенья
Чистой души!

Элоа

Ты слышишь ли? Идем!

Сатана

(поднимается)

Опять! Еще ловушка!!
Подстроена от вас, назло и пакость мне!!
Тут правда честная ложь гнусную надула...
Нет! Женских евнухов не нужно сатане!

Хор херувимов

Слава богу в вышних!
Вечный мир земле!

Были мы из лишних,
Родились во мгле...
Нáбольший из судей
Принял нас, детей,
От посохших грудей
Наших матерей!
Груди не питали,
Гибли мы в борьбе...
Спас он от печали,
Взяв сюда к себе!

Сатана

Ну, а зачем он дал веленье,
Чтоб вам рождаться не в зачет?
Зачем в грудях на прокормленье
Вдруг молока недостает?!

Хор херувимов

Не попусти, господь, словами
Твое величье оскорблять!
Дай нам детьми, а не рабами
Тебя вовеки обожать!
Прости слепому самомненью
И ухищреньям духа тьмы!
Он к трисвятому поклоненью
Придет так точно, как и мы...

Сатана

Рассадник юркий! злое семя —
. . . .

Элоа

Страшны слова твои!

Сатана

Не глупы!!
Но чтобы ум мой мог признать
За рой бессмертных эти трупы,
А в этих трупах благодать??
Скорей исчезните!

По мановению Сатаны по тверди небесной вырисовываются в розовом свете бессчетные фигуры служения любви, являвшиеся Фаусту.

Роскошные картины
Взошли, как кущи роз, по ночи голубой,
И рдеют небеса с краев и до средины
Служением любви и страстности живой!
Как цепи розовые тел и очертаний,
Мою вселенную обвившие кругом, —
Вы, в таинстве любви и в трепете дыханий,
Роскошно дремлете совсем блаженным сном...

Херувимы мало-помалу исчезают.

Что! Не понравилось? Неведенье святое
Бесплотных сил, не знающих греха!
Когда б невинны были вы — в покое
Остались бы, увидев! ха! ха! ха!

Хор херувимов

(удаляясь)

Прости слепому самомненью
И ухищреньям духа тьмы,
Он к трисвятому поклоненью
Придет так точно, как и мы...

Элоа

Прости! на голос их призывный
Спешу к селениям святым!
Твой облик яркий, образ дивный,
Он для меня — непостижим...
В твоих словах — не то значенье!
Твоих желаний — не понять!
У нас не может быть общенья!
Ты веришь в ум, я — в благодать!
Я жду! Когда в своем скитаньи
Придешь на новые пути...

Сатана

Не повторить ли нам свиданья?!
Прости, красавица, прости!

Сатана разгорается пламенем.

Вспылал мой ум ужасной жаждой!
И, как растопленный металл,
Огнем бежит по мысли каждой
Зловещий грохот всех начал!
Вперед! И этот век проклятий,
Что на земле идет теперь, —
Тишайшим веком скромных братий
Почтет грядущий полузверь!
В умах людских, как язвы вскрытых,
Легенды быль перерастут,
И по церквам царей убитых
Виденья в полночи пойдут!
Смех... стоны... муки... вперемежку!
Вовек!! Пока перед концом
. . . .[1]
И под сильнейшие аккорды
Людскую тлю пошлю на суд, —
. . . .
А там, пока что, разберут,
Вперед!!! ...

Сатана преображается в великое пламя, и вместе с ним погасают видения. Небо остается совершенно голубым и чистым.

---

[1] Строки пропущены, видимо, по требованию цензуры. — *Ред.*

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание не является полным собранием стихотворных произведений Случевского, оставившего обширное поэтическое наследие. Цель, преследуемая этой книгой, — показать с достаточной полнотой *своеобразие* поэта, черты, характерные для его творчества с точки зрения той роли, какую оно сыграло в развитии русской поэзии второй половины XIX и начала XX века, его новаторство в области поэтических тем и художественных средств. Такая задача сопряжена с необходимостью отбора материала. В состав сборника не вошли стихи, лишенные художественного интереса и идейной значимости: официально-патриотические стихотворения «на случай», отвлеченно дидактические рассуждения на религиозно-философские темы, преимущественно поздних лет, а также довольно многочисленные случаи «самоповторения», т. е. стихи, в которых поэт далеко не в первый раз варьирует темы и образы, развитые им в других местах с неизмеримо большей выразительностью, и, наконец, те стихи, где Случевский, утрачивая оригинальность, повторяет общие места поэзии своего времени, литературные штампы, традиционные поэтизмы. Из многочисленных поэм Случевского представлены четыре: «В снегах», «Без имени», «Тоже нравственность» и «Элоа».

Другой вопрос, с которым приходится сталкиваться при издании стихотворений Случевского, — вопрос о расположении материала. Установить, хотя бы приблизительно, последовательность написания отдельных стихотворений для большей части его наследия невозможно: за редчайшими исключениями они не датированы, рукописных материалов сохранилось чрезвычайно мало, да они и не содержат никаких хронологических данных, а что касается последовательности публикации стихов, то она мало что дает для определения хронологии создания той, количественно очень большой части их, которая относится к среднему периоду жизни поэта: больше половины состава стихотворений, опубликованных Случевским в четырех его книжках-сборниках 1880—1890 гг., до этого не печаталось, а появление отдельных стихотворений в журналах могло быть отделено значительным промежутком времени от момента их написания. В основных же изданиях, появившихся в последние годы жизни поэта и несомненно отражавших его творческую волю, — в «Сочинениях» 1898 г. и в «Песнях из Уголка» —

материал расположен отнюдь не хронологически, а по жанрово-тематическим рубрикам или в некоторой композиционной последовательности. Все это, вместе взятое, требует особого плана расположения материала, в основном — с соблюдением последовательности в пределах двух основных собраний («Сочинений» 1898 г. и «Песен из Уголка»), для первого — с сохранением его разделов и циклов, и лишь частично — в соответствии с хронологией публикаций (для той части стихотворений — наиболее ранних и наиболее поздних по времени, — которые не вошли при жизни поэта в отдельные издания). Состав и строение настоящего издания следующие:

1. Стихотворения из основных собраний произведений поэта.
2. Стихотворения, не вошедшие в эти собрания.
3. Поэмы.

В первую часть входят в качестве двух главных разделов: стихи из «Сочинений» 1898 г. (тома 1 и 2), с соблюдением их последовательности и членения на циклы, и стихи из сборника «Песни из Уголка», изд. 1902. Первые составляют количественно преобладающую часть как поэтического наследия Случевского в целом, так и настоящего издания. В подавляющем большинстве они появлялись в четырех книжках «Стихотворений» 1880—1890-х гг., а некоторые и в журналах 1857—1860 гг. и 1870—1880-х гг., иные из них имеют 2—3 редакции. Во всех случаях нами дается редакция издания 1898 г., которое и служит источником текстов всего этого раздела. В тех случаях, когда более ранний текст представляет принципиально значительные отличия в целом, он приводится в разделе «Ранние редакции».

Стихотворные тома (1—3) издания 1898 г. имели определенный план, в отличие от книжек «Стихотворений» 1880—1890-х гг., появлявшихся через длительные промежутки, и хотя названия отделов и циклов издания 1898 г. до некоторой степени совпадают с названиями отделов и циклов сборников «Стихотворений», некоторые из них сильно различаются по составу, по порядку расположения стихотворений и, наконец, по месту, занимаемому в том и в другом издании.

Циклы «Мурманские отголоски», «Черноземная полоса», «Мгновения» издания 1898 г. в большинстве составлены из стихотворений, появившихся в 1881—1890 гг., и отличаются известной хронологической цельностью. Наибольшую пестроту в хронологическом отношении представляют отделы «Баллады, фантазии и сказы» и «В пути», где объединены стихотворения, первоначальные редакции которых создавались начиная с 1857 г. и до 1890 г. Стихотворения сборника «Песни из Уголка» печатаются в редакции отдельного издания 1902 г., которое и служит источником текстов всей этой части. До выхода в свет сборника 1902 г. часть стихотворений из его состава печаталась в журналах «Русская мысль» и «Книжки Недели» и в альманахе «Денница» (1900); кроме того, стихотворения, опубликованные в «Русской мысли» (1897—1898) и «Книжках Недели» (1898), вошли, наряду с несколькими ранее не изданными стихотворениями, в «Сочинения» 1898 г., где помещены в конце 1-го тома, после цикла «Из дневника одностороннего человека».

Разночтений между текстами, опубликованными в журналах и «Сочинениях» 1898 г., с одной стороны, и в отдельном издании

1902 г., с другой, сравнительно немного. Расположение стихотворений в издании 1902 г. не имеет никакого отношения к их последовательности в составе тех небольших циклов, какие они образовали в журналах 1897—1901 гг. Между тем в «Сочинениях» 1898 г. частично воспроизводится тот порядок, в котором стихотворения располагались при опубликовании в журналах: так, первые десять стихотворений «Песен из Уголка» соответствуют там во всей своей последовательности тому, что было напечатано в «Русской мысли» (1897, № 11); следующие шесть — всему составу публикации в «Книжках Недели» (1898, № 1); дальнейшие десять — текстам «Русской мысли» (1898, № 2) и т. д.

Во вторую часть книги входят, с соблюдением хронологии публикаций:

1. Стихотворения, опубликованные в журналах в 1857—1860 гг. и не включенные поэтом ни в один из его сборников.

2. Стихи из первой и второй книжек «Стихотворений» (1880—1881), отвергнутые поэтом при составлении последующего издания.

3. Стихотворения последних лет жизни, не вошедшие в сборники.

4. Неизданные стихотворения — по рукописным текстам или машинописным копиям, хранящимся в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).

5. Стихотворные переводы.

В третью часть книги входят поэмы, расположенные в последовательности их публикаций.

Приводим список сокращений, принятых в примечаниях:

Бр. П — «Братская помочь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины». СПб., 1876.
ВИ — «Всемирная иллюстрация».
Д — «Денница». Альманах 1900 г., изданный под редакцией П. П. Гнедича, К. К. Случевского и И. И. Ясинского. СПб.
ж. — журнал.
ЖО — «Живописное обозрение».
И — «Иллюстрация».
ИРЛИ — Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) в Ленинграде.
КН — «Книжки Недели».
Н — «Нива».
Нем. п. — «Немецкие поэты в биографиях и образцах под редакцией Н. В. Гербеля». СПб., 1877.
НП — «Новый путь».
ОВ — «Общезанимательный вестник».
ОЗ — «Отечественные записки».
Пр. к Н — «Ежемесячные литературные приложения к „Ниве“».
ПУ — К. Случевский. «Песни из Уголка». СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1902.
РВ — «Русский вестник».
РМ — «Русская мысль».
Р. п. — «Русские поэты в биографиях и образцах». СПб., 1880.

Скл. — «Складчина. Сборник, составленный трудами литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии». СПб., 1874.
Совр. — «Современник».
Соч. — Сочинения К. К. Случевского в шести томах, изд. А. Ф. Маркса, СПб., 1898 (указания на том сделаны арабской цифрой: Соч. 1, Соч. 2).
Ст. 1 — Стихотворения К. Случевского. СПб., 1880.
Ст. 2 — Стихотворения К. Случевского, 2-я книжка. СПб., 1881.
Ст. 3 — «Поэмы, хроники». Стихотворения К. Случевского, 3-я книжка. СПб., 1883.
Ст. 4 — Стихотворения К. Случевского, 4-я книжка. СПб., 1890.
Тр. — «Труд. Вестник литературы и науки». (Приложение к журналу «Всемирная иллюстрация».)

СТИХОТВОРЕНИЯ

I

ДУМЫ

Нас двое. Впервые — Ст. 1, стр. 16. Печ. по Соч. 1, стр. 8.

«Когда бы как-нибудь для нас возможным стало...». Впервые — Ст. 1, стр. 32 (ранняя редакция с первой строкой: «Когда бы сопоставить то, что в мыслях и желаньях», см. стр. 385). Печ. по Соч. 1, стр. 9.

«Да, я устал, устал, и сердце стеснено!..». Впервые — Ст. 3, стр. 237. Печ. по Соч. 1, стр. 11.

«За то, что вы всегда от колыбели лгали...». Впервые — Ст. 1, стр. 18. Печ. по Соч. 1, стр. 13.

В лаборатории. Впервые — Н, 1880, № 2, стр. 34. Вошло в Ст. 1, стр. 30 (см. Ранние редакции, стр. 385). Печ. по Соч. 1, стр. 14. *Сильфы* — в представлении средневековых алхимиков духи воздуха, легкие и подвижные существа; также — олицетворение воздушной стихии. *Пай* — здесь: устарелый химический термин (вышел из употребления в начале XX в.), применялся в разных значениях — в том числе «атомный вес» и «атом».

Формы и профили. Впервые — Ст. 2, стр. 229. Печ. по Соч. 1, стр. 15. *Дарвин* Чарлз (1809—1882) — великий английский ученый, основоположник современного материалистического естествознания, создатель учения о происхождении и развитии видов.

В больнице Всех Скорбящих. Впервые — Ст. 1, стр. 17 (см. Ранние редакции, стр. 385). Печ. по Соч. 1, стр. 17.

Больница Всех Скорбящих — психиатрическая больница в Петербурге.

Lux aeterna. Впервые — Ст. 2, стр. 183 (см. Ранние редакции, стр. 386). Печ. по Соч. 1, стр. 18.

Заря во всю ночь. Впервые — Ст. 1, стр. 24. Печ. по Соч. 1, стр. 19.

В Киеве ночью. Впервые — Ст. 2, стр. 177 (см. Ранние редакции, стр. 387). Печ. по Соч. 1, стр. 21.

«Да, нет сомненья в том, что жизнь идет вперед...». Впервые — под заглавием «Может быть» — Бр. П, 1876, стр. 306, с существенными изменениями под заглавием «Да, может быть» — Ст. 1, стр. 10. Печ. по Соч. 1, стр. 23.

«Я задумался и — одинок остался...». Впервые — КН, 1891, № 11, стр. 205. Печ. по Соч. 1, стр. 25.

Будущим могиканам. Впервые — Ст. 1, стр. 9. Печ. по Соч. 1, стр. 26. *Могикане* — здесь: последние представители вымирающего поколения.

«Где только крик какой раздастся иль стенанье...». Впервые — Ст. 3, стр. 230. Печ. по Соч. 1, стр. 32.

«Скажите дереву: ты перестань расти...». Впервые — под заглавием «Из жизни» — «Север», 1890, № 25, стр. 487 (см. Ранние редакции, стр. 387). Печ. по Соч. 1, стр. 33.

«Где только есть земля, в которой нас зароют...». Впервые — «Север», 1891, № 7, стр. 391. Печ. по Соч. 1, стр. 34.

В этнографическом музее. Впервые — под заглавием «В этнографическом отделе» — Ст. 2, стр. 226. Печ. по Соч. 1, стр. 35.

На судоговоренье. Впервые — Ст. 1, стр. 33. Печ. по Соч. 1, стр. 39. *Синодик* — книжка с записями имен умерших для поминания на богослужении.

В костеле. Впервые — Ст. 4, стр. 119. Печ. по Соч. 1, стр. 44. *Канцель* — место, откуда говорится проповедь в католическом храме. *Прелат* — высший духовный сан в католической церкви. *Рубенс* Петер Пауль (1577—1640) — крупнейший фламандский художник.

На рауте. Впервые — под заглавием «В немецком замке» — Ст. 1, стр. 36 (см. Ранние редакции, стр. 388). Печ. по Соч. 1, стр. 45. *Раут* — званый вечер без танцев.

В театре. Впервые — «Еженедельное Новое время», 1879, № 6—7, стр. 394. С изменениями — Ст. 2, стр. 227 (см. Ранние редакции, стр. 389). Печ. по Соч. 1, стр. 46. *Маркиз Поза* — одно из главных действующих лиц в драме Ф. Шиллера «Дон Карлос», выразитель нравственных идеалов автора. *Буффонада* — шутовское представление.

«Да, трудно избежать для множества людей...». Впервые — Соч. 1, стр. 47. *Рудин* — герой одноименного романа Тургенева. *Раскольников* — герой романа Достоевского «Преступление и наказание». *Чацкий* — герой комедии Грибоедова «Горе от ума». *Обломов* — герой одноименного романа Гончарова.

ЖЕНЩИНА И ДЕТИ

«Словно как лебеди белые...». Впервые — «Гусляр», 1889, № 5, стр. 65. Печ. по Ст. 4, стр. 106. Вошло в Соч. 1, стр. 51.

Песня лунного луча. Впервые — Н, 1881, № 29, стр. 638. Печ. по Ст. 4, стр. 109. Вошло в Соч. 1, стр. 52.

«Будто месяц с шатра голубого...». Впервые — КН, 1885, № 4, стр. 40. Печ. по Ст. 4, стр. 129. Вошло в Соч. 1, стр. 53.

«О, если б мне хоть только отраженье...». Впервые — Н, 1884, № 12, стр. 283. Вошло в Ст. 4, стр. 131. Печ. по Соч. 1, стр. 54.

«Погас заката золотистый трепет...». Впервые — Ст. 4, стр. 149. Печ. по Соч. 1, стр. 57.

«Ты нежней голубки белокрылой...». Впервые — КН, 1895, № 1, стр. 17. Печ. по Соч. 1, стр. 58.

«Когда, приветливо и весело ласкаясь...». Впервые — Тр., 1890, № 22, стр. 359. Печ. по Соч. 1, стр. 61.

«Я люблю тебя, люблю неудержимо...». Впервые — Соч. 1, стр. 64.

«Мне ее подарили во сне...». Впервые — Соч. 1, стр. 65.

Невеста. Впервые без заглавия — Скл., 1874, стр. 83; с изменением — Ст. 1, стр. 55. Печ. по Соч. 1, стр. 71.

«Я ласкаю тебя, как ласкается бор...». Впервые — Ст. 4, стр. 115. Печ. по Соч. 1, стр. 75.

Разлука. Впервые — Ст. 4, стр. 118 (см. Ранние редакции, стр. 389). Печ. по Соч. 1, стр. 79.

«Не погасай хоть ты, — ты, пламя золотое...». Впервые — КН, 1887, № 5, стр. 42; с изменениями — Ст. 4, стр. 103. Печ. по Соч. 1, стр. 80.

«Весла спустив, мы катились, мечтая...». Впервые — Ст. 4, стр. 139. Печ. по Соч. 1, стр. 82.

«Возьмите всё — не пожалею!..». Впервые — РВ, 1884, № 7, стр. 353; с разночтениями и датой: 22 апреля 1884 г. — в кн.: «Знакомые. Альбом М. И. Семевского», СПб., 1888, стр. 212; с изменениями — Ст. 4, стр. 116. Печ. по Соч. 1, стр. 84.

В бурю. Впервые — с подзаголовком «Из картин минувшего» — РВ, 1890, № 11, стр. 125. Печ. по Соч. 1, стр. 85. *Леман* (Женевское озеро) — в юго-западной части Швейцарии. *Савойские Альпы* — одна из горных цепей в Швейцарии.

Из чужо́го письма. Впервые — Ст. 4, стр. 120. Печ. по Соч. 1, стр. 88.

Приди! Впервые — под заглавием «В Петергофе» — «Мода», 1858, № 4, стр. 86; с изменениями и под заглавием «Вызов» — И, 1859, № 83, стр. 115; под заглавием «Приди!» — Ст. 4, стр. 111. Печ. по Соч. 1, стр. 90. *Паризина* — героиня одноименной поэмы Байрона. *Демон сам с Тамарою* — о поэме Лермонтова «Демон».

«В костюме светлом Коломбины...». Впервые — Ст. 3, стр. 254. Печ. по Соч. 1, стр. 94. *Коломбина* — постоянное действующее лицо старинной итальянской народной комедии.

«Во всей красе, на утре лет...». Впервые — Ст. 3, стр. 243. Печ. по Соч. 1, стр. 95.

«В красоте своей долго старея...». Впервые — Ст. 3, стр. 241. Печ. по Соч. 1, стр. 96.

Колыбельная песенка. Впервые — под заглавием «Над колыбелью» — Скл., 1874, стр. 82; с изменениями — Ст. 1, стр. 56. Печ. по Соч. 1, стр. 107.

Не может быть. Впервые — Ст. 2, стр. 181. Печ. по Соч. 1, стр. 108.

ЛИРИЧЕСКИЕ

«Дай мне минувших годов увлечения...». Впервые — КН, 1892, № 1, стр. 187. Печ. по Соч. 1, стр. 111.

«О, не брани за то, что я бесцельно жил...». Впервые — КН, 1894, № 1, стр. 77. Печ. по Соч. 1, стр. 112.

На чужбине. Впервые без последней строфы — КН, 1891, № 10, стр. 191. Печ. по Соч. 1, стр. 119.

Бандурист. Впервые — Совр., 1860, № 2, стр. 747; с изменением — Ст. 1, стр. 74. Печ. по Соч. 1, стр. 123.

Разбитая шкуна. Впервые — РВ, 1879, № 3, стр. 369; с изменениями — Ст. 1, стр. 70. Печ. по Соч. 1, стр. 125.

«Наш ум порой, что поле после боя...». Впервые — Соч. 1, стр. 127.

«В немолчном говоре природы...». Впервые — ВИ, 1897, № 23, стр. 519. Вошло в Соч. 1, стр. 128.

«Вдоль бесконечного луга...». Впервые — Ст. 2, стр. 213. Печ. по Соч. 1, стр. 129.

Кариатиды. Впервые — ОВ, 1857, № 3, стр. 121. Печ. по Соч. 1, стр. 130.

На мотив Микеланджело. Впервые — Ст. 1, стр. 61. Печ. по Соч. 1, стр. 132. *Микеланджело* (1475—1564) — гениальный итальянский скульптор, живописец и архитектор, также поэт. Стихотворение представляет собою вариацию на стихи Микеланджело, написанные по поводу его произведения — надгробной статуи «Ночь» в одной из церквей Флоренции.

Миф. Впервые — Бр. П, 1876, стр. 308; с изменениями — Ст. 1, стр. 66. Печ. по Соч. 1, стр. 133.

На плотине. Впервые — Ст. 2, стр. 207. Печ. по Соч. 1, стр. 134.

«Мне грезились сны золотые!..». Впервые — Ст. 1, стр. 58. Печ. по Соч. 1, стр. 135.

Карфаген. Впервые — Ст. 1, стр. 46. Печ. по Соч. 1, стр. 140. *Карфаген* — могущественный торговый город на южном побережье Средиземного моря в Западной Африке (VII—II вв. до н. э.); соперничал с Римом, в борьбе с которым был побежден и разрушен (146 г. до н. э.). *Честь победителю!* Относится, очевидно, к Ганнибалу (246—183 до н. э.), крупнейшему карфагенскому полководцу, одержавшему блестящие победы над римскими войсками, но потом побежденному ими и покончившему с собой в изгнании.

«В душе шел светлый пир. В одеждах золотых...». Впервые — «Гусляр», 1889, № 17, стр. 257, с посвящением В. Л. Величко. Печ. по Ст. 4, стр. 94. Вошло в Соч. 1, стр. 145.

Молодежи. Впервые, без последней строфы и с подписью И. — ВИ, 1871, № 20, стр. 311; с добавлением 4-й строфы и другими изменениями — Ст. 1, стр. 60. Печ. по Соч. 1, стр. 146.

«Шли путем неведомым...». Впервые — Ст. 2, стр. 208 (см. Ранние редакции, стр. 390). Печ. по Соч. 1, стр. 147.

«По небу быстро поднимаясь...». Впервые — без 2-й строфы — И, 1859, № 83, стр. 115 (см. Ранние редакции, стр. 390); в новой редакции, под заглавием «Грозовые тучи» — Скл., 1874, стр. 81; без заглавия и с посвящением В. Л. Величко — Ст. 4, стр. 104. Печ. по Соч. 1, стр. 149.

Подле сельской церкви. Впервые, под заглавием «У Парголовской церкви» — ВИ, 1872, № 12, стр. 191, с подписью Н, с изменениями — Ст. 4, стр. 87. Печ. по Соч. 1, стр. 150.

Камаринская. Впервые — Ст. 1, стр. 41. Печ. по Соч. 1, стр. 152.

Спетая песня. Впервые — Скл., 1874, стр. 81; с изменениями — Ст. 1, стр. 26. Печ. по Соч. 1, стр. 154.

Про старые годы. Впервые — Бр. П, 1876, стр. 307. Вошло в Р. п. и Ст. 1, стр. 62 и Соч. 1, стр. 156.

«Где нам взять веселых звуков...». Впервые — Ст. 2, стр. 212. Вошло в Соч. 1, стр. 157.

«Ох! Ответил бы на мечту твою...». Впервые — Ст. 1, стр. 57. Печ. по Соч. 1, стр. 158.

Прежде и теперь. Цикл под этим заглавием — в Ст. 4, стр. 94—100; по своему составу лишь частично совпадает с циклом в Соч. 1.

1. «Спокоен ум... в груди волненье...». Впервые — Тр., 1889, № 3, стр. 259; с изменениями — Ст. 4, стр. 89. Печ. по Соч. 1, стр. 163.

2. «И вернулся я к ним после долгих годов...». Впервые — Ст. 1, стр. 59. Вошло в Соч. 1, стр. 164.

3. «О, где то время, что, бывало...». Впервые — Ст. 4, стр. 97. Печ. по Соч. 1, стр. 165.

4. «В глухом безвременье печали...». Впервые — Ст. 4, стр. 99 (см. Ранние редакции, стр. 390). Печ. по Соч. 1, стр. 165. *Анакреон* (VI в. до н. э.) — греческий поэт-лирик, воспевавший любовь и радость бытия.

«Когда обширная семья...». Впервые — под заглавием «Перспектива» — Ст. 1, стр. 28. Печ. по Соч. 1, стр. 167.

«Нет, жалко бросить мне на сцену...». Впервые — под заглавием «Желал бы я» и с посвящением И. А. Тюрину — РВ, 1890, № 5, стр. 263. Печ. по Соч. 1, стр. 172.

Старый божок. Впервые — Ст. 1, стр. 122. Печ. по Соч. 1, стр. 174.

Искусственная развалина, Впервые — Ст. 2, стр. 172. Печ. по Соч. 1, стр. 176.

МГНОВЕНИЯ

Кукла. Впервые — Ст. 1, стр. 80. Печ. по Соч. 1, стр. 183.

«Где бы ни упало подле ручейка...». Впервые — Ст. 1, стр. 82. Печ. по Соч. 1, стр. 184.

«Каждою весною, в тот же самый час...». Впервые — под заглавием «Первый луч» и с подписью С. — ВИ, 1875, № 4, стр. 70; с изменением — Ст. 1, стр. 23. Печ. по Соч. 1, стр. 185.

«Последние из грез, и те теперь разбились!..». Впервые — Ст. 3, стр. 239. Печ. по Соч. 1, стр. 186.

Зернышко. Впервые — Ст. 2, стр. 210. Печ. по Соч. 1, стр. 187.

«Рано, рано! Глаза свои снова закрой...». Впервые — под заглавием «Ребенку» — Бр. П, 1876, стр. 308; с изменением — Ст. 1, стр. 79. Печ. по Соч. 1, стр. 188.

«Отдохните, глаза, закрываясь в ночи...». Впервые — Соч. 1, стр. 189.

«Градины выпали! Счета им нет...». Впервые — РВ, 1891, № 11, стр. 264. Печ. по Соч. 1, стр. 194.

«Он охранял твой сон, когда ребенком малым...». Впервые — Ст. 1, стр. 76. Вошло в Соч. 1, стр. 195.

«Из твоего глубокого паденья...». Впервые — «Гусляр», 1889, № 27, стр. 430. С изм. — Ст. 4, стр. 133. Печ. по Соч. 1, стр. 197.

ЧЕРНОЗЕМНАЯ ПОЛОСА

Коринфский Аполлон Аполлонович (1868—1936) — поэт, прозаик и критик, автор целого ряда стихотворных сборников, выходивших в 1890—1900-е гг. (лирика, картинки природы, «бывальщины» — баллады на темы «народных сказаний»); выпустил книгу «Поэзия К. К. Случевского. Этюд», СПб., 1899, представляющую безоговорочно восторженную оценку творчества поэта.

«Полдневный час. Жара гнетет дыханье...». Впервые — РВ, 1884, № 12, стр. 720. Печ. по Ст. 4, стр. 3. Вошло в Соч. 1, стр. 201.

«Горячий день. Мой конь проворно...». Впервые — РВ, 1883, № 10, стр. 848; с изменениями — Ст. 4, стр. 5. Печ. по Соч. 1, стр. 202.

«Как красных маков раскидало...». Впервые — РВ, 1883, № 10, стр. 850. Печ. по Ст. 4, стр. 10. Вошло в Соч. 1, стр. 204.

«В отливах нежно-бирюзовых...». Впервые — РВ, 1883, № 10, стр. 852. Печ. по Ст. 4, стр. 12. Вошло в Соч. 1, стр. 205.

«В поле борозды, что строфы...». Впервые — РВ, 1883, № 10, стр. 853. Печ. по Ст. 4, стр. 14. Вошло в Соч. 1, стр. 206.

«Утихают, сбмирают...». Впервые — РВ, 1884, № 12, стр. 722. Печ. по Ст. 4, стр. 19. Вошло в Соч. 1, стр. 209.

«Стоит народ за молотьбою...». Впервые — Ст. 4, стр. 11. Вошло в Соч. 1, стр. 210.

«Чернеет полночь. Пять пожаров!..». Впервые — РВ, 1883, № 10, стр. 853. Вошло в Ст. 4, стр. 24 и Соч. 1, стр. 212.

«Есть, есть гармония живая...». Впервые — Ст. 4, стр. 25. Печ. по Соч. 1, стр. 213.

«По крутым по бокам вороного...». Впервые — без последней строфы — РВ, 1883, № 10, стр. 851. Печ. по Ст. 4, стр. 29. Вошло в Соч. 1, стр. 215.

«Малость стемнело, девица поет...». Впервые — Ст. 4, стр. 31. Печ. по Соч. 1, стр. 216.

«Заросилось. Месяц ходит...». Впервые — РВ, 1884, № 12, стр. 723. Печ. по Ст. 4, стр. 32. Вошло в Соч. 1, стр. 216. *Левада* — заросший травой и деревьями участок около хаты. *Сфинксы с мертвой головой* — имеются в виду мотыльки-сумеречники, отличающиеся крупными размерами, а также особой формой и расцветкой головы. *Ионийская* — греческая.

«Устал в полях, засну солидно...». Впервые — РВ, 1884, № 12, стр. 722. Вошло в Ст. 4, стр. 34 и Соч. 1, стр. 217. *Петел* (архаизм) — петух. *Иль я отрекся от себя?..* Намек на эпизод из Евангелия, рассказывающий о том, как апостол Петр, ученик Христа, из страха отрекся от него, притворившись, будто его не

знает. Отречение было предсказано Христом («прежде чем пропоет петух, трижды отречешься от меня»).

«По заваличкам у хат...». Впервые — Ст. 4, стр. 35. Вошло в Соч. 1, стр. 218.

«Прекрасен вид бакчи нагорной!..». Впервые — РВ, 1884, № 12, стр. 722. Печ. по Ст. 4, стр. 37. Вошло в Соч. 1, стр 218.

«Так вот оно где наводненье было!..». Впервые — Ст 4, стр. 40. Печ. по Соч. 1, стр. 220.

«Летят по небу журавли...». Впервые — Ст. 4, стр. 41. Вошло в Соч. 1, стр. 221.

«Как будто снегом опушила...». Впервые — Ст. 4, стр. 42. Вошло в Соч. 1, стр. 221.

«Белеет утренник, сверкая...». Впервые — Ст. 4, стр. 45. Печ. по Соч. 1, стр. 222.

«В одежде выцветшей и бурой...». Впервые — Ст. 4, стр. 47. Печ. по Соч. 1, стр 224.

МУРМАНСКИЕ ОТГОЛОСКИ

Цикл возник в результате путешествия летом 1885 года в Архангельск и далее — на Белое море и Кольский полуостров (описано в книгах Случевского «По северу России», т. 2, СПб., 1886, стр. 1—128 и «По северо-западу России», т. 1, СПб., 1897, стр. 274—386). *Трубачев* Сергей Семенович (1864—1907) — журналист.

«Будто в люльке нас качает...». Впервые — Тр., 1889, № 23, стр. 470. Вошло в Ст. 4, стр. 56. Печ. по Соч. 1, стр. 230.

«Цветом стальным отливают холодные...». Впервые — Ст. 4, стр. 58. Вошло в Соч. 1, стр. 230.

«Перед бурей в непогоду...». Впервые — РВ, 1888, № 4, стр. 299. Печ. по Ст. 4, стр. 59. Вошло в Соч. 1, стр. 231.

«Здесь, в заливе, будто в сказке!..». Впервые — альм. «Север», 1890, стр. 266. С изменениями — Ст. 4, стр. 78. Печ. по Соч. 1, стр. 233.

«Неподвижны очертанья...». Впервые — Тр., 1889, № 23, стр. 471; с изменениями — Ст. 4, стр. 65. Печ. по Соч. 1, стр. 235.

«Доплывешь когда сюда...». Впервые — Тр., 1889, № 23, стр. 471. Вошло в Ст. 4, стр. 67. Печ. по Соч. 1, стр. 236. *Кичка* — старинный женский головной убор. *Новгородский, вечевой* — намек на то, что жители побережья Кольского полуострова являются потомками выходцев из Великого Новгорода и новгородских земель.

«Снега заносы по скалам...». Впервые — Ст. 4, стр. 70. Печ. по Соч. 1, стр. 237.

«Какие здесь всему великие размеры!..». Впервые — Ст. 4, стр. 72. Вошло в Соч. 1, стр. 239.

«Здесь, говорят, у них порой...». Впервые — «Север», 1889, № 48, стр. 942; с изменениями — Ст. 4, стр. 74. Печ. по Соч. 1, стр. 239.

«Взобрался я сюда по скалам...». Впервые — Ст. 4, стр. 76. Печ. по Соч. 1, стр. 241. *Яйла* — плоскогорье в Крыму, тянущееся вдоль южного побережья.

«Хоть бы молниям светиться!..». Впервые — Ст. 2, стр. 223. Печ. по Соч. 1, стр. 243.

«Когда на краткий срок здесь ясен горизонт...». Впервые — РВ, 1889, № 12, стр. 184. Печ. по Ст. 4, стр. 80. Вошло в Соч. 1, стр. 243. *Лу́ды* — подводные или выступающие из воды плоские камни, каменные гряды. *Геллеспонт* — древнегреческое название Дарданелл.

ИЗ ПРИРОДЫ

На реке весной. Впервые — без заглавия — ОЗ, 1860, № 5, стр. 168 (см. Ранние редакции, стр. 391). В новой редакции под заглавием «Весной» — ВИ, 1871, № 17, стр. 270, за подписью И. Перепечатано в Р. п. С изменениями — Ст. 1, стр. 8. Печ по Соч. 1, стр. 247.

Рассвет в деревне. Впервые — под заглавием «Утро в деревне» — ОЗ, 1860, № 5, стр. 167 (см. Ранние редакции, стр. 391). В новой редакции — Скл., 1874, стр. 80. Печ. по Ст. 1, стр. 85. Вошло в Соч. 1, стр. 251.

Прощание лета. Впервые — Совр., 1860, № 1, стр. 328; с изменениями — Ст. 1, стр. 87. Печ. по Соч. 1, стр. 252.

«Старый плющ здесь ползет...». Впервые — «Север», 1891, № 11, стр. 645. Печ. по Соч. 1, стр. 253.

В листопад. Впервые — Ст. 1, стр. 49 (см. Ранние редакции, стр. 392). Печ. по Соч. 1, стр. 254.

Мало свету. Впервые — Н, 1880, № 8, стр. 150; с изменениями — Ст. 2, стр. 211. Печ. по Соч. 1, стр. 257.

Снега. Впервые — Совр., 1860, № 2, стр. 749 Вошло в Ст. 1, стр. 90 и Соч. 1, стр. 258.

Тучи и тени. Впервые — без заглавия — Н., 1884, № 22, стр. 518; с изменениями — Ст. 4, стр. 105. Печ. по Соч. 1, стр. 260.

Осенний мотив. Впервые — Ст. 4, стр. 83. Печ. по Соч. 1, стр. 261.

Утро. Впервые — Ст. 1, стр. 86. Печ. по Соч. 1, стр. 263.

Утро над Невою. Впервые — «Гусляр», 1889, № 35, стр. 559; с изменениями и с посвящением А. П. Молчанову — Ст. 4, стр. 125. Печ. по Соч. 1, стр. 267.

Наши птицы. Впервые с подзаголовком «Отрывок» — Ст. 1, стр. 99. Печ. по Соч. 1, стр. 269.

МЕФИСТОФЕЛЬ

Мефистофель — дух зла, дьявол, действующее лицо народных книг о Фаусте и всех последующих литературных обработок легенды о Фаусте — немецком ученом, продавшем дьяволу душу за счастье в земной жизни. Образу Мефистофеля посвящен музыкальный цикл Шуберга и симфоническая поэма Франца Листа «Мефисто-вальс».

1. Мефистофель в пространствах. Впервые — Ст. 2, стр. 121. Печ. по Соч. 1, стр. 277.

2. На прогулке. Впервые — Ст. 2, стр. 123 (см. Ранние редакции, стр. 393). Печ. по Соч. 1, стр. 279.

3. Преступник. Впервые — Ст. 2, стр. 126 (см. Ранние редакции, стр. 393). Печ. по Соч. 1, стр. 280.

4. Шарманщик. Впервые — Ст. 2, стр. 127 (см. Ранние редакции, стр. 394). Печ. по Соч. 1, стр. 281.

5. Мефистофель, незримый на рауте. Впервые — Ст. 2, стр. 129. Печ. по Соч. 1, стр. 282.

6. Цветок, сотворенный Мефистофелем. Впервые — Ст. 2, стр. 132. Печ. по Соч. 1, стр. 285.

7. Мефистофель в своем музее. Впервые — Ст. 1, стр. 134. Печ. по Соч. 1, стр. 286. *Астарот* — финикийское божество,

привлекавшее всеобщее благоволение к тем, кому оно покровительствовало. *Кабиры* — в древнегреческих верованиях низшие божества, ведавшие подземным огнем и плодородием земли; их культ был распространен преимущественно на островах Средиземного моря и, в частности, в Самофракии *(Самотракии)*. *Кардинал де Рец* (1404—1470) — маршал Франции и служитель церкви, известный своими преступлениями и садической жестокостью. *Елена* — в греческой мифологии красавица, жена спартанского царя Менелая, похищенная троянцем Парисом, что явилось поводом для похода греческих войск против Трои.

8. Соборный сторож. Впервые — Ст. 2, стр. 137. Печ. по Соч. 1, стр. 288. *Отчитаны* — т. е. над ними прочитаны заупокойные молитвы.

9. В вертепе. Впервые — Ст. 2, стр. 139. Печ. по Соч. 1, стр. 289. *Акафист* — церковное песнопение во славу бога или святых. *Платон* (ок. 427 — ок. 347 до н. э.) — греческий философ-идеалист. *Аристотель* (384— 322 до н. э.) — греческий философ, ученик Платона, критически отнесшийся к его учению.

10. Полишинели. Впервые — Ст. 2, стр. 141 (см. Ранние редакции, стр. 394). Печ. по Соч. 1, стр. 290.

ИЗ ДНЕВНИКА ОДНОСТОРОННЕГО ЧЕЛОВЕКА

«Из Капра и Ментоны...». Впервые — под заглавием «Романс» — «Еженедельное Новое время», 1880, № 99, стр. 450; с изменениями — Ст. 2, стр. 215. Печ. по Соч. 1, стр. 296. *Ментона* — город-курорт на Средиземноморском побережье Франции.

«Да, нынче нравятся «Записки», «Дневники»! ..». Впервые — Ст. 3, стр. 226. Вошло в Соч. 1, стр. 296.

«Что, камни не живут? Не может быть! Смотри. ..». Впервые — Ст. 3, стр. 225. Печ. по Соч. 1, стр. 297.

«Не стонет справа от меня больной...». Впервые — Ст. 3, стр. 227, с перестановкой стихов в первой строфе. Печ. по Соч. 1, стр. 298.

«И они в звуках песни, как рыбы в воде...». Впервые — Ст. 3, стр. 236. Вошло в Соч. 1, стр. 302.

«Вся земля — одно лицо! От века...». Впервые — Ст. 3, стр. 244. Печ. по Соч. 1, стр. 304.

«Еду по улице: люди зевают! ..». Впервые — Ст. 3, стр. 246. Печ. по Соч. 1, стр. 305.

«Всё юбилеи, юбилеи...». Впервые — Ст. 3, стр. 248. Печ. по Соч. 1, стр. 306. *И ста Вестминстерских аббатств.* Имеется в виду собор в Лондоне, где похоронены английские короли, многие видные государственные и литературные деятели.

«В его поместьях темные леса...». Впервые — Ст. 3, стр. 249. Печ. по Соч. 1, стр. 306.

«Мой друг! Твоих зубов остатки...». Впервые — Ст. 3, стр. 252. Печ. по Соч 1, стр. 307.

«Провинция — огромное *bébé*...». Впервые — Ст. 3, стр. 254. Печ. по Соч. 1, стр. 308. *С.П.Б.* — сокращенное Санкт-Петербург.

«Фавн краснолицый! По возрасту ты не старик!..». Впервые — Ст. 3, стр. 255. Печ. по Соч. 1, стр. 309. *Фавн* — древнеримский бог полей и лесов, покровитель стад; дразнил и пугал людей в лесу. *Антик* — памятник древности, вообще — старинная вещь, также — человек отсталый, несовременный, со старомодными привычками и взглядами. *Силен* — в греческой мифологии служитель бога вина Вакха, старик, постоянно пьяный; изображался с рогами и козлиными копытами. *Сократ* (погиб в 399 г. до н. э.) — греческий философ.

«Вот Новый год нам святцы принесли...». Впервые — Ст. 3, стр. 256. Вошло в Соч. 1, стр. 309.

«Я сказал ей: тротуары грязны...». Впервые — ОВ, 1857, № 3, стр. 120; под заглавием «Она» — «Мода», 1857, № 19, стр. 426. Печ. по Соч. 1, стр. 310.

«Свобода торговли, опека торговли...». Впервые — Ст. 3, стр. 249. Вошло в Соч. 1, стр. 311.

«Каких-нибудь пять-шесть дежурных фраз...». Впервые — Ст. 3, стр. 233. Печ. по Соч. 1, стр. 312.

БАЛЛАДЫ, ФАНТАЗИИ И СКАЗЫ

Статуя. Впервые — Совр., 1860, № 1, стр. 324. Печ. по Ст. 1, стр. 109. Вошло в Соч. 2, стр. 3. *Быков* Петр Васильевич (1843—1930) — поэт, критик, переводчик, библиограф, редактор целого ряда журналов конца XIX в.; в 1890-х годах редактировал литературный отдел «Всемирной иллюстрации», где и Случевский публиковал свои стихи. *Гладиатор* — в Древнем Риме раб или военнопленный, которого заставляли бороться на арене цирка с дикими зверями или с другим гладиатором.

Весталка. Впервые — Совр., 1860, № 1, стр. 327. Печ. по Ст. 4, стр. 160. Вошло в Соч. 2, стр. 5. *Весталка* — в Древнем Риме жрица

богини целомудрия Весты, девственница, дававшая обет безбрачия и обязанная день и ночь поддерживать огонь перед алтарем в храме. *Ликторы* — почетные стражи высших должностных лиц римской республики; исполняли также уголовные приговоры. *Эдилы* — чиновники в Древнем Риме, в обязанности которых входило, в частности, наблюдение за общественным порядком.

Мемфисский жрец. Впервые — ОЗ, 1860, № 3, стр. 219; с изменениями — Ст. 4, стр. 153. Печ. по Соч. 2, стр. 7. В «Искре», 1860, № 25 были помещены две пародии Н. Л. Гнута (Ломана) на это стихотворение. *Мемфис* — столица Древнего Египта (за 3 тысячи лет до н. э.). *Озирис* — древнеегипетский бог солнца и повелитель загробного мира. *Фта* — в египетской мифологии бог-творец.

Ифимедия. Впервые — Ст. 1, стр. 120. Вошло в Соч. 2, стр. 13. *Нептун* — в древнеримской мифологии бог морей. *Тритоны* — в античной мифологии низшие морские божества; изображались с человеческим туловищем и рыбьим хвостом. *Дриада* — одно из низших божеств, лесная нимфа.

На раскопках. Впервые — Ст. 4, стр. 157. Печ. по Соч. 2, стр. 15. *Приам* — одно из действующих лиц «Илиады» Гомера, мифический царь Трои. *Троя* — древний город в Малой Азии. *Разбужено киркой, встревожено лопатой...* Имеются в виду раскопки, производившиеся с 1870 по 1890 гг. по инициативе и под руководством немецкого историка-археолога Генриха Шлимана. *Гектор* — один из героев «Илиады», сын Приама, предводитель троянцев в их борьбе против войска греческих царей, осаждавших город; погиб, сражаясь с Ахиллом. Образ благородного, мужественного воина.

Мертвые боги. Впервые — под заглавием «Памяти Гейне» — И, 1859, № 73, стр. 359 (см. Ранние редакции, стр. 395). В новой редакции — Ст. 4, стр. 210. Печ. по Соч. 2, стр. 17. *Архипов* Иван Павлович (1839—1897) — ученый химик. *Валгалла* — в древнегерманской (включая и скандинавскую) мифологии жилище богов на небесах, где воскресают для новой жизни и герои, павшие в бою. *Оден* (Один) — верховный бог в древнескандинавских верованиях. *Перун* — в древних верованиях восточных славян верховный бог, властвующий над небесными силами — молнией, громом, дождем; по летописному сказанию, идол Перуна в Киеве был с серебряной головой и золотым усом. *Как же обтер тебя, бедного, Днепр мутноводный?* По преданию о принятии христианства на Руси, идол Перуна был сброшен в Днепр и долго плыл по реке. *Гридница* — покой во дворце для княжеских гридней (дружины); также покой, где князья принимали гостей запросто. *Юпитер* — верховный бог у древних римлян. *Вйшну* — одно из верховных божеств в индийских верованиях. *Ли безобразный* — Ли-Те-Гуай, по древнекитайским народным верованиям, один из 8 «бессмертных»; проделав над собой ряд особых опытов, ушел, с разрешения богов, на три дня из своего тела, которое, однако, тем временем случайно сожгли, так что к окончанию

срока он должен был вселиться в труп урода-калеки. *Брамины* — жрецы бога Брамы в Индии. *Скальды* — древнескандинавские поэты-певцы. *Друиды* — жрецы у древних жителей Галлии и Британии. *Афродита* — древнегреческая богиня любви и красоты, первоначально, вероятно, — богиня плодородия. *Астарта* — у финикийцев богиня брака и любви, покровительница оплодотворяющей силы природы; позднее в Греции отождествлялась с Афродитой.

Людские вздохи. Впервые — Совр., 1860, № 1, стр. 328; с изменениями — Ст. 1, стр. 103. Печ. по Соч. 2, стр. 25.

Последний завет. Впервые — без последней строфы — Н, 1895, № 19, стр. 448. Печ. по Соч. 2, стр. 27.

Брави. Впервые — без посвящения — КН, 1889, № 6, стр. 1; с изменениями — Ст. 4, стр. 207. Печ. по Соч. 2, стр. 31. *Брави* (итал.) — храбрые, смелые (форма ед. числа — браво); не смешивать со значением этого же слова как существительного (наемный убийца). *Сапиенца* Дмитрий Петрович (умер в 1901 г.) — журналист. *Сбиры* — сыщики, солдаты полиции в Италии до XIX века.

Горящий лес. Впервые — под заглавием «Огненный всадник» и без посвящения — Н, 1895, № 15, стр. 352. Печ. по Соч. 2, стр. 34. *Вейнберг* Леонид Борисович (1853—1901) — историк и публицист, исследователь русской и украинской старины, помогал Случевскому при подготовке к изданию его книги «По северо-западу России» (т. 1—2, СПб., 1897).

Петр I на каналах. Впервые — под заглавием «Петр I и воры» — Ст. 4, стр. 178. Печ. по Соч. 2, стр. 46. Сюжетной основой стихотворения могли явиться сведения о поездках Петра I на строительство Вышневолоцкой водной системы, где в 1719 г. были обнаружены злоупотребления и непорядки (см. об этом: В. В. Данилевский. Русская техника. Л., 1947, стр. 253), а также о строительстве Ладожского канала, где бывший обер-прокурор Скорняков-Писарев в 1724 г. допустил «потачку и недосмотр», чем вызвал гнев Петра.

О первом солдате. Впервые — под заглавием «Песня о потешных» — РВ, 1883, № 5. Вошло в Ст. 4, стр. 183 — с подзаголовком «Семеновская песня». Печ. по Соч. 2, стр. 50. Семеновский полк — один из старейших полков дореволюционной русской армии, возникший еще в конце XVII в.; в этом полку служил в молодости Случевский. *Бухвостов* Сергей Леонтьевич (1659—1728) — «первый российский солдат», как его прозвал Петр I. Он первым записался в потешное войско Петра в 1683 г. и участвовал во всех значительных сражениях петровского времени, пока не был, уже в чине капитана артиллерии, тяжело ранен при взятии Штетина в 1712 г. *Фузей* — старинного образца кремневое ружье. *Кожухов поход* (по названию подмосковной деревни Кожухово) — большой учебный поход, устро-

енный Петром I для своих потешных войск осенью 1694 г. *Бомбардир* — солдатский чин в артиллерийских войсках, который присвоил себе и долгое время носил Петр I, приказывавший именовать себя, как простого солдата, Петром Алексеевым. *Артикул* — ружейные приемы, также совокупность законов Петра об обязанностях войска. *Азов* был взят войсками Петра в 1696 г. *Стрельцы видят, осерчали.* Имеются в виду частые недовольства и волнения среди старого стрелецкого войска, вылившиеся в 1698 г. в большой бунт. *Король швецкий* — король Швеции Карл XII (1697—1719). *Переволочная* — городок на Днепре, где 30 июня 1709 г. капитулировали остатки шведской армии, разбитой в Полтавском сражении. *Ништацкий мир* — заключенный в г. Ништадте в Финляндии в 1721 г. мирный договор между Россией и Швецией.

О царевиче Алексее. Впервые — Ст. 2, стр. 156. Печ. по Соч. 2, стр. 53. Содержание стихотворения соответствует общеизвестным историческим фактам и тому освещению, которое им давал историк-западник С. М. Соловьев в труде «История России с древнейших времен» (т. 17, гл. 2). *Царевич Алексей* (1690—1718) — сын Петра I. *Было то в стране далекой* — т. е. в Италии, принадлежавшей тогда к составу Австрийской империи. *Бари* — крупный портовый город Италии на побережье Адриатического моря, средоточие культа св. Николая, «мощи» которого, по легенде, находятся там. *Мирликийский* — от названия города Миры Ликийские, находившегося в Малой Азии (провинция Ликия), в этом городе, по легенде, св. Николай был епископом. *Толстой* Петр Андреевич, граф и сенатор, государственный деятель петровского времени, выполнил поручение Петра I — заставить вернуться в Россию царевича Алексея, искавшего покровительства и убежища у австрийского императора. *Сент-Эльмская цитадель* — крепость Сант-Эльмо около Неаполя, предоставленная Алексею австрийским императором как пристанище; пребывание его там держалось втайне, но Толстой проник туда и обещал царевичу прощение от имени Петра. *Крепость в Петербурге* — Петропавловская крепость. *Царица Евдокия* — урожденная Лопухина, первая жена Петра I, мать Алексея; пострижена в монахини в 1699 г. по решению Петра I; находилась в Покровском монастыре в Суздале (не во Владимире). *Глебов* Степан — офицер, находившийся в любовной связи с Евдокией во время ее пребывания в монастыре; вскоре был приговорен к смерти и посажен на кол. *Досифей,* епископ Ростовский, сторонник старых порядков, противник Петра I, был лишен духовного сана и приговорен к смертной казни колесованием. *Лопухин* Абрам Федорович — брат Евдокии, дядя Алексея, также противник петровского режима. *Ефросинья* — любовница Алексея, родом из Финляндии, крепостная его воспитателя Никифора Вяземского. *Неспроста стрельцов сгубил он.* Подавление в 1698 г. стрелецкого бунта против Петра и его новых порядков закончилось жестокими массовыми казнями. *Дыба* — приспособление, на котором во время пытки растягивалось тело истязуемого. *Ассамблея* — в петровское время вечер с танцами по западноевропейскому образцу.

Новгородское предание. Впервые — Ст. 1, стр. 101. Печ. по Соч. 2, стр. 58. В своей книге «По северу России» (т. 1, СПб, 1886, стр. 141 — глава «Валдай») Случевский изложил предание, которое легло в основу стихотворения, опубликованного впервые еще в 1880 г.: «Существует нечто вроде легенды о происхождении знаменитых валдайских колокольчиков, пользующихся всероссийскою почетною известностью. Толкуют, будто царь Иван, сняв в Новгороде вечевой колокол, велел нести или везти его в Москву. Государева рать дошла до Валдая, и тяжесть ли колокола, трудность ли пути или просто желание царево, но колокол был разбит. Ушло царское войско, а черепки колокола остались лежать, и их-то подобрали валдайцы и стали лить свои колокольчики и льют их преемственно до сих пор. (Хорошенький рассказец, не лишенный оригинальности и картинности.)» Этот рассказ почти полностью повторен и в книге Случевского «По северо-западу России», т. 1, СПб., 1897, стр. 122—123. *Да, были казни над народом.* О событиях зимы 1569—1570 гг., когда царь Иван Грозный, приехав в Новгород, подверг жестокой расправе жителей города и его земель, преимущественно духовенство и торговую знать, по доносу об измене, замышляемой ими. *Концы* — название частей (числом пять), на которые разделялся в Новгороде городской посад. *Как медный колокол с их веча По воле царской снят долой.* В действительности колокол был снят и доставлен в Московский Кремль еще при Иване III в феврале — марте 1478 г., после лишения Новгорода его прав, как самостоятельного города. Последние строки стихотворения перекликаются со стихотворением Федора Глинки «Сон русского на чужбине».

Витязь. Впервые — Ст. 4, стр. 165. Печ. по Соч. 2, стр. 69.

Каменные бабы. Впервые — Ст. 1, стр. 67. Печ. по Соч. 2, стр. 75.

Забайкальская вдова. Впервые — без подписи — ВИ, 1873, № 8, стр. 130; с изменениями — Ст. 4, стр. 197. Печ. по Соч. 2, стр. 78. *Становой* — начальник административно-полицейского подразделения в уезде.

Церковный сторож. Впервые — без стихов 31—32 и с целым рядом стихов, впоследствии опущенных — Ст. 1, стр. 114. Печ. по Соч. 2, стр. 88. *Обиход* — здесь: церковные принадлежности. *Свеща* (церковнослав.) — свеча.

Слух. Впервые — Ст. 1, стр. 118. Печ. по Соч. 2, стр. 99.

Обезьяна. Впервые — «Еженедельное Новое время», 1879, № 41, стр. 122. Печ. по Соч. 2, стр. 103. *Кант* Иммануил (1724—1804) — основоположник немецкой идеалистической философии, признававший существование окружающего нас материального мира, который он считал, однако, непознаваемым. *Фихте* Готлиб (1762—1814) — немецкий философ, представитель субъективного идеализма,

исходным пунктом своей системы объявлявший абсолютное «я». *Шопенгауэр* Артур (1788—1860) — немецкий философ, крайний представитель субъективного идеализма, реакционер, признавал господство над миром некоей непознаваемой «воли» и отрицал как прогресс в развитии человечества, так и возможность изучения закономерностей в жизни мира и общества; пользовался большой популярностью у реакционно настроенной части интеллигенции как в Западной Европе, так и в России во 2-й половине XIX в. *Гартман* — Эдуард (а не Генрих, как ошибочно называет его Случевский) (1842—1906) — немецкий реакционный философ-идеалист, последователь Шопенгауэра, выступавший с требованием заменить науку религией; автор книги «Философия бессознательного».

В ПУТИ

За Северной Двиною. Впервые — под заглавием «В долине реки Тоймы» — РВ, 1891, № 1, стр. 155. Печ. по Соч. 2, стр. 107.

В Заонежье. Впервые — Ст. 2, стр. 192. Печ. по Соч. 2, стр. 109.

Цинга. Впервые — Ст. 2, стр. 190. Печ. по Соч. 2, стр. 110.

На волжской ватаге. Впервые — Ст. 2, стр. 153. Печ. по Соч. 2, стр. 112. *Ватага* — здесь: артель рыбаков, а также место, выбранное рыбаками для лова. *Плёсо* — хвост (у крупной рыбы).

На Волге. Впервые — Ст. 2, стр. 203 (см. Ранние редакции, стр. 397). Печ. по Соч. 2, стр. 115. *Хурул* (калмыцкое) — храм. *Намаз* — молитва у мусульман, совершаемая пять раз в день в определенное время.

Ханские жены. Впервые — Ст. 1, стр. 72. Вошло в Соч. 2, стр. 117.

На горном леднике. Впервые — без последней строфы — Бр. П, 1876, стр. 307; в новом варианте — Ст. 1, стр. 96. Печ. по Соч. 2, стр. 119. *Бармы* — часть торжественного одеяния московских князей и царей, составлявшая широкое оплечье, богато украшенное жемчугом и драгоценными камнями.

Вечер на Лемане. Впервые — Совр., 1860, № 2, стр. 749. Вошло в Ст. 1, стр. 93 и Соч. 2, стр. 120. *Леман* — см. стр. 413, примеч. к стих. «В бурю».

Озеро четырех кантонов. Впервые — ВИ, 1875, № 19, стр. 351, за подписью С.; с изменениями — Ст. 1, стр. 95. Печ. по Соч. 2, стр. 122. *Озеро четырех кантонов* (иначе — Фирвальштетское) — в Швейцарии.

Страсбургский собор. Впервые — Ст. 1, стр. 107. Печ. по Соч. 2, стр. 123. *Страсбург* — главный город французской провинции Эльзас (входившей с 1870 г. в состав Германии); собор построен в XII—XIV вв.

Висбаден. Впервые — под заглавием «Тоже русские города» — Ст. 1, стр. 14. Печ. по Соч. 2, стр. 125. *Висбаден* — город-курорт в Германии.

Monte Pincio. Впервые — И, 1859, № 55, стр. 75. Печ. по Ст. 4, стр. 122. Вошло в Соч. 2, стр. 127. *Monte Pincio* (произносится: монте-пинчо) — часть Рима, преимущественно занятая садами. *Колизей* — амфитеатр, на арене перед которым в Древнем Риме происходили состязания гладиаторов. *Форум* — архитектурно украшенная площадь в Древнем Риме, постоянное место народных сборищ и средоточие общественной жизни города. *Термы Нерона* — бани, построенные в середине I в. н. э. при императоре Нероне. *Капитолий* — один из семи холмов Рима с храмом Юпитера и крепостью. *Пантеон* — храм, посвященный всем богам.

На взморье. Впервые — Ст. 2, стр. 220. Печ. по Соч. 2, стр. 129. *Фалеза* — береговая скала, утес. *Мули* — съедобные ракушки.

НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ И СМЕСЬ

После похорон Ф. М. Достоевского. Впервые — под заглавием «Памяти Достоевского» — Ст. 2, стр. 233. Печ. по Соч. 2, стр. 161. Похороны Достоевского 31 января 1881 г. в Петербурге, по тому времени небывало многолюдные, поразили внимание современников как событие общественного значения, отразившее положительное отношение к умершему писателю со стороны разнообразных кругов общества, в том числе и со стороны прогрессивной интеллигенции. Гроб его провожала стотысячная толпа, в том числе 67 организованных депутаций и 15 хоров певчих. *Ответчики за раннюю кончину* — судьи по делу Петрашевского в 1849 г. и его инициаторы, т. е. главные представители и защитники полицейско-бюрократического режима в монархии Николая I. Случевский в своей повести «Застрельщики» (Соч. 6, стр. 325—330) говорит о «плющильной машине тех далеких времен», с сочувствием упоминает о петрашевцах, среди которых называет Достоевского, и рассказывает о судьбе одного из петрашевцев — вымышленного персонажа Федора, аптекаря на Уральском заводе, неудачника, забитого жизнью, но сохраняющего высокие человеческие идеалы и горячо сочувствующего заводским рабочим. *Некое большое торжество* — литературный вечер памяти Пушкина в годовщину его гибели (29 января), на участие в котором Достоевский дал согласие за несколько дней до своей смерти. *К безмолвной лавре* — к Александро-Невской лавре, где Достоевский похоронен на Тихвинском кладбище (в настоящее время — музей-некрополь).

Сны. Впервые — «Еженедельное Новое время», 1879, № 46, стр. 443. Печ. по Соч. 2, стр. 169.

Коллежские асессоры. Впервые — с посвящением М П. Покровскому — Ст. 2, стр. 187. Печ. по Соч. 2, стр. 173. *Коллежский асессор* — на государственной службе в царской России гражданский чин 8-го класса, соответствовавший майору в армии и дававший дворянство. *Светопись* (устарелое) — фотография. *Прометей* — в древнегреческой мифологии богоравный титан, похитивший для людей с неба огонь и по приговору верховного бога Зевса в наказание за это прикованный к скале на Кавказе; коршун каждый день выклевывал ему печень, которая за ночь вырастала вновь. *Там, где Ноев ковчег с Арарата Виден изредка.* По библейскому преданию, после всемирного потопа ковчег, в котором спаслись семейство Ноя и взятые им животные, остановился на Арарате. *Быть тому дворянином.* Служба на Кавказе, также и гражданская, давала в первой половине XIX в. преимущества для получения дворянства.

После казни в Женеве. Впервые — Ст. 2, стр. 216 (см. Ранние редакции, стр. 398). Печ. по Соч. 2, стр. 176. *«Коль славен наш господь»* — первая строка сделанного М. М. Херасковым вольного стихотворного переложения псалма 47, положенного на музыку Д. С. Бортнянским и в торжественных случаях часто исполнявшегося в царской России (в XIX в. в течение длительного времени в качестве государственного гимна).

«Забыт обычай похоронный!..». Впервые — Соч. 2, стр. 177.

На Раздельной. Впервые — с подзаголовком «После первой Плевны» — Ст. 2, стр. 218. Печ. по Соч. 2, стр. 183. *Раздельная* — узловая станция железной дороги Одесса — Казатин. *Плевна* — город в Болгарии, при осаде которого русскими войсками во время русско-турецкой войны в 1877 г. произошел ряд кровопролитных битв.

«Улыбнулась как будто природа...». Впервые — ВИ, 1897, № 1, стр. 4. Вошло в Соч. 2, стр. 190. *Вифлеемская звезда* — по евангельскому преданию, звезда, указывавшая путь к месту рождения Христа — Вифлеему.

«Новый год! Мой путь — полями...». Впервые — под заглавием «В дороге» — РВ, 1892, № 1, стр. 128. Печ. по Соч. 2, стр. 189.

ПЕСНИ ИЗ „УГОЛКА“ 1895–1901

«Мы — разных областей мышленья...». Впервые — КН, 1898, № 4, стр. 63. Вошло в Соч. 1, стр. 315 и ПУ, стр. 5. *Коринфский А. А.* — см. стр. 416 (примечание к посвящению цикла «Черноземная полоса»). *Котляревский* Нестор Александрович

(1863—1925) — буржуазно-либеральный историк литературы и публицист, впоследствии — академик, один из основателей Пушкинского дома Академии наук, при советской власти — первый его директор. Был горячим поклонником творчества Случевского и в 1900 году настаивал на присуждении ему полной Пушкинской премии Академии наук, вместо которой поэту был присужден, однако, лишь почетный отзыв. В составе Соч. 1 посвящение было обращено, кроме А. А. Коринфского, к В. С. Соловьеву, В. П. Гайдебурову и М. Н. Ремезову. *Валгалла* — см. стр. 423, примеч. к стих. «Мертвые боги».

«Здесь счастлив я, здесь я свободен..». Впервые — РМ, 1897, № 11, стр. 203. Печ. по Соч. 1, стр. 316. Вошло в ПУ, стр. 7.

«Мой сад оградой обнесен...». Впервые — Пр. к Н, 1901, № 7, стр. 431. Вошло в ПУ, стр. 9. *К лицу двух рек и лику моря.* Реки — Нарва (Нарова), впадающая в Финский залив, и Росонь (рукав реки Луги), впадающая в Нарву около ее устья; море — Финский залив.

«Я мыслить жажду потому, что в этом...». Впервые — РМ, 1898, № 1, стр. 168. Вошло в Соч. 1, стр. 362 и ПУ, стр. 13.

«Какая ночь! Зашел я в хату...». Впервые — Д, 1900, стр. 137. Вошло в ПУ, стр. 15.

«Воспоминанья вы убить хотите?!.». Впервые — РМ, 1898, № 2, стр. 75. Вошло в Соч. 1, стр. 337. Печ. по ПУ, стр. 16. *Банко* — одно из действующих лиц трагедии Шекспира «Макбет»; призрак Банко явился его убийце Макбету во время пира (акт III, сцена 4) и занял место, предназначенное для Макбета.

«Дайте, дайте мне, долины наши ровные...». Впервые — РМ, 1899, № 1, стр. 72. Печ. по ПУ, стр. 21.

«Часто с тобою мы спорили...». Впервые — Соч. 1, стр. 367. Вошло в ПУ, стр. 27. *«Ты победил, Галилеянин!»* — слова, приписываемые историками христианской церкви императору Юлиану (IV в. н. э.), отрекшемуся от христианства и возродившему античный культ богов в сочетании с учениями греческих философов; эту фразу Юлиан якобы произнес, смертельно раненный в бою вражеской стрелой (363 г. н. э.). *Галилеянин* — Христос.

«Сколько хороших мечтаний...». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 4, стр. 707. Печ. по ПУ, стр. 28.

«Пред великою толпою...». Пр. к Н, 1900, № 2, стр. 247. Печ. по ПУ, стр. 29.

«Порой хотелось бы всех веяний весны...». Впервые — ПУ, стр. 30. *Гулистан* (персидск.) — буквально: сад роз,

название произведения иранского поэта Саади (1184—1283); здесь означает сады Востока.

«В темноте осенней ночи...». Впервые — РМ, 1897, № 11, стр. 206; с изменением — Соч. 1, стр. 320. Печ. по ПУ, стр. 32. *Даже облика Петрова.* Подразумеваются исторические воспоминания, связанные с Северной войной и, в частности, с боями русских войск под командованием Петра I за освобождение Нарвы и территории Эстонии от шведского господства (1700 и 1704 гг.). *Царь ударил в щеку Горна.* Горн — шведский комендант Нарвской крепости, отверг в 1704 г. предложение Петра о капитуляции и продолжил бессмысленное сопротивление, которое увеличило жертвы со стороны шведов. О нем Случевский пишет: «Еще и доселе слышится в Нарве та могучая пощечина — о ней рассказывает биограф Карла XII Адлерфельд, — которую дал Петр Великий шведскому коменданту Горну перед тем, чтобы запереть его в каземат и заставить испытать на себе те сладости крепостного заключения, которые заставлял он так старательно испытывать русских пленных» («По северо-западу России», ч. 2. СПб., 1897, стр. 213).

«Еще покрыты льдом живые лики вод...». Впервые — КН, 1898, № 1, стр. 48. Вошло в Соч. 1, стр. 327 и ПУ, стр. 35. *Нимфеи* — водяные лилии.

«Вот — мои воспоминанья...». Впервые — РМ, 1898, № 2, стр. 74. Печ. по Соч. 1, стр. 336. Вошло в ПУ, стр. 38.

«Всегда, всегда несчастлив был я тем...». Впервые —Пр. к Н, 1900, № 4, стр. 705. Печ. по ПУ, стр. 40.

«С простым толкую человеком...». Впервые — КН, 1898, № 4, стр. 70. Вошло в Соч. 1, стр. 360 и ПУ, стр. 42.

«Ты часто так на снег глядела...». Впервые — РМ, 1899, № 3, стр. 125. Вошло в ПУ, стр. 46.

«И вот сижу в саду моем тенистом...». Впервые — КН, 1898, № 1, стр. 51. Вошло в Соч. 1, стр. 331. Печ. по ПУ, стр. 47. *Быть может, сам я вызвал тот закон.* Намек на служебную деятельность поэта.

«Шестидесятый раз снег предо мною тает...». Впервые — РМ, 1899, № 6, стр. 79. Вошло в ПУ, стр. 49. *Аспазия* (V в. до н. э.) — знаменитая своей красотой и умом жена афинского государственного деятеля Перикла. *Сизиф* — в древнегреческой мифологии коринфский царь, обреченный богами в загробном подземном царстве вечно вкатывать на высокую гору камень, который с ее вершины вновь падал назад. *Данаиды* — в древнегреческой мифологии 50 дочерей царя Даная, убивших, за исключением одной из них, своих мужей сразу же после свадьбы и за это обреченных в подзем-

ном мире наполнять водой бездонную бочку. *Тантал* — царь, осужденный богами древней Греции за совершенное им преступление томиться вечным голодом среди изобилия плодов, которые не давались ему в руки, и жаждой среди воды, которой он не мог зачерпнуть. *Герострат* (IV в. до н. э.) — житель Эфеса в Малой Азии; желая во что бы то ни стало увековечить свое имя, сжег храм Артемиды Эфесской — одно из «семи чудес» античного мира.

«Вот она, великая трясина!..». Впервые — РМ, 1898, № 2, стр. 71. Вошло в Соч. 1, стр. 333. Печ. по ПУ, стр. 54.

«Старый дуб листвы своей лишился...». Впервые — Пр. к Н, 1901, № 9, стр. 29. Вошло в ПУ, стр. 56.

«Если б всё, что упадает...». Впервые — Соч. 1, стр. 347. Вошло в ПУ, стр. 58.

«Из моих печалей скромных...». Впервые — РМ, 1898, № 3, стр. 206. Вошло в Соч. 1, стр. 345 и ПУ, стр. 59.

«Воды немного, несколько солей...». Впервые — РМ, 1899, № 1, стр. 75. Печ. по ПУ, стр. 60.

«Да, да! Всю жизнь мою я жадно собирал...». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 2, стр. 249. Печ. по ПУ, стр. 64. *Гарпагон* — герой комедии Мольера «Скупой».

«Ты не гонись за рифмой своенравной...». Впервые — КН, 1898, № 1, стр. 47; с изменениями — Соч. 1, стр. 326. Печ. по ПУ, стр. 70. *Княгиня Ярославна* — жена северского князя Игоря Святославовича, героя «Слова о полку Игореве».

«Ни слава яркая, ни жизни мишура...». Впервые — РМ, 1899, № 1, стр. 75. Печ. по ПУ, стр. 75.

«Я помню, помню прошлый год!..». Впервые — РМ, 1899, № 6, стр. 78. Печ. по ПУ, стр. 76.

«Во сне мучительном я долго так бродил...». Впервые — РМ, 1899, № 3, стр. 121. Печ. по ПУ, стр. 80.

«Кому же хочется в потомство перейти...». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 4, стр. 705. Печ. по ПУ, стр. 84.

«Как в рубинах ярких — вкруг кусты малины...». Впервые — РМ, 1899, № 2, стр. 87. Печ. по ПУ, стр. 88. *Сцену вдруг из Гете вижу.* Имеется в виду сцена «Перед городскими воротами» в первой части трагедии Гете «Фауст», представляющая картину народного гулянья в первый день Пасхи. *Черный пудель рыщет.* Мефистофель, воплощение духа зла, впервые явился к Фаусту в об-

разе черного пуделя. *Маргарита* — героиня трагедии, девушка-горожанка, соблазненная Фаустом.

«Полдень прекрасен. В лазури...». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 8, стр. 731. Вошло в ПУ, стр. 92.

«На коне брабантском плотном...». Впервые — Соч. 1, стр. 341. Печ. по ПУ, стр. 93. *Котелок* — мужская шляпа из твердого фетра.

«Ты любишь его всей душою...». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 2, стр. 251. Вошло в ПУ, стр. 96.

«Нет, верба́, ты опоздала...». Впервые — РМ, 1899, № 2, стр. 90. Печ. по ПУ, стр. 97. *Кабаны* — здесь: глыбы. *Пишут к праздникам награды.* Имеются в виду наградные суммы, выплачивавшиеся государственным чиновникам к церковным праздникам, в том числе к Пасхе, и другие поощрения.

«Гуляя в сияньи заката...». Впервые — Д, стр. 142. Вошло в ПУ, стр. 98.

«Нет, не от всех предубеждений...». Впервые — КН, 1899, № 2, стр. 83. Вошло в ПУ, стр. 102.

«Любо мне, чуть с вечерней зарей...». Впервые — Пр. к Н, 1901, № 7, стр. 435. Вошло в ПУ, стр. 103.

«Помню: как-то раз мне снился...». Впервые — РМ, 1899, № 6, стр. 76. Вошло в ПУ, стр. 105. В произведениях Г. Гейне встречается мотив призрака, с которым поэт разговаривает как с живым, спохватываясь лишь потом и иронизируя по этому поводу. *Рубикон* — здесь в значении черты или границы, после перехода которой возврат невозможен (по названию реки на границе Галлии и Италии, которую будущий римский император Юлий Цезарь (I в. до н. э.) перешел со своими войсками, чтобы начать гражданскую войну за власть в Риме).

«Могучей силою богаты...». Впервые — РМ, 1899, № 2, стр. 89. Печ. по ПУ, стр. 109.

«Я видел Рим, Париж и Лондон...». Впервые — РМ, 1897, № 11, стр. 204. Печ. по Соч. 1, стр. 317. Вошло в ПУ, стр. 111.

«Порою между нас пророки возникают...». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 4, стр. 703. Печ. по ПУ, стр. 113.

«Велик запас событий разных...». Впервые — РМ, 1899, № 1, стр. 74. Печ. по ПУ, стр. 114.

«Раз один из фараонов...». Впервые — под заглавием «Фараон» — ж. «Словцо», 1900, № 14, стр. 1. Печ. по ПУ, стр. 115. *Схент* — венец египетских фараонов, состоящий из двух корон. *Гикс* (Гиксос) — название народа (или союза азиатских племен), воевавшего с Египтом, покорившего его около 1700 г. до н. э. и изгнанного египтянами в начале XVI в. до н. э.; также — название царей этого народа. *Из времен «Декамерона»*. Собрание новелл Боккаччо относится к XIV в. и в значительной своей части изображает вольные нравы, господствовавшие в эпоху Возрождения в Италии.

«Ветер несется могучий...». Впервые — без последней строфы — Пр. к Н, 1900, № 4, стр. 701. Печ. по ПУ, стр. 118.

«Качается лодка на цепи...». Впервые — РМ, 1899, № 3, стр. 125. Вошло в ПУ, стр. 119.

«Припаи льда всё море обрамляют...». Впервые — КН, 1901, № 1, стр. 105. Вошло в ПУ, стр. 124.

«В древней Греции бывали...». Впервые — Соч. 1, стр. 352. Вошло в ПУ, стр. 125.

«Совсем примерная семья!..». Впервые — РМ, 1899, № 6, стр. 75. Печ. по ПУ, стр. 128. *Царьград* — древнерусское название Константинополя, столицы Византийской империи (современный Стамбул).

«Как ты чиста в покое ясном...». Впервые — РМ, 1899, № 6, стр. 75. Вошло в ПУ, стр. 129.

«Вы побелели, кладбища граниты...». Впервые — РМ, 1898, № 2, стр. 76. Вошло в Соч. 1, стр. 339. Печ. по ПУ, стр. 130.

«Вот с крыши первые потеки...». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 8, стр. 735. Печ. по ПУ, стр. 131.

«Мои мечты — что лес дремучий...». Впервые — РМ, 1899, № 2, стр. 86 Вошло в ПУ, стр. 133.

«Мысли погасшие, чувства забытые...». Впервые — КН, 1899, № 2, стр. 85. Вошло в ПУ, стр. 134.

«О, будь в сознаньи правды смел...». Впервые — КН, 1899, № 2, стр. 84. Вошло в ПУ, стр. 136.

«Какое дело им до горя моего?..». Впервые — КН, 1899, № 2, стр. 82. Вошло в ПУ, стр. 138.

«Всюду ходят привиденья...». Впервые —РМ, 1897, № 11, стр. 207. Вошло в Соч. 1, стр. 322. Печ по ПУ,

стр. 139. В стихотворении речь идет о нашествии войск немецких и шведских рыцарей в XIII—XIV вв. и о Ливонской войне XVI в. (судя по упоминанию о «царе Москвы»). *Дочка я реки Великой.* Река Нарова (Нарва) вытекает из Чудского озера, соединяющегося с Псковским, куда впадает Великая. *Схизматик* — «раскольник», название, которое католическая церковь давала православным. *Ям* (впоследствии — Ямбург, в настоящее время г. Кингисепп на западе Ленинградской области) — крепость, которую немцы безуспешно осаждали в 1444 г. *Копорье* — крепость, построенная немцами на южном берегу Финского залива; в 1241 г. взята войском Александра Невского; там же в 1337 г. местные жители разбили шведов. *Магербург* — «тощая крепость» (нем.); *Гунгербург* (немецкое название Усть-Нарвы) — «голодная крепость» или «крепость голода». *Старых рыцарей виденья.* Иронический намек на аристократов немецкого происхождения, владевших в царское время многочисленными имениями в Прибалтике и жестоко эксплуатировавших местное население. Случевский относился к их засилью в этом районе крайне отрицательно (см. его очерки «По северо-западу России»).

«Вдоль Наровы ходят волны...». Впервые — РМ, 1898, № 1, стр. 169. Вошло в Соч. 1, стр. 363 и ПУ, стр. 142.

«По берегам реки холодной...». Впервые — РМ, 1898, № 3, стр. 207; с изменением — Соч. 1, стр. 347. Печ. по ПУ, стр. 144.

«Какая ночь убийственная, злая!..». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 8, стр. 735. Печ по ПУ, стр. 146.

«Как эти сосны древни, величавы...». Впервые — ПУ, стр. 147. *Гретхен* (Маргарита) — см. стр. 433, примеч. к стих. «Как в рубинах ярких — вкруг кусты малины...».

«Ты тут жила! Зимы холодной...». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 8, стр. 733. Вошло в ПУ, стр. 148.

«Твоя слеза меня смутила...». Впервые — РМ, 1898, № 3, стр. 207. Вошло в Соч. 1, стр. 346. Печ. по ПУ, стр. 151.

«Высóко гуляет ветер...». Впервые — КН, 1898, № 1, стр. 49. Печ. по Соч. 1, стр. 328. Вошло в ПУ, стр. 152. *Сильф* — см. стр. 410, примеч к стих. «В лаборатории».

«Как робки вы и как ничтожны...». Впервые — РМ, 1899, № 1, стр. 75. Вошло в ПУ, стр. 154.

«„Пара гнедых“ или „Ночи безумные“...». Впервые — ПУ, стр. 155. *«Пара гнедых»* и *«Ночи безумные...»* — романсы на слова А. Н. Апухтина, пользовавшиеся большой популярностью в репертуаре как музыкантов-профессионалов, так и любителей.

«Нет, не могу! Порой отвсюду...». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 2, стр. 255. Печ. по ПУ, стр. 156.

«Было время, в оны годы...». Впервые — Соч. 1, стр. 340. Вошло в ПУ, стр. 158. *Финикийцы* — в древности один из народов на восточном побережье Средиземного моря; известны своими успехами в развитии культуры, ремесел, торговли и в мореплавании, совершали путешествия в далекие страны. *Гетера* — в древней Греции женщина, ведшая свободный образ жизни.

«Здравствуй, товарищ! Подай-ка мне руку...». Впервые — РМ, 1898, № 2, стр. 73. Вошло в Соч. 1, стр. 334 и ПУ, стр. 164.

«Меня в загробном мире знают...». Впервые — КН, 1901, № 1, стр. 104. Вошло в ПУ, стр. 169. *Парки* — в древнеримской мифологии три богини-сестры, прядущие нити человеческих судеб.

«На сценах царские палаты...». Впервые — Пр. к Н, 1901, № 9, стр. 31. Печ. по ПУ, стр. 171.

«Вконец окружены туманом прежних дней...». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 8, стр. 729. Печ. по ПУ, стр. 173.

«Соловья живые трели...». Впервые — КН, 1898, № 4, стр. 71. Вошло в Соч. 1, стр. 361 и ПУ, стр. 180.

«Эта злая буря пронеслась красиво...». Впервые — КН, 1898, № 4, стр. 65. Вошло в Соч. 1, стр. 354 и ПУ, стр. 183.

«Бежит по краю неба пламя...». Впервые — РМ, 1898, № 3, стр. 206 Вошло в Соч. 1, стр. 346. Печ. по ПУ, стр. 187.

«Как думы мощных скал, к скале и от скалы...». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 2, стр. 249. Вошло в ПУ, стр 189.

«Лес густой; за лесом — праздник...». Впервые — КН, 1898, № 4, стр. 64. Вошло в Соч. 1, стр. 354 и ПУ, стр. 190.

«Славный снег! Какая роскошь!..». Впервые — РМ, 1898, № 2, стр. 76. Печ. по Соч. 1, стр. 339. Вошло в ПУ, стр. 191.

«Как на свечку мотыльки стремятся...». Впервые — КН, 1898, № 4, стр. 64. Вошло в Соч. 1, стр. 353 и ПУ, стр. 194.

«Во мне спокойно спят гиганты...». Впервые — ПУ, стр. 196. *Гиганты* — в древнегреческой мифологии великаны, сыновья Земли и Неба, восставшие против богов и побежденные ими. *Изида* — в древнеегипетских верованиях жена и сестра верховного

бога Озириса, богиня плодородия, мать природы. *Агора* — площадь в древних Афинах, место народных собраний. *Пританей* — общественное здание в древних Афинах, где собирались *пританы*, выборные лица, председательствовавшие на народных собраниях. *Колизей* — см. стр. 428, примеч. к стих. «Monte Pincio». *Торквемада* Томас (1420—1498) — испанский монах-фанатик, к концу жизни — великий инквизитор, отправивший на костер тысячи людей по обвинению в «ереси». *В кругу чернеющих друзей* — т. е. среди монахов. *В русском мраморе, в тивдийском*. Гробница Наполеона I в Париже сделана из тивдийского порфира (по названию селения Тивдия на западном побережье Онежского озера).

«Тьма непроглядна. Море близко...». Впервые — РМ, 1898, № 1, стр. 168. Вошло в Соч. 1, стр. 363. Печ. по ПУ, стр. 200.

«Погасало в них былое...». Впервые — Соч. 1, стр. 348. Печ. по ПУ, стр. 201.

«Мой стих — он не лишен значенья...». Впервые — РМ, 1899, № 2, стр. 86. Вошло в ПУ, стр 202.

«Полдень декабрьский! Природа застыла...». Впервые — КН, 1901, № 1, стр. 105. Вошло в ПУ, стр. 203.

«В чудесный день высь неба голубая...». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 2, стр. 253. Вошло в ПУ, стр. 204.

«Заката светлого пурпурные лучи...». Впервые — Пр. к Н, 1901, № 9, стр. 33. Печ. по ПУ, стр. 205.

«А! Ты не верила в любовь! Так хороша...». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 4, стр. 707. Вошло в ПУ, стр. 207.

«Кто утомлен, тому природа...». Впервые — Пр. к Н, 1901, № 7, стр. 435. Вошло в ПУ, стр. 210.

«Как вы мне любы, полевые...». Впервые — РМ, 1898, № 2, стр. 72. Вошло в Соч. 1, стр. 334. Печ. по ПУ, стр. 211.

«Не может юноша, увидев...». Впервые — РМ, 1899, № 6, стр. 77. Вошло в ПУ, стр. 213. *Шателёнка* — хозяйка средневекового замка. *Гороскоп* — предсказание судьбы человека по таблице расположения небесных светил в момент его рождения. *Толкуя зодиак* — здесь: предзнаменование звезд.

«Славный вождь годов далеких!..». Впервые — ПУ, стр. 215.

«Не знал я, что разлад с тобою...». Впервые — РМ, 1898, № 3, стр. 207. Вошло в Соч. 1, стр. 348. Печ. по ПУ, стр. 217.

«Гляжу на сосны, — мощь какая!..». Впервые — РМ, 1898, № 2, стр. 71. Вошло в Соч. 1, стр. 332 и ПУ, стр. 221.

«Не померяться ль мне с морем?..». Впервые — КН, 1898, № 4, стр. 67. Вошло в Соч. 1, стр. 357 и ПУ, стр. 223.

«Здесь роща, помню я, стояла...». Впервые — КН, 1898, № 4, стр. 71. Вошло в Соч. 1, стр. 338 и ПУ, стр. 225.

«Серебряный сумрак спустился...». Впервые — РМ, 1899, № 3, стр. 124. Вошло в ПУ, стр. 229.

«Молчи! Не шевелись! Покойся недвижимо...». Впервые — КН, 1899, № 2, стр. 82. Вошло в ПУ, стр. 230.

«Какая засуха!.. От зноя...». Впервые — КН, 1898, № 4, стр. 66. Вошло в Соч. 1, стр. 356 и ПУ, стр. 233.

«Не храни ты ни бронзы, ни книг...». Впервые — Пр. к Н, 1900, № 4, стр. 701. Вошло в ПУ, стр. 234.

«Над глухим болотом буря развернулась!..». Впервые — РМ, 1899, № 3, стр. 123. Вошло в ПУ, стр. 235.

«Порой, в октябрьское ненастье...». Впервые — ПУ, стр. 236.

«Люблю я время увяданья...». Впервые — РМ, 1897, № 11, стр. 206. Вошло в Соч. 1, стр. 321. Печ. по ПУ, стр. 240.

«О, неужели же на самом деле правы...». Впервые — РМ, 1899, № 1, стр. 76. Печ. по ПУ, стр. 241. По-видимому, является полемическим откликом на выступления в прессе конца XIX в. идеологов немецкого империализма о «пользе» и «благотворном» значении войн.

«Горит, горит без копоти и дыма...». Впервые — ПУ, стр. 248.

«Меня здесь нет. Я там, далеко...». Впервые — РМ, 1899, № 2, стр. 88. Вошло в ПУ, стр. 250.

«Я плыву на лодке. Парус...». Впервые — РМ, 1897, № 11, стр. 209. Вошло в Соч. 1, стр. 325 и ПУ, стр. 251. *Рыцарь Лоэнгрин* — прекрасный юноша, герой средневековой поэмы и основанной на ее сюжете оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин»; и в поэме и в опере он появляется на лодке, которую тянет за собою лебедь.

«Здесь всё мое! — Высь небосклона...». Впервые — РМ, 1898, № 2, стр. 75. Вошло в Соч. 1, стр. 368 и ПУ, стр. 253.

«Что тут писано, писал совсем не я...». Впервые — с первой строкой: «Это будто бы писал совсем не я...» — РМ, 1899, № 6, стр. 80. Печ. по ПУ, стр. 255.

СТИХОТВОРЕНИЯ

II

1857—1860

Ночь. Впервые — «Мода», 1857, № 5, стр. 112. Подписано: К. С.

Риму. Впервые — ОВ, 1857, № 9, стр. 350; также — «Мода», 1857, № 19, стр. 426; подписано: К. С. *А теперь в славном Риме французы.* Италия, где после революции 1848 г. и освобождения от власти Австрии была провозглашена республика, была оккупирована французскими войсками по инициативе Луи Бонапарта (будущего Наполеона III), тогда — президента Французской (Второй) республики. *Квириты* — граждане Древнего Рима.

«Я видел свое погребенье...». Впервые — И, 1859, № 57, стр. 99.

«Скажи мне, зачем ты так смотришь...». Впервые — И, 1859, № 59, стр. 139.

В мороз. Впервые — И, 1859, № 83, стр. 115.

Из Гейне. Впервые — И, 1859, № 85, стр. 147. Вопреки заглавию, не является переводом, а представляет собой лишь свободное использование некоторых мотивов из раннего стихотворного цикла Гейне «Юные страдания» («Junge Leiden») с воспроизведением характерных особенностей стиля Гейне.

На кладбище. Впервые — Совр., 1860, № 1, стр. 325. Вместе со стих. «Ходит ветер избочась...» подало первый повод для резких нападок со стороны «Искры» (см. вступ. статью, стр. 8—9). Кроме статьи «Критик, романтик и лирик» В. С. Курочкина (под псевдонимом Пр. Знаменский), явившейся возражением на хвалебный отзыв Ап. Григорьева о Случевском, в том же № 8 «Искры» за 1860 год были помещены «Литературные вариации» Н. Л. Гнута (Ломана). По поводу стих. «На кладбище» в них сказано: «Если мы с вами, господин редактор, вздумаем пойти на кладбище да улечься на могильную плиту, — что из этого будет? Бока заболят, комары искусают лицо — и только. Пошел г-н Случевский, при-

лег — и видит, как грибы растут, и слышит, как мертвые говорят. Удивительный слух и удивительное зрение! Мертвец очень деликатно просил г-на Случевского полежать за него час-другой в гробу, пока он совершит свою прогулку по белому свету. Но г-н Случевский не согласился — и умно сделал. Не писать бы ему больше элегий, а нам бы не читать их». И далее — пародия:

Я взобрался на могильную плиту
И внимательно смотрел, как на лету
Два тяжелые кургузые жука
Колошматили друг друга под бока;
Как в объятиях березу дуб сжимал,
Как под деревом опенок вырастал.
...Так на кладбище за жизнью я следил,
И Случевский мне на память приходил:
Вспомнил я, как он на кладбище лежал,
Как под ним мертвец о камень лбом стучал,
Как мертвец m-r Случевского просил,
Чтобы тот его на время хоть сменил...

и т. д.

«Ходит ветер избочась...». Впервые — Совр., 1860, № 1, стр. 326.

Мои желанья. Впервые — Совр., 1860, № 3, стр. 151. Точки между стихами 34 и 35 и в стихе 35 — в тексте Совр. За отсутствием автографа неясно, что это — пропуск по цензурным условиям или отражение какого-то авторского намерения. (См. пародию Н. А. Добролюбова, цитируемую во вступ. статье — стр. 9.) *Парфенон* — храм в древних Афинах.

Он не любил еще. Впервые — Совр., 1860, № 3, стр. 153. Также подало повод к пародии в «Литературных вариациях» Н. Л. Гнута («Искра», 1860, № 36). *Статуя Мемнона* (иначе — колосс Мемнона) — каменный памятник фараону Мемнону в долине Нила в Египте, по преданию издававший мелодичные звуки при восходе солнца и на закате.

«Ночь. Темно. Глаза открыты...». Впервые — ОЗ, 1860, № 3, стр. 263. Вызвало пародию в «Литературных вариациях» Н. Л. Гнута («Искра», 1860, № 25).

1870–1880-е годы

Запевка. Впервые — Ст. 1, стр. 7, где стихотворение открывает собою первый в книге отдел «Думы и мотивы».

Зимний пейзаж. Впервые — Ст. 1, стр. 91.

СТИХОТВОРЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Богиня тоски. Печ. по КН, 1899, № 4, стр 65. *Адамант* — алмаз.

Цыганка. Печ. по КН, 1899, № 7, стр. 53.

«Смотрит тучка в вешний лед...». Печ. по альм. «Северные цветы» изд-ва «Скорпион». М., 1901, стр. 78.

«Упала молния в ручей...». Печ. по альм. «Северные цветы», 1901, стр. 78.

«„Ты поклянись“, — она его просила...». Печ. по РВ, 1902, № 8, стр. 393.

Рецепт Мефистофеля. Печ. по альм. «Северные цветы на 1903 год». М., 1903, стр. 154 (открывает собой отдел «Разногласье», где далее помещены стихотворения Л. Вилькиной, С. Рафаловича, О. Фридберга, Вяч. Иванова, Ф. Сологуба и Аврелия (В. Брюсова). *Четьи-Минеи* — книга религиозного характера для чтения на каждый день месяца (содержала преимущественно жития святых).

Быть ли песне? Печ. по НП, 1903, № 1, стр. 109.

«Перед большим успокоеньем...». Печ. по НП, 1903, № 5, стр. 57. *Фрина* (IV в. до н. э.) — знаменитая своей красотой куртизанка в Афинах.

«Зыбь успокоенного моря...». Печ. по НП, 1903, № 5, стр. 61.

В роще. Печ. по НП, 1903, № 11, стр. 81. *Волхв* — волшебник, прорицатель. *Друид* — см. стр. 424, примеч. к стих. «Мертвые боги».

«И холодной волной по железным бортам...». Впервые — сб. «Васильки». СПб., 1901, стр. 361.

Лезгин. Впервые — сб. «Васильки», СПб., 1901, стр. 362. *Коран* — священная книга мусульман. *Имам* — высшее духовное лицо у мусульман. *Гяур* — у мусульман общее название иноверцев. *Уздени* — свободные крестьяне в Дагестане. *Жрецы огней* — имеется в виду секта огнепоклонников в Баку, где в храме для поддержания огня использовался нефтяной источник.

Раут. Впервые — сб. «Васильки». СПб., 1901, стр. 363. *Раут* — см. стр. 411. *Ареопаг* — здесь: судилище. *Атлант* — (миф.) великан, поддерживающий небесный свод.

НЕИЗДАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

В аббатстве Сен-Дени. Печ. впервые по беловому автографу (из собрания П. Я. Дашкова), хранящемуся в Институте русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР в Ленинграде и имеющему в конце подпись поэта. Точной датировке не поддается. Не исключено, что является переводом, поскольку в стихотворении отчетливо выражена симпатия к Французской революции XVIII в. и антимонархическая тенденция — черты, вообще несвойственные оригинальной лирике Случевского; однако подлинник установить не удалось. *Аббатство Сен-Дени* — основанный в VIII веке около Парижа монастырь с собором, где находятся могилы французских королей. *Был светлый день.* Речь идет о революционных событиях 1789 и последующих годов во Франции. В августе 1793 г. по решению Национального Собрания королевские могилы были уничтожены, останки королей извлечены из них, а надгробья перевезены в Париж. *Был мрачный день, — народ остановили.* Имеется в виду начало Реставрации. Людовик XVIII, заняв французский престол, вскоре же распорядился восстановить могилы в Сен-Дени, разыскав скелеты королей.

«Чудесный сон! Но сон ли это?..». Как и все последующие стихотворения этого раздела, печатается по машинописной копии с собственноручными поправками Случевского, хранящейся в ИРЛИ АН СССР в Ленинграде. На папке, в которой находятся эти стихотворения, надпись: «Загробные песни. Стихотворения. Наброски. Материалы для сборника». Наряду с неизданными стихотворениями, здесь есть такие, которые уже были опубликованы поэтом в цикле «Черноземная полоса», в книге «Песни из Уголка», в циклах «Загробные песни» и «В том мире». Разнообразен по характеру и состав неопубликованных стихотворений, в большинстве своем не относящихся по содержанию ни к «Загробным песням», ни к циклу «В том мире».

«И мнилось мне, как прежде, вновь...». *Марий* Кай (156—86 до н. э.) — римский полководец; бежав из Италии от преследований со стороны своих противников, искал убежища в разрушенном Карфагене (см. стр. 414, примеч. к стих. «Карфаген»), откуда ему тоже пришлось удалиться.

«Не Иудифь и не Далила...». *Иудифь* (Юдифь) — библейская героиня, красавица девушка, которая убила ассирийского полководца Олоферна, осаждавшего древний Иерусалим (в Библии о ней рассказывается в «Книге Юдифь»). *Далила* — коварная красавица, предавшая врагам библейского героя Самсона, который доверил ей тайну своей необыкновенной силы, заключавшейся в его волосах (эпизод из «Книги судей» в Библии). *Петрарка* Франческо (1304—1374) — итальянский поэт, автор «Сонетов», обращенных к любимой им Лауре.

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ БАЙРОНА

«Ты расстанешься с жизнию трудною...». Перевод стих. «Oh! snatch'd away in beauty's bloom», далекий от подлинника. Впервые — за подписью К. С. — ОВ, 1857, № 3, стр. 119.

ИЗ ВИКТОРА ГЮГО

«Со дня на день живешь, шумишь под небесами...». Перевод стих. «On rit, on parle, on a le cíel et les nuages» из книги «Contemplations», 4 (Pauca meae, 11). Впервые — за подписью К. С. — ОВ, 1857, № 3, стр. 120.

ИЗ ОГЮСТА БАРБЬЕ

Барбье Огюст (1805—1882) — французский политический поэт демократических убеждений.

Il Pianto. Перевод стих. «Il est triste de voir partout l'œuvre du mal», открывающего собой цикл под общим заглавием «Il Pianto». Впервые — ОВ, 1857, № 9, стр. 350. Без изменений, но без даты перепечатано в ж. «Мода», 1857, № 19, стр. 425. В обеих публикациях указание на автора подлинника отсутствует.

Смех. Перевод стих. «Le Rire» из сборника «Iambes». Перевод на 11 стихов короче подлинника и во многих местах значительно удаляется от него. Впервые — ОВ, 1857, № 11, стр. 405, — подпись К. С. Печ. по ж. «Мода», 1857, № 20, стр. 452. В обеих публикациях указание на автора подлинника отсутствует. Лицо, которому посвящен перевод, вероятно Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880) — журналист, издатель журналов «Русское слово» и «Дело».

Чан. Перевод стих. «La Cuve» из сборника «Iambes». Впервые — ОВ, 1857, № 12, стр. 424, где имеет подпись К. С — чевский. Указание на автора подлинника отсутствует. *Пальни́к* (устарелое) — палка с железными щипцами для вкладки фитиля в пушку перед выстрелом.

ИЗ МАРТИНА ОПИЦА

Песня. Перевод стих. «Komm, laß uns ausspazieren». Впервые — Нем. п., стр. 49. *Опиц* Мартин (1597—1639) — один из основоположников новой немецкой поэзии, выдающийся немецкий поэт XVII в.

ИЗ ФРИДРИХА ФОН ГАГЕДОРНА

Чувство весны. Перевод стих. «Die Empfindung des Frühlings». Впервые — Нем. п., стр. 55. Фон *Гагедорн* Фридрих (1708—1754) — немецкий лирик, основоположник жанра легкой любовной поэзии в немецкой литературе.

ИЗ ЛЮДВИГА ТИКА

Ночь. Перевод стих. «Nacht» («Im Windsgeräusch, im stiller Nacht...»). Впервые — Нем. п., стр. 372. *Тик* Людвиг (1773—1853) — немецкий поэт, один из представителей романтической школы.

ПОЭМЫ

В снегах. Впервые — «Новое время», 1879, № 1, приложение. Вошло в Ст. 1, стр. 159. (См. Ранние редакции, стр. 398). Печ. по Соч. 3, стр. 53. *Григорьев* Аполлон Александрович (1822—1864) — поэт и критик славянофильского направления; об отношении его к Случевскому — см. вступ. статью. О нем же Случевский говорит в стихотворении «Памяти А. А. Григорьева» (Соч. 2, стр. 179). *Расшива* — большое деревянное парусное судно, с острым носом, большей частью плоскодонное. *Беляна* — плоскодонное несмоленое судно для сплава леса. *Имя немецкое, всех защищают* — имеются в виду адвокаты. *Четьи Минеи* — см. примеч. к стих. «Рецепт Мефистофеля», стр. 441. *Виссон* — драгоценная ткань белого или пурпурного цвета, употреблявшаяся в античном мире. *Оглавие* — верхняя часть столпа, капитель.

Без имени. Впервые — «Огонек», 1881, № 11, стр. 213. Вошло в Ст. 2, стр. 103. Печ. по Соч. 3, стр. 267. *Загуляев* Михаил Андреевич (1834—1900) — публицист. *Хитон* — род рубахи, перетянутой поясом, нижняя одежда у древних греков. *Елена* — см. примеч. к стих. «Мефистофель в своем музее», стр. 421. *Иоанна* (Жанна) *д'Арк* (1412—1431) — национальная героиня Франции, девушка-воин, сражавшаяся с английскими завоевателями во время Столетней войны, вдохновлявшая своих соотечественников на борьбу с ними.

Тоже нравственность. Впервые — Ст. 2, стр. 143. Печ. по Соч. 3, стр. 309. Основное отличие первоначальной редакции — в характере стиха: преобладают стихи пятистопного ямба, переплетающегося без всякой системы с шестистопным стихом. *Вишневский* Федор Владимирович (1838—1916) — поэт, выступавший под псевдонимом Черниговец, и переводчик философских сочинений, в частности произведений Шопенгауэра. *Спикер* — председатель палаты общин в английском парламенте. *Хартия* — здесь: так называемая «Великая хартия вольностей», принятое в Англии в 1215 г. государственное постановление, которым ограничивалась королевская власть и определялось государственное устройство. *Дюшесса* (франц.) — герцогиня. *Лабрадор* — полуостров в северо-восточной части Северной Америки, богатый железной и медной рудой. *Агригент* — главный город одноименной провинции на о. Сицилия. *Плюмаж* — украшение из перьев на головном уборе военного. *Виктория* (1819—1901) — английская королева с 1837 г. *Ампир* (Empire) — стиль эпохи наполеоновской империи в живописи, архитектуре, мебели. *Раут* — см. примеч. к стих. «На рауте», стр. 411.

Элоа. Впервые — с подзаголовком «Мистерия» и с посвящением В. В. Маркову — Ст. 3, стр. 257. Печ. по Соч. 2, стр. 203. Окончательная редакция отличается от ранней, помимо купюр в нескольких местах, разночтениями почти в каждом стихе. Эти разночтения связаны с различием в стиховой форме. Первоначальный текст поэмы представляет, за исключением немногих рифмованных мест, шестистопный ямб почти везде без цезуры, что чрезвычайно утяжеляло стих, и Случевский, в соответствии со своими обычными принципами переделки ранних произведений, подверг поэму полной переработке, укоротив почти каждый стих на стопу и внеся в связи с этим существенные словесные изменения. В целом стих поэмы стал гораздо более легким и привычным для слуха читателя, полностью приблизившись к традиционному для русской драмы XIX в. «белому» пятистопному ямбу, но вместе с ритмической шероховатостью во многом утратив и свою былую оригинальность. Изменения, которым подверглась часть текста первой редакции, заключаются в сглаживании непривычных образов, в замене резко оценочных слов и словосочетаний более мягкими, обычными, менее выразительными. Так как подобных изменений, а равным образом и купюр больше всего в последней сцене поэмы, то ее первоначальный текст, сильно отличающийся по смыслу от окончательного, полностью приводится в разделе «Из ранних редакций» (стр. 400).

Среди произведений Случевского «Элоа» (в первой редакции) принадлежит к числу тех, которые вызвали более всего упреков в непонятности или даже в бессмысленности. Особенно возмутила некоторых современных критиков песня теней в начале 1-й сцены, опущенная в окончательном тексте:

Была коза и в девушках осталась,
Иссох запас всех материнских сил!
Кой-кто решил, решенье исполнялось...

(См. рецензии на Ст. 3 в ж. «Дело», 1883, № 8 и ОЗ, 1883, № 8, написанную С. Я. Надсоном и перепечатанную в его «Литературных очерках». СПб., 1887). *Соловьев* Михаил Петрович (род. в 1842 г.) — чиновник, по образованию — юрист, в конце 1890-х гг., т. е. в период подготовки к изданию Соч. 1—3, был членом совета Главного управления по делам печати и одно время исполнял должность начальника этого управления. *Молох* — божество огня у некоторых семитических народов древности, приносивших ему человеческие жертвы. *Эоны* — в учении философов первых веков христианства, пытавшихся объединить с новой религией основы других вер, бестелесные существа, посредствующие между человеком и божеством и являющиеся воплощением мудрости, веры, любви. *Эпитимия* — вид церковного наказания. *Капуцин* — монах религиозного ордена св. Франциска (название — от слова, обозначавшего капюшон, которым эти монахи покрывали голову). *Хиротонисан* — «рукоположен», т. е. посвящен в духовный сан.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* К. К. Случевский. Фотография. (Пушкинский дом.)

2. *Между стр. 64 и 65.* К. К. Случевский в 1880-х годах. Фотография. (Пушкинский дом.)

3. *Между стр. 144 и 145.* К. К. Случевский в начале 1890-х годов. Фотография. (Пушкинский дом.)

4. *Между стр. 208 и 209.* Обложка книги К. К. Случевского «Песни из Уголка».

5. *Между стр. 288 и 289.* К. К. Случевский в 1855 году в форме офицера Семеновского полка. (Фотография из журнала «Новый мир», 1899, № 3.)

6. *Стр. 305.* Автограф стихотворения «В аббатстве Сен-Дени». (Пушкинский дом.)

7. *Между стр. 368 и 369.* К. К. Случевский в конце 1890-х годов. Фотография. (Пушкинский дом.)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ[1]

СТИХОТВОРЕНИЯ

I

ДУМЫ

[1] Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) страницу примечаний.

ЖЕНЩИНА И ДЕТИ

ЛИРИЧЕСКИЕ

МГНОВЕНИЯ

ЧЕРНОЗЕМНАЯ ПОЛОСА

МУРМАНСКИЕ ОТГОЛОСКИ

ИЗ ПРИРОДЫ

МЕФИСТОФЕЛЬ

ИЗ ДНЕВНИКА ОДНОСТОРОННЕГО ЧЕЛОВЕКА

БАЛЛАДЫ, ФАНТАЗИИ И СКАЗЫ

В ПУТИ

НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ И СМЕСЬ

ПЕСНИ ИЗ „УГОЛКА"
1895—1901

СТИХОТВОРЕНИЯ

II

1857—1860

1870—1880-е годы

СТИХОТВОРЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

НЕИЗДАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ БАЙРОНА

ИЗ ВИКТОРА ГЮГО

ИЗ ОГЮСТА БАРБЬЕ

ИЗ МАРТИНА ОПИЦА

ИЗ ФРИДРИХА ФОН ГАГЕДОРНА

ИЗ ЛЮДВИГА ТИКА

ПОЭМЫ

Случевский Константин Константинович

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Редактор *Г. М. Цурикова*

Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *Э. Е. Миронова*
Техн. редактор *В. Г. Комм.* Корректор *З. Н. Петрова*

Сдано в набор 21/XII 1961 г. Подписано в печать 18/IV 1962 г. М 08232. Бумага 84×108 1/32. Печ. л. 15,0 (24,6). Уч.-изд. л. 22,83. Тираж 20 000. Зак. № 1759. Цена 89 к.

Издательство «Советский писатель»
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3